КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 8

АВГУСТ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Пятницкая, 71.
Главл. А—14775. П. 13. Гиз 28192
Заказ 2024. Тираж 13 000 экз.

Гадюка.

(Повесть об одной девушке).

Алексей Толстой.

1.

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная,— на кухне все замолкали, только хозяйственно,— прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, — шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

— Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики...

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи и едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляшке у нее длинный поперечный рубец, на спине — выше лопатки — розовоблестящее углубление, — выходной след пули, на правой руке у плеча — небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядьи. Портниха, Мария Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее «клейменая». Роза Абрамовна Безикович, безработная, — муж ее проживал в сибирских тундрах, — буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте, — уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна,— иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашку.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату, — в конце коридора. Примуса у нее не было, и, как она питалась поутру, в квартире не понимали. Жилец, Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь — посредник по купле-продаже антикварьята, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло статься. Вернее, — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом, Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: Ольга Вячеславовна швырнула в него горящим примусом, — хорошо, что он увернулся, — и «покрыла матом», какого он отродясь не слыхал даже в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены, — ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе — стопочка книг и даже — какой-нибудь цветок в полбутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол — в окурках, посреди комнаты — горшок.

Роза Абрамовна охала слабым голосом:

— Это какой-то демобилизованный солдат, а не женщина...

Жилец, Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину грамм десять иодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной иодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение, — побоялись.

Так или иначе, жизнь Ольги Вячеславовны была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти; и не будь ее — в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же, в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, — если бы не носик, — быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа, — говорила ей Роза Абрамовна, сделали бы конфету... Да вот — поедешь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой

подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура»... Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, — указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна, и, действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее — значит тут скрывалась какая-то тайна...

. . . . .

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным, полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой как у осы. Не поднимая ресниц, она открутила кран и стала мыться, — набрызгала вокруг себя, «как собака»... «А кто будет подтирать? Хорошенькое дело», — прошептала Роза Абрамовна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша — с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собаченкой. Сухие губы у него ядовито усмехались, такой был человек: покажи ему наливное яблоко, — он скрипнет: «Тэкс, тэкс, а червячек?»... Горбоносый, похожий на птицу, с короткой полуседой бородкой и большими желтыми зубами — он воплощал в себе «всечеловеческую иронию», ничем не поколебимое — «тэкс, тэкс, посмотрим»... На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, которые он носил по утренним делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха:

— Чорт знает, что такое, — проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла.

У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

— У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте, — сказал он, спуская на пол собачку, — стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой, это, — он говорит, — ее кало, если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице — возбужу судебное преследование. Я говорю: вы не правы,

Журавлев, это не ее кало... И так мы спорили, вместо того, чтобы ему мести лестницу, а мне итти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это чорт знает что!», хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись, Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.

. . . .

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка, в виде шлема, была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок, та часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, — в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо с каким-то раздирающим отчаянием:

— Идите на Псковской переулок... Там я натворила и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер-велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

— А имеется у вас разрешение на ношение оружия? — для чего-то крикнул он.

Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него.

— Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он спокойнее.

— Ольга Вячеславовна Зотова...

2.

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца, Вячеслава Иларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами, — самого Зотова и его жены, Марьи Кириковны, и наверху — бесчувственное тело их дочери, Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями, все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, повидимому, не справились с ней, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке...

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело до тла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась, не волновалась. Она протянула к нему руку:

— Доктор, какие звери! — и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

— Двоих не знаю,— какие-то были в шинелях... Третьего знаю... Танцовала с ним... Валька, из седьмого класса... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!..

— Шшшшш, шшшш, — испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале, — не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житие трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов, — белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями — от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха, — как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрывалась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое, широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.

— Из венерического? — спросил он равнодушно.

Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:

— Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь, — она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.

— Ах, ты, батюшки, вот так приключение. Должно быть — было за что. Или так — бандиты? А?

Олечка уставилась на него, — как он мог так спрашивать, точно о самом обыкновенном, ради скуки...

— Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Проломной...

— А, вот оно что... Помню... Ну, вы — бой-девка, знаете, — не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гнусного элемента вылезло, — больше, чем мы думали, — руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот вы, — конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие... А — жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите. Ничего, это обойдется. (Он кулаком постукал о ручку дивана.) Вот во что надо верить, — в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности, но под его насмешливо-ожидающим взглядом все мысли — поднялись и опали, не дойдя до языка.

Он сказал:

— То-то... А — горяча, — лошадка. Хороших русских кровей, с цыганщинкой... А то прожила бы, как все, — жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука.

— А это — веселее, что — сейчас?

— А то — не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось, — передернула плечами: уж очень он был уверен... Только проворчала:

— Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

— Эка штука — Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... Хочешь, не хочешь — гуляй с нами...

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «на коней, гуляй душа»... Закружилась голова, — и — опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только — горячо стало сердцу, тревожно, — чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притоптывать пяткой.

. . .

Разговор был короткий, — скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но, когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась вглубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что̀ ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, вместо него ковыляло какое-то на костылях, — вдруг самой себе стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку, — слезы навернулись от обиды: — что, вот, ждет, а ему и дела мало... Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство, — хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник.. А глаза-то, глаза — наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать холодные пальцы!..

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи.

Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь. Ольга Вячеславовна осталась, — про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то поволокли, — срывающийся голос помощника заведующего завопил:

— Я подневольный, я не большевик, пустите, куда вы меня?

Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шопотом:

— В сарай повели, вешать, сердешного...

Ольга Вячеславна оделась, — на ней было казенное серенькое платье, — бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась, — то громче, то замирая, — военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался глухой, удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль, — два на низком ходу, усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась.

— Я не пленница, я русская, — сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна.

Они засмеялись, протянули руки, — ущипнуть за щеку, за подбородок... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, дрожала, постукивала зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне.

— Зотова? — спросил он. — Следуйте за мной...

Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чеканьем пустоту коридора.

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской, вышитой рубашке, как-то мимолетом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть...

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

— И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью, — услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные. Она сделала усилие понять — что он говорит... Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись

на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги, — под ней лежала карандашная записочка.

— Наши сведения не совсем совпадают, — сказал он, задумчиво морща лоб. — Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с преступной организацией большевиков... Что? — Угол рта его полез вверх, брови перекривились.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую ассиметрию его чисто выбритого лица...

— Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли...

— К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно... (Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма, — нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати, ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один, пегий, глаз его устремился куда-то в окно, откуда были видны ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну, что ж...

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:

— Битте, прошу...

Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами — щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула...

— В тюрьму, — приказал офицер.

. . . .

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг, точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был, действительно, Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора, — угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы, — раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен землистый человек в очках, — про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушивалась. Голоса за стеной

поднимались до крика, — нестерпимые, торопливые... Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно, и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки, так, чтобы проволока вошла до кости... «Заговоришь, заговоришь», — казалось, расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычало... «Ага! Заговоришь!..» И уже не мычанье — больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался, — ударилась об него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение... Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко, — пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась Пятая Красная армия.

Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко:

— Калачика вам принес, барышня... Если что нужно — только стукните... Мы завсегда с политическими...

Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, обхватив колени. К еде и не притронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять, на цыпочках, вошел сторож и — шопотом:

— Мы подневольные, а мы завсегда — за народ...

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, — захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных, человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми, конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Исступленная матерная ругань... Грохнули револьверные выстрелы, казалось — повалились подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту... На мгновение в луче фонарика вы-

ступило искаженное лицо Вальки... Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами.

. . . .

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские дружины рассеялись — кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы,— с узелком и палочкой, — терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядком положены на дворе под хмуро моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.

— А девочка-то дышит, — сказал он, — надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый, зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно старорежимного профессора», ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну:

— Чтоб была жива...

Она осталась жива. После перевязки и камфоры приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза.

— Поближе,— чуть слышно проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему.— Поцелуйте меня...

Около койки находились люди, время было военное, человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся, дернул плечами: «Чорт, вот ведь», однако не решился, только подправил ей подушку.

. . . .

Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила — имя и отчество, — по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это — закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич». Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку.

— Должен вам сказать, — повторял он ей для бодрости, — живучая вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь — запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым...

Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы.

— Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста, на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились. Ха-хы-хы...

Ольга Вячеславовна, действительно, была живуча, как гадюка. После всех происшествий, от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сантиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, влюбленность, по обычаю, в учителя русского языка, — тучного красавца Воронова; гимназический «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, — каких в жизни нет, — героиням Гамсуна, тревожащее любопытство от романов Маргерит... Неужто все это было?.. Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в гимназиста, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замерзших на тридцатиградусном морозе... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах... Тревога весны, лихорадочка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки...

В эти сны, — так ей представлялось, — разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы «городовым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым... Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как чорт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и — только; революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хрустнул он, и жизнь грубая и страстная захлестнула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали, не убили, ни чорта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня, и дикая тревога еще неизведанной любви, — это жизнь... Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми, цепкими пальчиками край одеяла, говорила, заглядывая ему в глаза:

— Я так представляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никкелированном кофейнике...

И — это счастье... Ненавижу эту девчонку!.. Ненавижу себя за то, что была счастливой... Ведь выдумала розовый пеньюар, вот — сволочь...

Емельянов, уперевшись кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У ней было одно сейчас желание: оторвать тело от постылой больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади, в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше бы умерла — не отстала от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец, остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые стекла гулял ветер по амфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной, мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери:

— Ну, гляди,—навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадной зале он разломал дубовый орган — во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин:

— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло, и светло, — умели жить буржуи...

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки, — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче, — придет ли сегодня? хорошо бы пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она заслышивала его шаги по гулким паркетам: входил он веселый, страшноглазый, — входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель; спрашивал: все ли в порядке, нет ли какой нужды, — «главное, чтобы грудной кашель прошел, и в мокроте крови не было... К новому году вполне будете в порядке»....

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

— Империялистическая война — позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской, — рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки, — революция создала конную армию... Понятно вам? Конь — это стихия... Конный бой — революционный порыв... Вот у меня, — одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю, — у меня за плечами крылья... Знаете — что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела... Гул... И ты как пьяный... Сшиблись.. Пошла работа... Минута, ну — две минуты, самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж — руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистала по воздуху. Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось, — рассеки свистящий клинок ее сердце, — закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, — казалось, — она ловила его взгляд искоса, — быстрый, затуманенный небратским чувством... Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но — нет, — он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон, — нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию...

— Не пулей — куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти!.. — кричал он, топая ногами от удовольствия.

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподавал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал:

— Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!..

Ей было смешно, и радостью свистал ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

3.

В слабой девочке таились железные силы, — непонятно — откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась, как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны, — говорил Емельянов, — соплей ее перешибешь, а ведь — чертенок»... И, как чорт, она была красива, — молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной

ладной шапочкой волос, в полушубочке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость; как клещ, сидела в седле; как овечка, ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком, — лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было, в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.

Неглупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрыжку», — время было тогда суровое.

— Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная армия?..

Ольга Вячеславовна выскакивала и — без запинки:

— Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...

Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветряных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, — все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней.

— Бро-о-осай курить... На коней! — раздался голос Емельянова.

Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал!

— Ры-сью марш!..

Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката... «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся», упоительной, дикой песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

. . . .

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, — обезживотели бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал, — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати, — он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотни верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, — Ольга

Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, — мало, будко, будто прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цеплялся к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов — спящими, заставы и часовых на местах, Емельянов входил в избу, усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне обветренное и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

. . . .

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серосеребристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, — совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война; враг теснит и обходит; пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл; в городах — голод; по деревням — бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался — побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду, — поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко тревожно заржал. Сейчас же из лозников, в конце пруда, ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло, вглядываясь — потянула из-за спины ложе карабина. В лозниках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники, — двое. Остановились. Это был разъезд, но чей? — наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась, — и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот.. Выстрел... Она покосилась, — один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять — выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой... Это был Валька Брыкин. Она узнала его, — толкнула шенкелем коня, — на-

встречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника... «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно, и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник... Увидела только — его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно:— «Баба!» — и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уж не было карабина, — должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла это припомнить), ее рука ощутила позывную тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь, — меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но — ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

. . . .

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха:

— Ой, не могу, ой, братцы, смехотища, — баба угробила двух мужиков...

— Постой, ты расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал, — «баба»!..

— А велики ли усы-то у него были?

— Глаза вылупил, удивился.

— И рука не поднялась.

— Ну, известное дело.

— И ты его тут — тюк по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер, — разлетелся.

— Ну, а потом ты что?

— Ну, что — потом, — отвечала Ольга Вячеславовна,—обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.

. . . .

Одно существенное неудобство было в походной жизни, — Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливости. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда: бойцы, нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в синюю воду на расседланных конях. Зотовой приходилось

выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:

— Дура, девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.

Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью.

— Если у конника прыщ на ягодице, — вон из строя, это не боец, — говаривал он, — конник пуще всего береги ж.... Если позволяют обстотельства, летом и зимой, обливайся у колодца, — четверть часа физических упражнений.

Обливанье у колодца тоже бывало затруднительно для нее,—приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, и что-то будто коснулось неслышно ее спины. Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодезь и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей — она бы прикрикнула просто: «что ты, чорт, уставился, — отвернись». Но голос ее пересох от стыда, от волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным, — самое простое. Эскадрон стал на ночевку на горелые хутора. Для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краюшек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее, — он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону, она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную притворную маску. И все же это время она жила, как пьяная — от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность, — о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ — прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово — рейд. Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда рука легла на ее плечи, — она догадалась, вздохнула, закинула голову.

Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

— Не заробеешь? Ну-ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия

Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы, — лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш!..». Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая дымная, уходящая вниз, поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали в тьме под низкими тучами, — степь гудела под копытами пяти сотен коней. На-скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.

— В целях маскировки мы теперь — сводный полк северо-кавказской армии генерала-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется, — в зубы, — молчать! Я вам теперь не товарищ командир, а — его высокоблагородие господин капитан. (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом, без звездочек.) Вы теперь не товарищи, а нижние чины. Тянуться, козырять, выкать... мо-о-о-лчать, руки по швам! Поняли? (Весь эскадрон грохотал, — вытягивались, козыряли, к «вашевысокоблагородие» пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду — в карман, кокарду на фуражку. Вольно, можно курить...

Три дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам, — горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустали, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех, — свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький»... Бабенка вешала на дворе на веревке вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги — босые. Значит — его портянки были стираны.

— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом у Емельянова, повела полным плечом: «Точно ждали мы вас, уж и борщ»... Голос у нее был тонкий, нараспев, — бойка, нагла... «Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться — высохнут»... И — сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу. Он одобрительно покрякивал, хлебая, — весь какой-то сидел мягкий. Ольга Вячеславовна положила ложку: лютая

змея ужалила ей сердце, — помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шопотом, задыхаясь:

— Ты, что, — смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала. Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня — увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, — и — все понял, расхохотался — по-давнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

— Ах, ты, дурочка!..

У нее едва не брызнули слезы.

. . . . . .

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь — завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул было колокол и затих.

Наконец, привели двух мужиков, — нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:

— Братцы, голубчики, не губите...

— За белых ваше село или за советскую власть? — нагнувшись с седла, закричал Емельянов.

— Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, пограбили, все разорили...

Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепили звезды и перешли через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают, как бешеные, и этот мост велено защищать — хоть сдохни, а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах — вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь — разбегаются, агитатор был, да помер от поноса.

Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом: действительно — было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.

. . . .

— Оля, живыми отсюда не уйдем, — сказал Емельянов. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная желтова-

тая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке, — в нем была тоска.

— Ну, пойдем, Оля, — сказал Дмитрий Васильевич, — надо поспать часик.

В первый раз он называл ее по имени. Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигуры бойцов, — весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.

— Поцелуй меня, — с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, — у нее упала фуражка, закрылись глаза, — и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

— Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...

. . . .

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали и опадали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше итти на пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя, — разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», — и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.

Ольга Вячеславовна видела: вот, конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его сел, забился.

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, — лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны, — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвалось на ту сторону, — враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами

села в клочья изодранное знамя, — с ним скакал, колотя лошадь голыми пятками широкомордый парень-красноармеец, — размахивал древком, кричал:

— Вали, вали, бей их...

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле, — она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградить за подвиг. Долго думали — чем? Портсигар — не курит, часы — не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота, — стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой:

— Зотову за подвиг наградить золотой брошью — стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...

4.

Как птица, что мчится в ветряном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, — так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь оборвалась, разбилась, и потянулись, ей ненужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо остриженная, худая до того, что шинель и голенищи болтались на ней, как на скелете, — пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то на людей не похожие люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь — воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казарм, орущие буквы военных плакатов, обрывки плакатов и чорт их знает каких афиш и извещений, — клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы, и — опять — снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась по матери не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бородатый человек с большими губами, — «Губан», и попросил у нее побало-

ваться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан, — синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, — поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве, — берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камушке у реки Замбези!.. Все это был, конечно, вздор. Никто ее не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь.

— Помни, — сказал, — это надежда на спасение...

Потом — кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям, — машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так — писчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.

На месте долго не засиживалась, — все время передвигалась из города в город — поближе к России. Думалось, — проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый и место примятое, где сидели...

Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее, — Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

5.

В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла, как усилие запречь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще напитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.

Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожарища, — человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды, такой же, как в пращуровские времена неолита.

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими, — все еще скрюченными, как лапа хищной птицы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, — вгляды-

валась в недоверчивые мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти, — она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там,— от мальчика до старика... И вот бродят по загаженному городу, — в кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют — творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, обстрелять фабричный корпус, где засел враг... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала веселые лица, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката, — ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел, последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя на грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки, — она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья...

Ей удалось получить командировку в Москву, она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.

. . . . .

К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно, — бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве — ютилась, где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядьи. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У ней было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему была ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, — как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне, — ясно, отчетливо, под пение пуль — к видимой цели...

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не уто-

нуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

— Удивляюсь вам, товарищ Зотова, — такая, в общем, интересная женщина и провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет?.. Курили бы «Яву»...

Должно быть, это пустяшное замечание пришлось как раз во-время. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женскому оглянула себя: «Чорт знает, что такое, огородное чучело!..». Протертая плюшевая юбка, — спереди вздернута, сзади обита в мохры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось?

Две пишбарышни, в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и — ниже площадкой — фыркнули со смеху, можно было разобрать только: «...лошади испугаются...». Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядьи, — звали ее Сонечка Варенцова.

. .

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядьи), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую молоко. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» — задрала сонечкину юбку и — указывая на белье: «А это где купили?» — и спрашивала со злобой, словно рубила клинком.

Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком Мосту, что в Париже теперь носят платье «шемиз», чулки цвета «тело» и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна резко кивала головой, повторяла: «Есть... Так... Поняла...». Затем схватилась за сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

— А это — как чесать?

— Безусловно стричь, мое золотко, — пела Роза Абрамовна, — стричь — а ля гарсон с завивкой...

Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:

— Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже ляскнули зубы) и проговорила негромко, но внятно:

— Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

. . . .

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в чулках цвета тела и лакированных туфельках, — каштановые волосы ее были подстрижены «а ля гарсон» и блестели, как чернобурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, — уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном.

— Елки палки, — сказал он, — это откуда же взялось?

Действительно Зотова до жути была хороша, — тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза, как ночь, длинные ресницы, руки отмыла от чернил, — крути аппарат! Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком.

«Ударная девочка», — впоследствии будто бы выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Она же носила эту свою новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Только, когда уже слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

. . .

Одуряющее действие женской красоты, повидимому, исходит из древнего закона натуральной евгеники. Но эта очень отдаленная причина не могла пролить почти никакого света на сложность душевного смятения, в какое влип помзав Иван Федорович Педотти, после того как три дня созерцал Ольгу Вячеславовну сбоку от себя по другую сторону двери.

Летели минуты и часы, звонил телефон, подписывались бумаги, — он находил ее все более и более прекрасной. Он испытывал волнение, как ребенок, впервые открывший глаза на мир в потоках утреннего солнца, — он видел чудо жизни. Педотти был молод, неопытен и незнаком с литературой. Он был уверен, что половой вопрос нужно разрешать в ударном порядке. Инстинкт подсказывал ему, что то, что с ним происходит, необыкновенно и очень серьезно, — вроде заболевания бешенством, — и тут нужно дуть изо всех сил к цели. Но, непонятно почему, он робел. В мучительных поисках идеологической формулы, которая могла бы преодолеть его застенчивость, даже внезапную робость (вообще-то он был не робкого десятка), он наткнулся на воспоминание: жаркое лето 1920 года, приморский город, лихорадочный озноб при виде каждой проходящей женщины и — приятель-однополчанин, — медно-красный, бронзово-рыжий здоровяк... Лежа на песке ногами в лазурном море, он сообщил ему эту

формулу подхода»: «Главное, — сказал он, — это схватить ее за грудь, и — никаких маранцев...

На третий день, в 5 часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, Педотти, нахмуренный, подошел к ее столу и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпку. Они вышли. Педотти сказал: «Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом». Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Распаренные и суетящиеся москвичи плохо пахли. Но изо всех запахов города в ледяной от волнения нос Педотти попадал один, очень приятный, запах его равнодушной спутницы. Пришли, влезли на четвертый этаж.

Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

— Ну? — спросила она, — о чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и, преодолев усилием воли гнусную отрыжку идеализма, начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате:

— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу — в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику, всякую там, давно пора выбросить за борт... Ну — вот... Предварительно я все объяснил... Вам все понятно?..

Он схватил Ольгу Вячеславовну подмышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, позорно, будто на краю неизъяснимой бездны, билось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление, — Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула: она была тонка и упруга, как из стали. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся, и, так как она продолжала мучительство, закричал:

— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

— Вперед не лезь, не спросившись, дура, — сказала она. Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла.

* * *

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась в постели... Садилась у окна, курила, снова — пыталась зарыться головой под подушки... Припомнилась за эти часы вся жизнь, — все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало, облилось слезами... Вот была чортова ночка... И — зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь, — уж кажется жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и это, конечно, теперь начнется... Не обойтись, не уйти...

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:

— ... поразительно, до чего она ломается... Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая... При запол-

нении анкеты, — прописала вот такими буквами: девица... (Смех, шипение примусов.) А все говорят, — просто ее возили при эскадроне... Понимаете? Жила чуть ли не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:

— Безусловный люис... По морде видно...

Голос Розы Абрамовны:

— А выглядывает — что тебе баронесса Ротшильд.

Басок Петра Семеновича Морша:

— Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскумякал... Она карьеру сделает, — глазом не моргнете...

Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:

— Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович... Успокойтесь, — не с такими данными делают нынче карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.

. . . . . .

Соня Варенцова была права: не с такими данными, как у Ольги Вячеславовны, делают жизненную карьеру. После случая с Педотти, который возненавидел ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: гадюка, клейменая, эскадронная шкура, — она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И — всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно... Будто бы можно было закричать им всем: я же не такая...

Недаром однажды Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой... С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... — Но что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было ненужно, это было ужасно...

. . .

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: он... Это было необъяснимо и так же катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из переулка...

Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажем выше). Так как Ольга Вячеславовна

тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

— Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? — сказал он низким и сильным голосом. — Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это — мелочь, это неталантливо.

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между телефонами, из которых исходили изломанные стрелы. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит пить чай, тогда как телефоны призывают его к деятельности...

— Больно укусить побоялись, а тявкнули — бездарно, по-лакейски. Ну, что же, что — чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать....

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в 1919 году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись — шагающие головой в облаках... Он тасовал события и жизни, как колоду карт... И — вот — с портфелем, с усталой улыбкой, и — мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

— Так все мельчить неумело, — опять сказал он, — так можно размельчить всю революцию... Прошлое прошло и быльем поросло, старики сделали дело и — на свалку... Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить... Да... Молодежь молодежью, а от прошлого отрываться опасно... Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не сгорбиться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А, как известно, жалость...

. . . . .

При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окна шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не заметила ее, только видела его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять.

Он сказал:

— Все, товарищ... Идите.

Это было, действительно, — все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не обещает сапожки с убитого гимназиста...

Эту ночь она провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки грамм десять иодоформу.

Бесится наша гадюка-то, — сказали на кухне.

Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти, но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу, — надо, стало быть — надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам, — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, — было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему, пусть, что хочет, то и делает с ней... А так — жизни нет...

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же на улице схватить его за полотняный рукав: — «Я люблю вас, я погибаю»... Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозовым электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой... Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрас полено, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец, он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, — резко и грубовато окликнула, — во рту, в горле у нее пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно... А он шел, равнодушный, без улыбки, — строгий...

— Дело в том...

— Дело в том, — сейчас же перебил он с брезгливостью, — мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно, — пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю... Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны... Мой совет, — выкиньте из головы мещанские мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее... Из вас еще может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она что-то заговорила ему... Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

. . . .

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой

и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, так как ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла, неизвестно к чему: «Ах, это — чорт знает что», — дважды: на кухне и возвращаясь к себе в комнату. После чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы, — Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом, Владимир Львович, небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели, Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.

— Я больше не могу, — сказала она еще в дверях, — это должно кончиться, наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке, — не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону, — сероводород или опять тот же иодоформ. Все это были мужские фантазии.

Одна Марья Афанасьевна сказала дело:

— Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

— Да, — ответила Лялечка, — третьего дня были в загсе... Я даже настаивала на церковном, так как это прочнее...

— Несомненно, — блеснув лысиной, сказал Петр Семенович.

— Но он, конечно, и слышать не хочет...

— Так этой гадине ползучей, — Марья Афанасьевна потрясла утюгом, — вы в морду швырните загсово удостоверение... Вы должны с ней поговорить...

— Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия...

— Мы все будем стоять у двери во время разговора...

Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком:

— Станем, вооруженные орудиями кухонного производства.

Лялечку уговорили.

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего дня ею все сильней овладевала странная рассеянность. Так, например, она увидела в руках у себя — велодок — и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную, смертельную игрушку... И вдруг усмехнулась...

В это время в дверь постучали. Ольга Вячеславовна молча встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, — кажется, в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:

— Это совершенное бесстыдство — лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают, что вы — с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру... Да еще через моего мужа... Вот удостоверение... Прошу вас прекратить подходы и самое лучшее — убраться из этой квартиры... Потому что здесь люди приличные... Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все тело напряглось, как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо...

Жизнь Клима Самгина.

(Отрывок из второй части трилогии «Сорок лет»).

(Окончание).

М. Горький.

В эти дни успеха, какого он никогда еще за всю свою жизнь не испытывал,. у Самгина само собою сложилась формула:

«Революция нужна для того, чтоб уничтожить революционеров».

Когда он впервые подумал так, он мысленно усмехнулся:

— Нелепо.

Но усмешка не изгнала из памяти эту формулу, и с нею он приехал в свой город, куда его потребовали Варавкины дела и где, — у доктора Любомудрова, — он должен был рассказать о Девятом Января.

— Напишите небольшую статейку фактического характера, — предложила Спивак, очень бледная, покусывая губы и как-то бесцельно переходя с места на место.

Самгин написал охотно, он сделал это, как свое личное дело, но, когда прочитал вслух свою повесть, кожаный и масляный Дунаев заметил, усмехаясь:

— Штучка устрашающая для обывателей.

— Придется сократить, — сказала Спивак, а длинноногий Корнев, взяв рукопись, как свою, пробормотал, что он это сделает.

— Вычеркнем красивости, и через денек, пожалуй, можно будет пустить в публику.

Затем Самгин докладывал в квартире адвоката Правдина, где его слушало человек сорок людей левого умонастроения; у городского головы Радеева, где собралось человек пятнадцать солиднейших либералов; затем он закружился в суматохе различных мелких дел, споров о завтрашнем дне, в новых знакомствах и — потерял счет дням. Во всем этом было нечто охмеляющее, как в старом, хорошем вине. Самгин чувствовал, что на него смотрят, как на непосредственного участника в трагическом событии, тайные силы которого невозможно понять, несмотря на все красноречие рассказов о нем. Он видел: вне кружка Спивак люди подозревают, что он говорит меньше, чем знает, и что он умалчивает о своей роли. Это

ему нравилось, это несколько окрыляло его, подсказывало слова более резкие и смелые, слова, которые, иногда, удивляли и его, как обмолвки, — впрочем, естественные для человека, который взволнован. Но взволнован был весь город, все грамотные люди угрюмо чувствовали, что случилось необыкновенное, устрашающее.

Настроение горожан довольно удачно, хотя и грубо, определил Дунаев, показывая странно белые, плотно составленные зубы:

— Проснулись, как собаки, осенней ночью, почуяли страшное, а — на кого лаять — не знают и рычат осторожно.

Корнев сказал более мягко:

— Начинают понимать, в каком государстве живут.

Эти фразы не смущали Самгина, напротив: в нем уже снова возрождалась смутная надежда на командующее место в жизни, которая, пошатываясь, поскрипывая, стеная и вздыхая, смотрела на него многими десятками глаз и точно ждала каких-то успокоительных обещаний, откровений. Это еще более укрепляло в нем остренькое и мстительное желание не успокаивать, а стращать. Ему было приятно рассказывать миролюбивым людям, что в комиссию сенатора Шидловского по рабочему вопросу вошли рабочие социал-демократы, и что они намерены предъявить политические требования.

— Героем времени постепенно становится толпа, масса, — говорил он среди либеральной буржуазии и, вращаясь в ней, являлся хорошим осведомителем для Спивак. Ее он пытался пугать все более заметным уклоном «здравомыслящих» людей направо, рассказами об организации «Союза русского народа», в котором председательствовал историк Козлов, а товарищем его был регент Корвин, рассказывал о работе эс-эров среди ремесленников, приказчиков, служащих. Но все это она знала не хуже его и, не пугаясь, говорила:

— Естественно.

И обременяла его бесчисленным количеством различных поручений; он — не отказывался от них, раззадоренное любопытство и смутное предчувствие конца всем тревогам превращались у него в азарт неопытного игрока.

В свою очередь Самгина широко осведомлял обо всем в городе Иван Дронов. Посмеиваясь, потирая руки, гримасничая, он говорил:

— Я, все-таки, мужичок, значит — реалист, мне и надлежит быть эс-эром, а ваш брат, эс-деки, интеллигентская организация.

В эс-эрство Дронова Самгин не верил, чувствуя, что, как многие, Иван—«революционер до завтра» и храбрится от страха. Всегда суетливый, он приобрел теперь какие-то неуверенные, отрывочные жесты, снял кольцо с пальца, одевался не так щеголевато, как раньше, вообще прибеднился, сделал себя фигурой более демократической. Но даже в том, как судорожно он застегивал и расстегивал пуговицы пиджака, была очевидна его лживость и тревога человека, который не вполне уверен, что он действует сообразно со своими интересами.

— Политически организуем Россию именно мы, эс-эры, — не то спрашивал, не то утверждал он.

Самгин видел, что Дронов вертится вокруг него, даже заискивает перед ним, хотя и грубит, не бескорыстно.

«Подозревает во мне крупного деятеля и хочет убедиться в этом»,— решил Самгин, и его антипатия к Дронову взогрелась до отвращения к нему.

В быстрой смене шумных дней явился на два-три часа Кутузов. Самгин столкнулся с ним на улице, но не узнал его в человеке, похожем на деревенского лавочника. Лицо Кутузова было стиснуто меховой шапкой с наушниками, полушубок на груди покрыт мучной и масляной коркой грязи, на ногах — серые, валеные сапоги, обшитые кожей. По этим сапогам Клим и вспомнил, войдя вечером к Спивак, что уже видел Кутузова у ворот земской управы.

Кутузов пил чай, должно быть, продолжая воображать себя человеком из деревни. Держался важно, жесты его были медлительно солидны, — жесты человека, который хорошо знает цену себе и никуда не торопится.

— Михаил Кузьмич Антонов, — прошу помнить! — предупредил он Самгина.

«Какой искусный актер», — подумал Самгин, отвечая на его деловитые вопросы о Петербурге.

— Так. Значит красного флага не пожелали? — спрашивал Кутузов, неуместно посмеиваясь в бороду. — Ну, что ж? Теперь поймут, что царь не для задушевной беседы с ним, а для драки.

Дунаев, сидевший против него, тоже усмехнулся, а Кутузов, тряхнув головой, сказал, глядя в стакан чая:

— Урок оплачен дорого. Но того, чему он должен научить, мы словесной или бумажной пропагандой не достигли бы и в десяток лет. А за десять-то лет рабочих — и ценнейших! — погибло бы гораздо больше, чем за два дня...

— В Риге тоже много перестреляли, — напомнил Дунаев. — Кутузов посмотрел в лицо его, погладил бороду и не громко выговорил:

— Для того и винтовки, чтобы в людей стрелять. А винтовки делают рабочие, как известно.

Лицо Дунаева снова расцвело знакомой Климу улыбочкой.

— Простота! — сказал он.

Кутузов снова обратился к Самгину:

— А поп, на вашу меру, — величина дутая? Случайный человек? Мм... В рабочем движении случайностей, как будто, не должно быть... не бывает.

Нахмурясь, он помолчал, потом спросил:

— Туробоев — сильно ранен?

В это время пришла Спивак с Аркадием, розовощеким от холода, мальчик бросился на колени Кутузова.

— Приехал, приехал!

Кутузов, ухмыляясь, прижал его мордочку под бороду себе и забормотал в кудрявые волосы:

— Ах, ты, Аркашка — букашка — таракашка. Почему ты такая маленькая, а?

— Неправда!

— Тощенькая, — тебя даже мухи не боятся.

— Мухи никого не боятся. Мухи у тебя в бороде жили, помнишь — летом?

Спивак, изящная, разогретая морозом, шепталась с Дунаевым, положив руку на его плечо.

— Ладно! — сказал он, — иду!

— Смотрите, — не больше пятнадцати, ну — двадцати человек! — строго сказала она.

Дунаев, кивнув головой, ушел, а Самгину вспомнилось, что на-днях, когда он попробовал играть с мальчиком и чем-то рассердил его, Аркадий обиженно убежал от него, а Спивак сказала тоном учительницы, хотя и с улыбкой:

— Дети отлично чувствуют, когда играют с ними и когда — ими.

Она присела к столу, наливая себе чаю, а Кутузов уже перебрался к роялю, и держа мальчика на коленях, тихонько аккомпанируя себе, пел вполголоса:

Ой, у нашой, у славной Вкраини
Бували престрашни зли годни, безольны година...

— Не хочу скушную! — протестовал Аркадий. — Про хозяина!

— Не угодишь на тебя, Аркашка, — сказал Кутузов и покорно запел:

На хозяине штаны
После деда Сатаны.
Чулки вязаные,
Тоже краденые.

Мальчик, хлопая ладонями, тоже распевал:

На хозяине шляпенка
После брата чертенка...

Спивак, прихлебывая чай, разбирала какие-то бумажки и одним глазом смотрела на певцов, глаз улыбался. Все это Самгин находил напускным и даже обидным, казалось, что Кутузов и Спивак не хотят показать ему, что их тоже страшит завтрашний день.

Через несколько дней он сидел в местной тюрьме и только тут почувствовал, как много пережито им за эти недели и как жестоко он устал. Он был почти доволен тем, что и физически очутился наедине с самим собою, отгороженный от людей толстыми стенами старенькой тюрьмы, построенной еще при Елизавете Петровне. Его посадили в грязную камеру

с покатыми нарами для троих, со сводчатым потолком и недосягаемо высоким окошком; стекло в окне было разбито, и сквозь железную решетку втекал воздух марта, был виден очень синий кусок неба. Каждый вечер, перед поверкой, напротив его камеры, несовершеннолетние орали звонко всегда одну и ту же песню:

Приехали в Аркадию,
С Аркадии — в Ливадию,
Махнули в Озерки.

— Ки-ки! — выкрикивали низкие голоса, а высокие, притопывая, пристукивая чеканили на плясовой мотив:

Кого-то там притиснули,
Кому-то в ухо свистнули,
Попали под шары...

— Еры!

Эта песня, неизбежная, как вечерняя молитва солдат, заканчивала тюремный день, и тогда Самгину казалось, что весь день был неестественно веселым, что в переполненной тюрьме с утра кипело странное возбуждение, — как будто уголовные жили, нетерпеливо ожидая какого-то праздника и заранее учились веселиться. Должно быть, потому, что в тюрьме были три заболевания тифом, уголовных с утра выпускали на двор, и серые, точно камни тюремной стены, они, сидя или лежа, грелись на весеннем солнце, играли в «чет-нечет», покрикивали, пели песни. Брякая кандалами, рисуясь своим молодечеством, по двору расхаживали каторжане, а в тени, вдоль стены, гуляли, сменяя друг друга, Корнев, Дунаев, статистик Смолин и еще какие-то незнакомые люди. Надзиратели держались в стороне, никому не надоедая, можно было думать, что и они спокойно ожидают чего-то. В общем тюрьма вызвала у Самгина впечатление беспорядка, распущенности, но это, несколько удивляя его, не мешало ему отдыхать и внушило мысль, что люди, которые жалуются на страдания, испытанные в тюрьмах, преувеличивают свои страдания.

Слева от Самгина сидел Корнев. Он в первую же ночь после ареста простучал Климу, что арестовано четверо эс-деков и одиннадцать эс-эров, а затем почти каждую ночь после поверки с аккуратностью немца сообщал Климу новости с воли. По его сведениям, выходило, что вся страна единодушно и быстро готовится к решительному натиску на самодержавие.

— Эс-эры строят Крестьянский союз, прибрали к своим рукам сельских учителей, рабочее движение неудержимо растет, — выстукивал он, как бы сообщая заголовки газетных статей.

Самгин слушал, верил, что возникают союзы инженеров, врачей, адвокатов, что предположено создать Союз Союзов, и сухой стук, проходя сквозь камень, слагаясь в слова, будил в Самгине чувство бодрости, хорошие надежды. Да, конечно, вся интеллигенция должна организоваться в единую, мощную силу. Дальше он не разрешал себе думать, у него было целомудренное желание не искать формулы своим надеждам и мечтам.

В охранное отделение его не вызывали больше месяца, и это несколько нервировало, но лишь тогда, когда он вспоминал, что должен будет снова встретиться с полковником Васильевым. Встреча эта разыгралась не так неприятно, как он ожидал.

— Вот и еще раз мы должны побеседовать, Клим Иванович, — сказал полковник, поднимаясь из-за стола и предусмотрительно держа в одной руке портсигар, в другой — бумаги. Прошу! — любезно указал он на стул по другую сторону стола и углубился в чтение бумаг.

Знакомый, уютный кабинет Попова был неузнаваем; исчезли цветы с подоконников, на месте их стояли аптечные склянки с хвостами рецептов, сияла, насквозь пронзенная лучом солнца, бутылка красных чернил, лежали, пухлые, как подушки, «Дела» в синих обложках; торчал вверх дулом старинный пистолет, перевязанный у курка галстухом белой бумажки. Все вещи были сдвинуты со своих мест, и в общем кабинет имел такой вид, как будто полковник Васильев только вчера занял его или собрался переезжать на другую квартиру. Остался на старом месте только бюст Александра Третьего, но он запылился, солидный нос царя посерел, уши, тоже серые, стали толще. В этой неуютности было нечто одобряющее.

Но еще больше одобрило Самгина хрящеватое, темное лицо полковника: лицо стало темнее, острые глаза отупели, под ними вздулись синеватые опухоли, по лысому черепу путешествовали две мухи, полковник бесчувственно терпел их, кусал губы, шевелил усами. Горбился он больше, чем в Москве, плечи его стали острее, и весь он казался человеком брошенным, уставшим.

— Ну, что ж нам растягивать эту историю, — говорил он, равнодушно и, пожалуй, даже печально уставив глаза на Самгина. — Вы, разумеется, показаний не дадите, — не то спросил, не то посоветовал он. — Нам известно, что, прибыв из Москвы, воспользовавшись помощью местного комитета большевиков и в пользу этого комитета, вы устроили ряд платных собраний, на которых резко критиковали мероприятия правительства, — угодно вам признать это?

— Собрания устраивал, но — не платные. Доклады мои носили характер строго фактический. Связей с комитетом большевиков не имею. Это все, что могу сказать, — не торопясь выговорил Самгин и не мог не отметить, что все это сказано им хорошо, с достоинством.

Полковник вздохнул сквозь зубы шипящим звуком:

— Н-ну, да, конечно...

И, постучав карандашом по синим ногтям левой руки, сказал, тоже не торопясь:

— Связь с комитетом напрасно отрицаете. Дознанием установлено, что дом вашей матушки — штаб-квартира большевиков. Так-то-с...

Полковник начал размашисто писать, перо торопливо ерзало по бланку, над бровями полковника явились мелкие морщинки и поползли вверх. Самгин подумал:

«Сейчас спросит: так как же, а?»

Но полковник, ткнув перо в стаканчик с мелкой дробью, махнул рукой под стол, стряхивая с пальцев что-то, отвалился на спинку стула и, мигая, вполголоса спросил:

— Скажите... Это — не в порядке дознания, — даю вам честное слово офицера! Это — русский человек спрашивает тоже русского человека... других мыслей, честного человека. Вы допускаете?

— Конечно, — поторопился Самгин, не представляя, что̀ именно он допускает.

— Этот поп — Гапон, Агафон этот, — вы его видели, да?

— Да, — ответил Самгин, не пугаясь своей храбрости.

— Что же это... какой же это человек? — шопотом спросил жандарм, ложась грудью на стол и сцепив пальцы рук. — Действительно — с крестами, с портретами государя вел народ, да? Личность? Сила?

Лицо полковника вдруг обмякло, как будто скулы его растаяли, глаза сделались обнаженнее, и Самгин совершенно ясно различил в их напряженном взгляде и страх и негодование. Пожав плечами и глядя в эти спрашивающие глаза, он ответил:

— На мой взгляд это не крупный человек...

Он тотчас понял, что этого не следовало говорить, и торопливо прибавил:

— Но он силен, очень силен тем, что его любят и верят ему...

— А — сам-то — ничтожество? — тоже поспешно спросил полковник. — Ведь ничтожество? — повторил он уже требовательно.

И, снова откинувшись на спинку стула, собрав лицо в кулачок, полковник Васильев сквозь зубы, со свистом и приударяя ладонью по бумагам на столе, заговорил кипящими словами:

— Наши сведения — полнейшее ничтожество, шарлатан! Но — ведь, это еще хуже, если ничтожество, ху-же! Ничтожество — и водит за нос департамент полиции, градоначальника, десятки тысяч рабочих и — вас, и вас тоже! — горячо прошипел он, ткнув пальцем в сторону Самгина, и снова бросил руки на стол, как бы чувствуя необходимость держаться за что-нибудь. — Невероятно! Не верю-с! Не могу допустить! — шептал он, и его подбрасывало на стуле.

Глядя в его искаженное лютовскими гримасами лицо, Самгин подумал, что полковник ненормален, что он может бросить в голову чем-нибудь, а то достанет револьвер из ящика стола...

— Мне кажется, полковник, что эта беседа не имеет отношения, — осторожно и тоже тихо заговорил Самгин, но тот прервал его:

— А не кажется вам, что этот поп и его проклятая затея — ответ церкви вам, атеистам, и нам, чиновникам, — да, и нам! — за Толстого, за Победоносцева, за угнетение, за то, что церкви сомкнули уста? Что за попом стоят епископы, и эта проклятая демонстрация — первый, пробный шаг к расколу церкви со светской властью. А?

Самгин был ошеломлен и окончательно убедился в безумии полковника. Он поправил очки, придумывая — что сказать? Но Васильев, не дожидая, когда он заговорит, продолжал:

— Как же вы не понимаете, что церковь, отвергнутая вами, враждебная вам, может поднять народ и против вас? Может! Нам, конечно, известно, что вы организуетесь в союзы, готовясь к самозащите от анархии...

Самгин взглянул на возбужденного жандарма внимательнее, — послышалось, что жандарм говорит разумно.

— А — что значат эти союзы безоружных? Доктора и адвокаты из пушек стрелять не учились. А вот в «Союзе русского народа» — попы,— вы это знаете? И даже архиереи, да-с!

Темное его лицо покрылось масляными капельками пота, глаза сильно покраснели и шептал он все более бессвязно. Самгин напрасно ожидал дальнейшего развития мысли полковника о самозащите интеллигенции от анархии, — полковник, захлебываясь словами, шептал:

— Культурные люди, знатоки истории... Должны бы знать: всякая организация строится на угнетении... Государственное право доказывает неоспоримо... Ведь вы — юрист...

Внезапно он вздрогнул, отвалился от стола, прижал руку к сердцу, другую — к виску и, открыв рот, побагровел.

— Вам нехорошо? — испуганно спросил Самгин, вскочив со стула.

Полковник махнул рукою сверху вниз и пробормотал:

— Укатали бурку... крутые горки!

Вытер лицо платком и шумно вздохнул:

— Если б не такое время — в отставку!

И, подвинув Самгину бланк, предложил устало:

— Прочитайте. Подпишите.

— Долго вы будете держать меня? — спросил Клим.

— Это — не я решаю. Откровенно говоря — я бы всех выпустил: уголовных, политических. Пожалуйте,—разберитесь в ваших желаниях... да! Мое почтение!

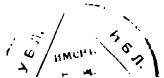
Потом Самгин ехал на извозчике в тюрьму; рядом с ним сидел жандарм, а на козлах, лицом к нему, —другой, широконосый, с маленькими глазками и усами в стрелку. Ехали по тихим улицам, прохожие встречались редко, и Самгин подумал, что они очень неумело показывают жандармам, будто их не интересует человек, которого везут в тюрьму. Он был засорен словами полковника, чувствовал себя уставшим от удивления и механически думал:

«Болен. Выдохся. Испуган и хотел испугать меня. Не стоит думать о нем».

Но и в камере пред ним все плавало, искаженное гримасами Лютова, потное лицо, шипели в тишине слова:

— Вы организуетесь для самозащиты от анархии...

«Это единственно разумное, что он сказал», — подумал Самгин.



Над камерой его пели осторожно, вполголоса двое уголовных, пели, как поют люди, думающие о своем чужими словами.

— «По песочку», — говорил один.

— «Бережком», — вторил другой, и оба задушевно, в голос, тянули:

— «Тамо — эх, да — тамо страннички иду-уть»...

Голоса плыли мимо окна камеры Клима, ласково гладя теплую тишину весенней ночи, щедро насыщая ее русской печалью, любимой и прославленной за то, что она смягчает сердце.

«Может быть, убийцы и уж, наверное, воры, а хорошо поют», — размышлял Самгин, все еще не в силах погасить в памяти мутное пятно искаженного лица, кипящий шопот, все еще видя комнату, где из угла смотрит слепыми глазами запыленный царь с бородою Кутузова.

«Очень путает разум это смешение хорошего и дурного в одном человеке»...

Песня мешала уснуть, точно зубная боль, еще не очень сильная, но грозившая разыграться до мучительной. Самгин спустил ноги с нар, осторожно коснулся деревянного пола и зашагал по камере, ступая на пальцы, как ходят по тонкому слою льда или по непрочной, гибкой дощечке через грязь.

За окном мурлыкали:

Эх, ночь темна-а...
Ой, темна, темным-темна...

Ночь была светлая. Петь стали тише, ухо ловило только звуки, освобожденные от слов.

«Толстой — прав, не доверяя разуму, враждуя с ним. Достоевский тоже не любил разума. Это, вообще, характерно для русских»...

Самгин вспомнил, как Никонова сказала о Толстом:

— Мучительный старик, все знает.

«Хуже, чем если б умерла», — подумал он.

Неприятно вспомнилась Варвара, которая приезжала на свидание в каком-то слишком модном костюме; разговаривала она грустным, обиженным тоном, а глаза у нее веселые.

В окно смотрели три звезды, вкрапленные в голубоватое серебро лунного неба. Петь кончили, и точно от этого стало холодней. Самгин подошел к нарам, бесшумно лег, окутался с головой одеялом, чтоб не видеть сквозь веки фосфорически светящегося лунного сумрака в камере, и почувствовал, что его давит новый страшок, непохожий на тот, который он испытал на Невском; тогда пугала смерть, теперь — жизнь.

Недели две он прожил в состоянии человека, который чем-то отравлен. Корнев заботливо выстукивал ему новости, но они скользили по застывшему, не волнуя.

— Спивак выпустили. Дунаев и Флеров отправлены в Москву. Заключен мир с японцами, очень скверный. Школа Спивак закрыта.

Самгин, слушая стук по камню, представлял длинноногую, сухую фигуру Корнева орудием, которое неутомимо разрушает стену.

— В Иванове-Вознесенске огромная забастовка, руководят наши. Восстание в Черноморском флоте.

Новости следовали одна за другой с небольшими перерывами, и казалось, что с каждым днем тюрьма становится все более шумной: заключенные перекликались между собой ликующими голосами, на прогулках Корнев кричал свои новости в окна, и надзиратели не мешали ему, только один раз начальник тюрьмы лишил Корнева прогулок на три дня. Этот беспокойный человек, наконец, встряхнул Самгина, простучав:

— Вчера застрелен Васильев.

— Кем? — спросил Самгин.

— Понятно, не пойман.

А утром он крикнул, проходя по коридору мимо камеры:

— До свидания, Самгин! Иду на волю! Скоро всех...

До утра Клим не мог уснуть, вспоминая бредовой шопот полковника и бутылочку красных чернил, пронзенную лучом солнца. Он не жалел полковника, но все-таки было тяжко, тошно узнать, что этот человек, растрепанный, как Лютов, как Гапон — убит.

И тотчас вспомнил, как Иноков, идя с ним по набережной, мимо разрушенного амбара, сказал:

— Смотрите!

На гнилом бревне, дополняя его ненужность, сидела грязно-серая, усатая крыса, в измятой, торчавшей клочьями шерсти, очень похожая на старушку нищую; сидела она, бессильно распластав передние лапы, свесив хвост мертвой веревочкой; черные бусины глаз ее в красных колечках неподвижно смотрели на позолоченную солнцем реку. Самгин поднял кусок кирпича, но Иноков сказал:

— Не троньте, она и так умрет.

Самгин помнил, что эти слова очень смутили его. Но теперь он решительно подумал:

«А человека Иноков может убить».

Но ни о чем и ни о ком, кроме себя, думать не хотелось. Теперь, когда прекратился телеграфный стук в стену и никто не сообщал тревожных новостей с воли, — Самгин ощутил себя забытым. В этом ощущении была своеобразно приятная горечь, упрекающая кого-то, в словах она выражалась так:

«Хороша жизнь, когда человек чувствует себя в тюрьме более свободным, чем на воле».

В тюрьме он устроился удобно, насколько это оказалось возможным; камеру его чисто вымыли уголовные, обед он получал с воли, из ресторана; читал, занимался ликвидацией предприятий Варавки, переходивших в руки Радеева. Несколько раз его посещал, в сопровождении товарища прокурора, Правдин, адвокат городского головы; снова явилась Варвара и, сообщив, что его скоро выпустят, спросила быстрым шопотом:

— Ты знаешь, что Никонова?..

— Знаю! — громко ответил он.

— Ужасное время, дорогой!

После убийства полковника Васильева в тюрьме появилось шестеро новых заключенных, и среди них Самгин увидел Дронова. Было почти приятно смотреть, как Иван Дронов, в кургузенькой визитке и соломенной шляпе, спрятав руки в карманы полосатых брюк, мелкими шагами бегает полчаса вдоль стены, наклонив голову, глядя под ноги себе или вдруг, точно наткнувшись на что-то, остановится и щиплет пальцами светло-рыжие усики. И не верилось, что эта фигура из старинного водевиля может играть какую-то роль в политике. После десятка прогулок Дронов исчез, а Самгин подумал, усмехаясь:

«Он провел в тюрьме пять часов».

Выпустили Самгина неожиданно и с какой-то обидной небрежностью: утром пришел адъютант жандармского управления с товарищем прокурора, любезно поболтали и ушли, объявив, что вечером он будет свободен, но освободили его через день вечером. Когда он ехал домой, ему показалось, что улицы необычно многолюдны, и в городе шумно так же, как в тюрьме. Дома его встретил доктор Любомудров, он шел по двору в больничном халате, остановился, взглянул на Самгина из-под ладони и закричал:

— Ага, узник! Поздравляю! Дела-то, а? Встает Русь на дыбы...

Тем же тоном он сообщил, что Аркадий болен дизентерией.

Эта шумная встреча надолго окрасила дальнейшие дни Самгина. Полковник Васильев не преувеличил: дом — действительно штаб-квартира большевиков; наверху у доктора и во флигеле Спивак было шумно, как на вокзале. Самгина изумляло обилие людей, они ходили по саду, сидели в беседке, ворчали, спорили, шептались, исчезали и являлись снова. На дворе соседа, лесопромышленника Табакова, щелкали шары крокета, а старший сын его, вихрастый, большеносый юноша с длинными руками и весь в белом, точно официант из московского трактира, виновато стоял пред Спивак и слушал ее торопливую речь.

— Это — недопустимо, понимаете? Это — меньшевизм. Ваша обязанность — разоблачать пред рабочими попытку фальсификации идеи народного представительства.

Спивак, несмотря на то, что сын ее лежал опасно больной, была почти невидима, с утра исчезала куда-то, являлась на полчаса, на час и снова исчезала. Очень похудев, бледная, она стала сумрачней, и, пожалуй, что-то злое появилось в ее круглом лице кошки, в плотно сжатых губах, в изгибе озабоченно нахмуренных бровей. Стояли мохнатые дни августа, над городом ползли сизые тучи, по улицам — тени, люди шагали необычно быстро. Со дня на день ожидался манифест о конституции, и Табаков, встряхивая рыжеватыми вихрами, повторяя уроки Спивак, высоким тенором говорил кому-то в саду:

— Эта конституция будет милостынею царя либералам для того, чтоб они помогли крепче затянуть петлю на шее рабочего класса.

«Баран, — думал Самгин, вспоминая слова Тагильского о людях, которые предают интересы своего класса. — Чего ради?» — спрашивал он себя в сотый раз.

Вдруг точно с потолка упал Иноков, развалился в кресле и, крепко потирая руки, спросил:

— Как сиделось? Скверненькая у нас тюрьма, а вот в Седлеце...

Лицо его обросло темной, густой бородкой, глазницы углубились, точно у человека, перенесшего тяжкую болезнь, а глаза блестели от радости, что он выздоровел. С лица похожий на монаха, одет он был, как мастеровой; ноги, вытянутые на средину комнаты, в порыжевших, стоптанных сапогах, руки, сложенные на груди, — темные, точно у металлиста, он — в парусиновой блузе, в серых, измятых брюках.

— Революционера начинают понимать правильно, — рассказывал он, поблескивая улыбочкой в глазах. — Я в Перми иду ночью по улице, — бьют кого-то трое. Вмешался «в число драки», избитый спрашивает: — «Вы — что же, революционер?» «Почему?» «Да — вот, защищаете незнакомого вам человека». Ловко сказано?

Закурив очень вонючую папиросу, он посмотрел в синий дым ее, сунул руку за голенище сапога и положил на стол какую-то медную вещь, похожую на ручку двери.

— Вот — вам! Помните, я у вас пресс-папье сломал?

Самгин удивленно взял в руки отлитую из меди фигурку женщины со змеей в руке.

— Это было так давно. И вы — помнили?

— А — что ж? Не люблю оставаться в долгу. Клеопатра. Сам лепил и отливал сам. Интересное дело — лепка и литье! Думаю заняться.

— Вы — эс-эр? — спросил Самгин.

— Нет, — сказал Иноков, отрицательно тряхнув головой. — И к эс-декам не тянет. Беки, меки, — не умещается это ни в душе, ни в голове моей. Должно быть анархист, что ли...

Медная, довольно искусно сделанная фигурка Клеопатры несколько примирила Самгина с Иноковым.

— Да, вероятно, вы анархист, — сказал он задумчиво и спросил. — Вы знаете, Корвин — в «Союзе русского народа»?

— Ну и чорт с ним, — тихо ответил Иноков. — Забавно это, — вздохнул он, помолчав. — Я думаю, что мне тогда надобно было врага, — человека, на которого я мог бы израсходовать свою злость. Вот я и выбрал этого... скота. На эту тему рассказ можно написать, — враг для развлечения от... скуки, что ли? Вообще, я много выдумывал разных... штучек. Стихи писал. Уверял себя, что влюблен...

Усмехнувшись, Иноков прикрыл глаза, точно задремал.

«Это он врет», — подумал Самгин, а Иноков, не открывая глаз, заговорил:

— Да, — вот что: на Каме, на пароходе — сестра милосердия, знакомое лицо, а — кто? Не могу вспомнить. Вдруг она эдак поежилась,

закуталась пледом — Лидия Тимофеевна. Оказалось, везет мужа в Тверь — хоронить.

— Убит?

— Тиф. Или — воспаление легких, не помню. Замечательно рассказывала она, как солдаты станцию громили, так рассказывала, будто станция-то — ее усадьба.

Иноков поджал ноги, собрался весь в комок и, поблескивая глазами, оживленно, с явным удовольствием, заговорил:

— Я тоже видел это, около Томска. Это, Самгин,— замечательно! Как ураган: с громом, с дымом, с воем влетел на станцию поезд, и все вагоны сразу стошнило солдатами. Солдаты — в судорогах, как отравленные, и — сразу: зарычала, застонала матерщина, задребезжали стекла, все затрещало, заскрипело, — совершенно как в неприятельскую страну ворвались.

Жадно затянувшись дымом, он продолжал с увлечением:

— Меньше часа они воевали и также — с треском, воем — исчезли, оставив вокзал изуродованным, как еврейский дом после погрома. Один бородач — красавец! — воткнул на штык фуражку начальника станции и встал на задней площадке вагона эдаким монументом. Великолепная фигура! Свирепо настроена солдатня. В таком настроении — Петербург разгромить можно. Вот бы Девятого-то Января пустить туда эдаких, — закончил он и снова распустился в кресле, обмяк, улыбаясь.

Исподлобья глядя на его монашеское лицо, Самгин хотел спросить: «Зачем это нужно, чтоб Петербург был разгромлен?». Но, помолчав, сухо спросил:

— А зачем вы ездили в Сибирь?

— Да так... посмотреть, — устало ответил Иноков и, позевнув, продолжал: — Вот и сюда приехал вчера тоже не знаю зачем. Все здесь известно мне, никого у меня нет. Встретил на улице Томилина. Растолстел он, надутый такой, глаза жирком заплыли. Позвал меня к себе, чай пить. Сожительница его умерла, теперь он — домохозяин, живет с какой-то дылдой в пенснэ и перекувырнулся к богу. Забавнейшая штука! Все, говорит, я исследовал, и кроме бога, утверждаемого именно православной церковью, ничего не оспоримого — нет! А как же третий инстинкт, инстинкт познания? Оказывается, он-то и ведет к богу, это есть инстинкт богоискательства. Поругался я с ним. Слушайте-ко, Самгин, можно выспаться у вас?

Не очень охотно Клим отвел его в столовую, пустую и темную, окна ее были закрыты ставнями. Там, сидя на диване и снимая сапог, Иноков спросил:

— Вы верите в заговоры? В бабьи заговоры на кровь, на любовную сухоту?

— Разумеется, не верю, — сердито ответил Самгин.

— А я верю. Сам видел, как старухи кровь заговаривают. И, помоему, философия — заговор на совесть, на успокоение встревоженной совести. Нет?

— Спите, — пробормотал Самгин, уходя и думая: «Надо скорей кончить здесь все и — в Москву!».

Утром Иноков исчез, оставив на полу столовой множество окурков. В этот день дома города как будто стиснулись, выдавив на улицы всех жителей. Торжественно звонил соборный колокол, трещали пролетки извозчиков, люди шагали быстро, говорили крикливо и необычно перепутались: рядом с горожанами, одетыми празднично, шла растрепанная мастеровщина, всюду сновали оборванные ребятишки, стремясь как на пожар или на парад. День, как все дни этой недели, был мохнатый и бесхарактерный; не то извинялся, что недостаточно ясен, не то грозил дождем. Мелко изорванные, сизые и серые облака придавали небу вид рубища или паруса, испещренного заплатами.

К собору, где служили молебен, Самгин не пошел, а остановился в городском саду и оттуда посмотрел на площадь; она была точно огромное блюдо, наполненное салатом из овощей: зонтики и платья женщин очень напоминали куски свеклы, моркови, огурцов. Сад был тоже набит людьми, образовав тесные группы, они тревожно ворчали; на одной скамье стоял длинный, лысый чиновник и кричал:

— Господа! Мне ничего не надо, никаких переворотов жизни, но, господа, ура вашей радости, восхищению вашему, огням души — ур-ра!

Самгин не видел на лицах слушателей радости, и не видел огней души в глазах жителей, ему казалось, что все настроены так же неопределенно, как сам он, и никто еще не решил — надо ли радоваться? В длинном ораторе он тотчас признал почтово-телеграфного чиновника Якова Злобина, у которого когда-то жил Макаров. Его «ура» поддержали несколько человек очень слабо и конфузливо, а сосед Самгина, толстенький, в теплом пальто, заметил:

— Ишь, как размахался!

— Возмущается, — сказал кто-то.

— Эхе-хе...

Озорниковато расталкивая публику, прошло десятка три работниц с фабрики варенья; одна из них, очень красивая, приплясывая, потряхивая пестрой юбкой, пела:

Пойду в переулочек,
Куплю барам булочек,
Куплю барам сухарей,
На-те, жрите поскорей!

— Это самые распутные девки в городе у нас, — сказал Самгину толстенький, как бы хвастаясь особенностью города.

Товарки певицы осторожно хихикали, опасливо оглядывались, за ними торжественно следовал хозяин фабрики, столетний слепец Ермолаев, в черных кружочках очков на зеленоватом, длиннобородом лице усопшего. Его вели под руки сын Григорий, неуклюжий, как ломовой извозчик, старик лет шестидесяти, первый скандалист города, а под дру-

гую руку поддерживал зять Неелов, хозяин кирпичного завода, похожий на уродливую тыкву, тоже старик, с веселым лицом, носатый, кудрявый. Сверкая желтыми белками глаз, Григорий Ермолаев покрикивал на людей:

— Сторонитесь! Не видите?

А отец его в черном сюртуке до пят, в черном, бархатном картузе, переставляя деревянные ноги, вытирал ладонью мертвый, мокрый нос и храпел:

— Не допускайте, православные, не допускайте!

Прихрамывая, качаясь, но шагая твердо и широко, раздвигая людей, как пароход лодки, торопливо прошел трактирщик и подрядчик по извозу Воронов, огромный человек с лицом, похожим на бараний курдюк, с толстой палкой в руке. За ними так же торопливо и озабоченно шли другие видные члены «Союза русского народа»: бывший парикмахер, теперь фабрикант «Искусственных минеральных вод», Бабаев; мясник Коробов; ассенизатор Ляпечкин; банщик Домогайлов, хозяин скорняжной мастерской Затиркин, непобедимый игрок в шашки, человек плоскогрудый, плосколицый, с равнодушными глазами.

Самгин постоял в саду часа полтора и убедился, что средний городской обыватель чего-то побаивается, но обезьянье любопытство заглушает его страх. О политическом значении события эти люди почти не говорят, может быть, потому, что не доверяют друг другу, опасаются сказать лишнее.

— Сказывали, музыка будет на площади, — слышал Самгин.

— К чему же это — музыка, если солдат не пригнали?

— Не царский день.

— Вот именно — не царский!

— Союзнички наши идут.

— Обязаны.

Маленький человечек в полосатом костюме и серой шляпе, размахивая тростью, беспокоился:

— А отчего полиции нет? Вы не знаете, почему нет полиции?

— Народ — трезвый.

И только мрачный человек в потертом пальто и дворянской фуражке не побоялся высказать откровенно свой взгляд: отодвинув Самгина плечом, он встал на его место и сказал басом:

— Ничего доброго из этой жидовской затеи не будет, а союзники — болваны.

В общем люди были так же бесхарактерны, как этот мохнатый пестрый день. Многие, точно прячась, стояли в тени под деревьями, но из облаков выглядывало солнце, обнаруживая их. На площадь, к собору, уходили не многие и не решительно.

Самгин подвинулся к решетке сада как раз в тот момент, когда солнце, выскользнув из облаков, осветило на паперти собора фиолетовую фигуру протоиерея Славороссова и золотой крест на его широкой груди. Славороссов стоял, подняв левую руку в небо и простирая правую над толпой благословляющим жестом. Вокруг и ниже его копошились люди, разма-

хивая трехцветными флагами, поблескивая окладами икон, обнажив лохматые и лысые головы. На минуту стало тихо, и зычный голос сказал, как в рупор:

— Не верьте обольщениям безумцев, не верьте хитростям инородцев!

Было хорошо видно, что люди с иконами и флагами строятся в колонну, и в быстроте, с которой толпа очищала им путь, Самгин почувствовал страх толпы. Он рассмотрел около Славороссова аккуратненькую фигурку историка Козлова с зонтиком в одной руке, с фуражкой в другой; показывая толпе эти вещи, он, должно быть, что-то говорил, кричал. Маленький на фоне массивных дверей собора, он был точно подросток, загримированный старичком.

— Пошли, — сказал кто-то сзади Клима.

Толпа, отхлынув от собора, попятилась к решетке сада, и несколько минут Самгин не мог видеть ничего, кроме затылков, но вскоре люди, обнажая головы, начали двигаться вдоль решетки, молча тиская друг друга, и пред Самгиным поплыли разнообразные, но одинаково серьезно настроенные, профили.

— Куда же это они... прямо на нас? — проворчал тощий человек впереди Клима и отодвинулся; тогда Самгин увидал каменное лицоКорвина, из-под его густых усов четко и яростно выскакивали правильно разрубленные слова:

— Бла-го-вер-но-му импе-ра-то-ру...

Почти не разделенные тонкой чертой переносья глаза его, — это уже когда-то отметил Самгин, — были как цифра 8.

Рядом с ним мелко шагал, тыкая в землю зонтиком, бережно держа в руке фуражку, историк Козлов, розовое его личико было смочено потом или слезами, он тоже пел, рот его открыт, губы шевелились, но голоса не слышно было; над ним возвышалось слепое, курдючное лицо Воронова, с круглой дырой в овчинной бороде:

— Ал-лександр-ровичу-у, — ревела дыра.

Воронов нес портрет царя, Лялечкин — икону в золоченом окладе; шляпа-котелок, привязанная шнурком за пуговицу пиджака, тоже болталась на груди его, он ее отталкивал иконой, а рядом с ним возвышалась лысая, в черных очках на мертвом лице, голова Ермолаева, он, должно быть, тоже пел или молился, зеленоватая борода его тряслась. Он был страшен, его, должно быть, затем и вывели, чтоб устрашать народ. Густо двигались люди с флагами, иконами, портретами царя и царицы в багетных рамках; изредка проплывала яркая фигурка женщины, одна из них шла, подняв не раскрытый красный зонтик, на конце его болтался белый платок.

«Триста, ну — пятьсот человек, — сосчитал Самгин, — а в городе живет семьдесят тысяч».

Он вспомнил мощное движение массы рабочих с Выборгской стороны Петербурга, бархатистый гул ее говора, торжественное настроение. Стало надсадно и безнадежно скучно слушать нестройный вой союзников.

«Удивительная страна. Все в ней не так... не то».

Люди из сада потянулись за манифестантами, явно не желая смешиваться с ними. Площадь пустела. В десятке шагов от решетки на булыжнике валялась желтенькая дамская перчатка, пальцы ее были сложены двухперстным крестом; это воскресило в памяти Самгина отрубленную кисть руки на снегу. Он посмотрел, как толпа втискивала себя в устье главной улица города, оставляя за собой два широких хвоста, вышел на площадь, примял перчатку подошвой и пошел к набережной. Его обогнала рыженькая собачка с перчаткой в зубах, загнув хвостишко кольцом, она тоже мчалась к реке, тогда Самгин снова возвратился в сад. Там на спинках скамеек сидели воробьи, точно старенькие люди; по черноватой воде пруда плавал желтый лист тополей, напоминая ладони с обрубленными пальцами. Самгин посидел на скамье, снова подумал о чудовищном несоответствии цифр:

«Пятьсот, семьсот человек и — семьдесят тысяч».

Домой итти не хотелось, там, вероятно, «гремят народные витии»,— подумал он, но все-таки пошел пустыми переулками, мимо запертых ворот и закрытых окон маленьких домиков. Здесь было тихо, даже дети не кричали, только легкий ветер пошевеливал жухлые листья на деревьях садов, да из центра города доплывал ворчливый шумок. Для того, чтоб попасть домой, Самгин должен был пересечь улицу, по которой шли союзники, но, когда он хотел свернуть в другой переулок, навстречу ему из-за угла, вышел широко шагая, Яков Злобин с фуражкой в руке, с распухшим лицом и пьяными глазами, размахнув руки, как бы желая обнять Самгина, он преградил ему путь, говоря не громко, удивленно:

— Можете представить — убили человека! Воронов, трактирщик, палкой по голове, на моих глазах, — всенародно! Позвольте, что же это значит? Это — аптекарь Гейнце... известный всем!

Самгин остановился. Он знал Гейнце, скромного и умного человека, очень заметного работника в культурных учреждениях города.

— Он ехал на извозчике, и вдруг Воронов бросился, — рассказывал Злобин, взмахивая рукой, задевая фуражкой о забор, из опухшего глаза его сочились слезы, длинные ноги топали, он качался, но Самгин видел, что он — не пьян, а — возмущен, испуган.

— В магазине Фурмана выбили стекла, приказчика окровавили,— перечислял Злобин, всхлипывая, всхрапывая. — Лошадь — палкой по морде. За что? Разве свобода...

Самгин обошел его, как столб, повернул за угол переулка, выводившего на главную улицу, и увидал, что переулок заполняется людьми, они отступали, точно разбитое войско, оглядывались, некоторые шли даже задом наперед, а вдали трепетал высоко поднятый красный флаг, длинный и узкий, точно язык.

— Демонстрация, — озабоченно сказал адвокат Правдин, здороваясь с Климом и снимая перчатку с левой руки, добавил, вздохнув: — Боюсь, — будет демонстрация бессилия.

Самгину хотелось повернуть назад, но сделать это было бы неловко пред Правдиным, тем более, что он, спрятав перчатки в карман, предложил:

— Что же, пойдемте... Надо же.

Самгин пошел за ним, присоединилось еще десятка два людей.

— Мы, так сказать, блокированы, — говорил Правдин. — Там,— он указал рукою за плечо свое, — союзники буянят, а впереди — эти, наши... Надо всячески стараться убедить, чтоб...

Его толкнули в спину, и он пошел быстрее, схватив Самгина за руку.

В конце улицы топтались вокруг красного флага демонстранты: железнодорожники, мастеровые, гимназисты, было много девушек, преобладала молодежь.

— Триста, четыреста, — сосчитал Самгин и вспомнил: — Семьдесят тысяч!

В центре толпы, с флагом на длинном древке стоял Корнев, голова его была выше всех. Самгин отметил, что сегодня у Корнева другое лицо, не столь сухое и четкое, как всегда, и глаза — другие, детские глаза.

— Товарищи! — командовал, приложив ладони ко рту, как рупор, гривастый, похожий на протодьякона, одетый в синюю блузу с разорванным воротом. — По пяти в ряд!

Люди перетасовывались, около знамени взмыли еще три красных флага.

— Товарищи! Господа! — кричал Правдин. — Подумайте, к чему может привести вас...

— Кого это — вас? — закричал на него рыжий гимназист.

Гривастый человек взмахнул головой, высоко поднял кулак и сильным голосом запел:

— «Вы жертвою пали»... — Самгин взглянул в его резкое лицо и узнал Вараксина, друга Дунаева.

Правдин, сняв шляпу, спрятал перчатку в карман и грустным тенорком подхватил:

— «...любви беззаветной к наро-оду».

Пошли не в ногу, торжественный мотив марша звучал не стройно, его заглушали рукоплескания и крики зрителей, они торчали в окнах домов, точно в ложах театра, смотрели из дверей, из ворот. Самгин покорно и спокойно шагал в хвосте демонстрации, потому что она направлялась в сторону его улицы. Эта пестрая толпа молодых людей была в его глазах так же не серьезна, как манифестация союзников. Но он невольно вздрогнул, когда красный язык знамени исчез за углом улицы, и там его встретил свист, вой, рев.

— Чорт побери, — слышите? — спросил Правдин, ускоряя шаг, но, свернув за угол, остановился, поднял ногу, и спрятав ее под пальто, пробормотал, держась за стену, стоя на одной ноге: — Ботинок развязался.

Самгин через очки взглянул вперед, где колыхались трехцветные флаги, блестели оклады икон, и воздух над головами людей чертили палки; он заметил, что некоторые из демонстрантов переходят с мостовой на па-

нели. Хлопали створки рам, двери, и сверху, как будто с крыши, суровый голос кричал:

— Ворота запри! Спусти Мурзу с цепи!

— Зайдемте сюда, я поправлюсь, — предложил Правдин, открывая дверь магазина дамских мод, и как раз в этот момент часть демонстрантов попятилась назад, втолкнув Самгина в магазин. Правдина радостно встретила толстая дама в пенснэ на мучном носу, он представил ей Самгина и забыл о нем, так же, как забыл о ботинке. Самгин встал у косяка витрины, глядя направо; он видел, что монархисты двигаются быстро, во всю ширину улицы, они как бы скользят по наклонной плоскости, и в их движении есть что-то слепое, они, всей массой, качаются со стороны на сторону, толкают стены домов, заборы, наполняя улицу воем, и вой звучит по-зимнему — зло и скучно.

Против них стоит, размахивая знаменем, Корнев, во главе тесной группы людей, — их было не более двухсот и с каждой секундой становилось меньше.

Видел Самгин историка Козлова, который, подпрыгивая, тыкая зонтиком в воздух, бежал по панели, Корнева, поднявшего над головою руку с револьвером в ней, видел, как гривастый Вараксин, вырвав знамя у Корнева, размахнулся, точно цепом, красное полотнище накрыло руку и голову регента; четко и сердито хлопнули два выстрела. Над головами Корнева и Вараксина замелькали палки, десятки рук, ловя знамя, дергали его к земле, и вот оно исчезло в месиве человеческих тел.

— Ломи, наши! Бери на ура! — неистово ревел человек в розовой рубахе; из свалки выбросило Вараксина, голого по пояс, человек в розовой рубахе наскочил на него, но Вараксин взмахнул коротенькой веревочкой с узлом или гирей на конце, и человек упал навзничь. Драка пред магазином продолжалась не более двух-трех минут, демонстрантов оттеснили, улица быстро пустела, у фонаря, обняв его одной рукой, стоял ассенизатор Лялечкин, черпал котелком воздух на лицо свое; на лице его были видны только зубы; среди улицы столбом стоял слепец Ермолаев, разводя дрожащими руками, гладил бока свои, грудь, живот и тряс бородой; напротив, у ворот дома, лежал гимназист, против магазина, головою на панель, растянулся человек в розовой рубахе. В Петербурге Самгин видел так много страшного, что все, что увидал он теперь, не очень испугало.

«Бессмысленно, бессмысленно», — убеждал он себя.

Мостовая была пестро украшена лохмотьями кумача, обрывками флагов, криво торчал обломок палки, воткнутый в щель между булыжником, около тумбы стоял, вниз головой, портрет царя. Кое-где на лысинах булыжника горели пятна и капли крови. Двое — по внешности приказчики — провели Корвина, поддерживая его под локти, он шел, закрыв лицо руками, ноги его заплетались. Проходя мимо слепого, они толкнули старика, ноги его подогнулись, он грузно сел на мостовую и стал щупать булыжники вокруг себя, а мертвое лицо поднял к небу, уже сплошь серому.

Самгин оглянулся: за спиной его сидела на диване молоденькая девушка и навзрыд плакала, Правдин исчез, хозяйка магазина внушала седоусому старику:

— Нужно было вызвать солдат...

Самгин вышел на улицу и тотчас же попал в группу людей, побитых в драке, это было видно по их одежде и лицам. Один из них крикнул:

— Стой, братцы! — Это из Варавкина дома. — Он схватил Клима за правую руку, заглянул в лицо его, обдал запахом теплой водки и спросил: — Верно? Ну, — по совести?

Самгин видел пред собой распухший лоб и мутно-серенький, тупой глаз, другой глаз и щеку закрывала измятая, изорванная шляпа.

— Я — приезжий, адвокат, — сказал он первое, что пришло в голову, видя, что его окружают нетрезвые люди и не столько с испугом, как с отвращением, ожидая, что они его изобьют. Но молодой парень в синей, вышитой рубахе, в лаковых сапогах, оттолкнул пьяного в сторону и положил ладонь на плечо Клима. Самгин почувствовал себя тоже как будто охмелевшим от этого прикосновения.

— Объясните нам — суд будет? Судить нас будут?

Лицо у парня тоже разбито, но он был трезвее товарищей, и глаза его смотрели разумно.

— Вероятно, — ответил Самгин, прислонясь к стене.

— Из Варавкина дома вся суматоха, — кричал пьяный, — парень снова толкнул его.

— Молчи, а то — в морду, — сказал он очень спокойно, без угрозы и обратился к Самгину:

— Кого же будут судить, позвольте! Кто начал? Они. Зачем дразнят? Флаг подняли больше нашего, шапок не снимают. Какие их права?

— Стекла выбить Варавке!

— Помер он.

— Помер? Ну, тогда...

— Идемте!

Четверо пошли прочь, а парень прислонился к стене рядом с Климом и задумчиво сказал, сложив руки на груди:

— Что-то нехорошо вышло, а?

— Нехорошо, — ласково согласился Самгин и немножко отодвинулся от него.

Открывались окна в домах, выглядывали люди, все в одну сторону, откуда еще доносились крики и что-то трещало, как будто ломали забор. Парень сплюнул сквозь зубы, перешел через улицу и присел на корточки около гимназиста, но тотчас же вскочил, оглянулся и быстро, почти бегом, пошел в тихий конец улицы.

За ним, по другой стороне, так же быстро направился и Самгин, вздрагивая и отскакивая каждый раз, когда над головой его открывалось окно; из одного женский голос крикнул:

— Еще один бежит, в очках! Держи его...

А через несколько шагов его спросили:

— Эй, стрекулист! Али животишко заболел?

Почувствовав что-то близкое стыду за себя, за людей, Самгин пошел тише, увидал вдали отряд конной полиции и свернул в переулок. Там, у забора, стоял пожилой человек в пиджаке без рукава и громко говорил кому-то:

— Ты меня оставь, как я есть. Это ничего, что я картуз потерял.

В щели забора, над плечами этого человека, блестели глаза, женский голос плачевно говорил:

— Ну, куда ты, бритое рыло, лезешь? твое ли это дело?

— Ты меня не уговаривай. Бить людей — нельзя!

— Догадался! Эх, ду-урак, дурак...

Мостовую перешел человек в резиновых калошах на босую ногу, он держал в руках двухствольное ружье.

— Кум! — закричал он в полуоткрытое окно маленького домика. — Дай-ко-сь дроби...

Окно открылось, на подоконнике, между цветочных горшков, сидел зеленоглазый кот, — он напомнил Климу Томилина.

После буйной свалки на Соборной улице тишина этих безлюдных переулков была подозрительна, за окнами, за воротами чувствовалось присутствие людей, враждебно подстерегающих кого-то. И обидно было, что красиво разрисованные Козловым хозяева узких переулков, тихоньких домиков, люди, устойчивой жизнью которых Самгин когда-то любовался, теперь ведут себя, как равнодушные зрители опасных безумств. Они сидят дома, заперев ворота, заряжая ружья дробью, точно собираясь ворон стрелять, а семидесятилетний старик, вооруженный зонтиком, а слепой фабрикант варенья и конфект вышли на улицу защищать свои верования.

— Негодяи, — ругал Самгин обывателей, смутно чувствуя, что в его обиде на них есть какое-то противоречие. Он, вообще, чувствовал себя запутанным, разбитым, бессильным.

Вход в улицу, где он жил, преграждали толстые полицейские на толстых лошадях и несколько десятков любопытствующих людей; они казались мелкими, и Самгин нашел в них нечто однообразное, как в арестантах. Какой-то серенький, бритый сказал:

— Вот еще одна Варавкина штучка идет, у-у!

Ворота всех домов тоже были заперты, а в окнах квартиры Любомудрова несколько стекол было выбито, и на одном из окон нижнего этажа сорвана ставня. Калитку отперла Самгину нянька Аркадия, на дворе и в саду было пусто, в доме и во флигеле тихо. Саша, заперев калитку, сказала, что доктор уехал к губернатору жаловаться.

— Табаков с ним и еще трое с нашей улицы. У Табакова сына избили. Товарища Корнева тоже...

Не слушая ее, Самгин прошел к себе, разделся, лег, пытаясь не думать, но думал и видел мысли свои, как пленку пыли на поверхности

темной, холодной воды — такая пленка бывает на прудах после ветреных дней. Мысли были мелкие, и это даже не мысли, а мутные пятна человеческих лиц, разные слова, крики, жесты, — сор буйного дня. Через некоторое время вверху у доктора затопали, точно танцуя кадриль, и Самгин, чтоб уйти от себя, сегодня особенно тревожно чужого всему, поднялся к Любомудрову. Он ожидал увидеть там по крайней мере пятерых, но было только двое: доктор и Спивак, это они шагали по комнате друг против друга.

— В больницу ты, Лиза, не пойдешь! — кричал доктор, размахивая платком, и, увидав Самгина, махнул платком на него: — Вот он со мной пойдет...

Они оба остановились пред Самгиным, — доктор, красный от возбуждения, потный, мигающий, и женщина, бледная, с расширенными глазами.

— Вы знаете, — страшно избит Корнев, — сказала она, но доктор, перебив ее, кричал:

— Нет, — Радеев-то, сукин сын, а? Послушал бы ты, что он говорил губернатору, Иуда! Трусова, ростовщица, и та — честнее. Какой же вы, говорит, правитель, ваше превосходительство! Гимназисток на улице бьют, а вы — что? А он ей — скот! — надеюсь, говорит, что после этого благомыслящие люди поймут, что им надо итти с правительством, а не с жидами против него, а?

Швырнув платок на пол, доктор закричал Спивак:

— Убеждал я тебя и всех твоих мальчишек: для демонстрации без оружия — не время! Не время... Ну?

— Едете вы в больницу? — строго спросила она.

— Еду?!

Доктор, схватив шляпу, бросился вниз, Самгин пошел за ним, но, так как Любомудров не повторил ему приглашения ехать с ним, Самгин прошел в сад, в беседку. Он вдруг подумал, что день Девятого Января, несмотря на весь его ужас, может быть менее значителен по смыслу, чем сегодняшняя драка, что вот этот серый день более глубоко задевает лично его.

— Необходимо! чтоб все это кончилось так или иначе, но — скорей, скорей?

На другой день его настроение окрепло; не могло не окрепнуть; потому что выступление «союзников» возмутило всех благомыслящих людей города. Стало известно, что вчера убито пять человек и в их числе — гимназист, племянник тюремного инспектора Топоркова, одиннадцать человек тяжко изувечены, лежат в больницах, Корнев, двенадцатый, при смерти, а человек двадцать раненых спрятано по домам. В редакции «Нашего края» выбиты стекла, в типографии поломаны машины, расхищен шрифт. Город с утра сердито заворчал и распахнулся, открылись окна домов, двери, ворота, солидные люди поехали куда-то на собственных лошадях, по улицам зашагали пешеходы с тростями, с палками в ру-

ках, нахлобучив шляпы и фуражки на глаза, готовые к бою; но к вечеру пронесся слух, что «союзники» собрались на Старой площади, тяжко избили двух евреев и фельдшерицу Личкус, — улицы снова опустели, окна закрылись, город уныло притих. Около полуночи, сквозь тишину, но както не нарушая ее, подъехал к воротам извозчик. Самгин был уверен, что это возвратилась Спивак, и не обратил внимания на шум. Однако минут через пять, в дверь к нему постучал заспанный дворник и сказал:

— Больного привезли.

— Так — не ко мне же, а к доктору?

— К вам, — неумолимо сказал дворник, человек мрачный и не похожий на крестьянина.

Самгин вышел в переднюю, там стоял, прислонясь к стене, кто-то в белой чалме на голове, в бесформенном костюме.

— Простите, Самгин, я — к вам. В больницу — не приняли...

Говорил он медленно, тяжко всхрапывая, и Самгин не сразу узнал в нем Инокова. Приказав дворнику позвать доктора, он повел Инокова в столовую.

— Вы ранены?

— Да. Избит. И ранен, — ответил Иноков, опускаясь на диван.

Пришел доктор в ночной рубахе, в туфлях на босую ногу, снял полотенце с головы Инокова, пощупал пульс, послушал сердце и ворчливо сказал Самгину:

— Н-да... обморок, гм? Позовите Елизавету. И — горничную! Горячей воды. Скорей!

Через час Самгин знал, что у Инокова прострелена рука, кости черепа целы, но в двух местах разорваны черепные покровы.

— И, должно быть, сломаны ребра... — сказал Любомудров, глядя в потолок.

Он ловко обрил волосы на черепе и бороду Инокова, обнажилось неузнаваемо распухшее лицо без глаз, только правый, выглядывая из синеватой щели, блестел лихорадочно и жутко. Лежал Иноков, вытянувшись, точно умерший, хрипел и всхлипывающим голосом произносил непонятные слова; вторя его бреду, шаркал ветер о стены дома, ставни окон.

За столом, пред лампой, сидела Спивак в ночном капоте, редактируя написанный Климом листок «Чего хотят союзники?». Широкие рукава капота мешали ей, она забрасывала их на плечи, говоря вполголоса:

— Вы тут такие ужасы развели, как будто наша цель напугать и обывателей, и рабочих...

«Надо уехать в Москву», — думал Самгин, вспоминая свой разговор с Фионой Трусовой, которая покупала этот проклятый дом под общежитие бедных гимназисток. Сильно ожиревшая, с лицом и шеей, налитыми любимым ею бургонским вином, она полупрезрительно и цинично говорила:

— А ты уступи, Клим Иванович! У меня, вот, в печенке — камни, в почках — песок, меня скоро черти возьмут в кухарки себе, так я у них похлопочу за тебя, ей-ей! А? Ну, куда тебе, козел в очках, деньги? Вот,

гляди, я свои грешные капиталы семнадцать лет все на девушек трачу, скольких в люди вывела, а ты — что, а? Ты, поди-ка, и на бульвар ни одной не вывел, праведник! Ни одной девицы не совратил, чай?

Говоря, она играла браслетом, сняв его с руки, и в красных пальцах ее золото казалось мягким.

— Странно вы написали, — повторила Спивак, беспощадно действуя карандашом. — Точно эс-эр... сантиментально.

Самгин молчал, наблюдая за нею, за Сашей, бесшумно вытиравшей лужи окровавленной воды на полу, у дивана, где Иноков хрипел и булькал, захлебываясь бредовыми словами. Самгин думал о Трусовой, о Спивак, о Варваре, о Никоновой, вообще — о женщинах:

«Странные существа. Макаров, вероятно, прав. Темные души»...

Спивак поразила его тотчас же, как только вошла. Избитый Иноков нисколько не взволновал ее, она отнеслась к нему, точно к незнакомому. А, кончив помогать доктору, села к столу править листок и сказала спокойно, хотя со вздохом:

— Вам, пожалуй, придется писать еще «Чего хотел убитый большевик?». Корнев-то не выживет.

— Едва ли выживет, — проворчал доктор.

— Да, темная душа, — повторил Самгин, глядя на голую, почти до плеча, руку женщины. Неутомимая в работе, она очень завидовала успехам эс-эров среди ремесленников, приказчиков, мелких служащих, и в этой ее зависти Самгин видел что-то детское. Вот она говорит доктору, который, следя за карандашом ее, окружил себя густейшим облаком дыма:

— На угрозы губернатора разгонять «всяческие сборища» применением оружия — стиль у них! — кое-где уже расклеены литографированные стишки:

Если будет хуже — я
Подтяну вас туже,
Применю оружие
Даже против мужа,
Даже против Трешера,
Мужа Эвелины...

и прочее в таком же пошленьком духе. А «Наш край» решено прикрыть...

— Все это — не надолго, не надолго, — сказал доктор, разгоняя дым рукой. — Ну-ка, давай, поставим компресс. Боюсь, как левый глаз у него? Вы, Самгин, идите спать, а часа через два-три смените ее...

Самгин ушел к себе, разделся, лег, думая, что и в Москве, судя по письмам жены, по газетам, тоже не спокойно. Забастовки, митинги, собрания, на улицах участились драки с полицией. Здесь он все-таки притерся к жизни. Спивак относится к нему бережно, хотя и суховато. Она вообще бережет людей и была против демонстрации, организованной Корневым и Вараксиным.

Дождь шуршал листвою все сильнее, настойчивей, но не побеждая тишины: она чувствовалась за его однотонным шорохом. Самгин почув-

ствовал, что впечатления последних месяцев отрывают его от себя с силою, которой он не может сопротивляться. Хорошо это или плохо? Иногда ему казалось, что плохо. Гапон, бесспорно, несчастная жертва подчинения действительности, опьянения ею. А вот царь — вне действительности и, наверное, тоже несчастен...

Ему показалось, что он еще не успел уснуть, как доктор уже разбудил его.

— Пожалуйте-ко, сударь. Он там возбужден очень, разговаривает, так вы не поощряйте. Я дал ему успокоительное...

Уже светало; перламутровое, очень высокое небо украшали розоватые облака. Войдя в столовую, Самгин увидал на белой подушке освещенное огнем лампы нечеловечье, точно из камня грубо вырезанное, лицо с узкой щелочкой глаза, оно было еще страшнее, чем ночью.

— Вот как... обработали меня, — хрипло сказал Иноков.

— Кто? — спросил Клим, тоном исследователя загадочных явлений.

— Корвин, — ответил Иноков, точно не сразу вспомнив имя. — Он и, должно быть, певчие. Четверо.

Помолчав, он добавил:

— Какой... испанец, дурак! Сколько времени?

— Седьмой час.

— Убить хотел, негодяй! Стреляет.

— Вам нельзя говорить, — вспомнил Самгин.

— Не буду.

Но, помолчав минуту, Иноков снова захрипел:

— Пожалуй, я его... понимаю! Когда меня выгнали из гимназии, мне очень хотелось убить Ржигу, — помните? — инспектор. Да. И после не редко хотелось... того или другого. Я — не злой, но бывают припадки ненависти к людям. Мучительно это...

Он устало замолчал, а Самгин сел боком к нему, чтоб не видеть эту половинку глаза, похожую на осколок самоцветного камня. Иноков снова начал бормотать что-то о Пуаре, о рыбной ловле, потом сказал очень внятно и с силой:

— Ему тоже... не поздоровится!

Самгин провел с ним часа три, и все время Инокова как-то взрывало, помолчит минут пять и снова начинает захлебываться словами, храпеть, кашлять. В десять часов пришла Спивак.

— У меня сидит Лидия Тимофеевна, — сказала она. — Идите к ней.

Клим пошел не очень обрадованный новой встречей с Лидией, но довольный отдохнуть от Инокова.

— Она, как будто, не совсем здорова, — сказала Спивак вслед ему.

— Я не знала, что ты здесь, — встретила его Лидия. — Я зашла к Елизавете Львовне, и — вдруг она говорит! Я разлюбила дом, знаешь? Да, разлюбила!

В костюме сестры милосердия она показалась Самгину жалостно постаревшей. Серая, худая, она все встряхивала головой, забывая, дол-

жно быть, что буйная шапка ее волос связана чепчиком, отчего голова на длинном теле ее, казалась уродливо большой. Торопливо рассказав, что она едет с двумя родственниками мужа в имение его матери вывозить оттуда какие-то ценные вещи, она воскликнула:

— Мне так хочется видеть дом, где родился Антон, где прошло его детство. Налить тебе кофе?

Но кофе она не налила, а, вместе со стулом подвинувшись к Самгину, наклонясь к нему, стала с ужасом в глазах рассказывать почему-то вполголоса и оглядываясь:

— Ты, конечно, знаешь: в деревнях очень беспокойно, возвратились солдаты из Манчжурии и бунтуют, бунтуют! Это — между нами, Клим, но ведь они бежали, да-да! О, это был ужас! Дядя покойника мужа, — она трижды быстро перекрестила грудь, — генерал, участник турецкой войны, георгиевский кавалер — плакал! Плачет и все говорит: разве это возможно было бы при Скобелеве, Суворове?

Заговорив громче, она впала в тон жалобный, лицо ее подергивали судороги, и ужас в темных глазах сгущался.

— Это — невероятно! — выкрикивала и шептала она. — Такое бешенство, такой стихийный страх не доехать до своих деревень. Я сама видела все это. Как будто забыли дорогу на родину, или не помнят — где родина? Милый Клим, я видела, как рыжий солдат топтал каблуками детскую куклу, знаешь — такую тряпичную, дешевую. Топтал и бил прикладом винтовки, а из куклы сыпалось... это, как это?

— Опилки, — подсказал Самгин.

— Вот! Опилки. И я уверена, что, если б это был живой ребенок, он и — его!

Схватившись за голову, она растерянно вскочила и, бегая по комнате, выкрикнула:

— О, какой страшный, какой несчастный народ!

Ее жалобы, испуг, нервозность не трогали Самгина, удивляя его. Такой разбитой он не мог бы представить себе ее.

«Ей идет вдовство. Впрочем, она была бы и старой девой тоже совершенной», — подумал он, глядя, как Лидия, плутая по комнате, на ходу касается вещей так, точно пробует: горячи они или холодны?

Несколько успокоясь, она говорила снова вполголоса:

— Все ждут: будет революция. Не могу понять — что же это будет? Наш полковой священник говорит, что революция — от бессилия жить, а бессилие — от безбожия. Он очень строгой жизни и постригается в монахи. «Мир во власти дьявола», — говорит он.

Самгин вспоминал, как она, по ночам, удовлетворив его чувственность, начинала истязать его нелепейшими вопросами. Вспомнил ее письма.

«Неужели забыла она все это? Почему же я не могу забыть?» — с грустью, но и со злобой спрашивал он себя.

— Да, — знаешь, кого я встретила? Марину. Она тоже вдова, давно уже. Ах, Клим, какая она! Огромная, красивая и... торгует церков-

ной утварью! Впрочем, это мелочь. Она — удивительна! Торговля — это ширма. Я не могу рассказать тебе о ней всего, —наш поезд идет в 12.32.

— Тебе не надо ли денег? — спросил Клим.

— Денег? Каких? Зачем? — очень удивилась она.

— Деньги отца, — напомнил Самгин.

— Нет, не надо. Они — в банке? Пусть лежат. Муж оставил мне все, что имел.

Она стояла пред ним так близко, что, протянув руки, Самгин мог бы обнять ее, именно об этом он и подумал.

— Я, кажется, постыдно богата, — говорила она, некрасиво улыбаясь, играя старинной цепочкой часов. — Если тебе нужны деньги, бери, пожалуйста!

Самгин уже неприязненно сказал, что денег ему не нужно.

— В январе ты получишь подробный отчет по ликвидации предприятий отца, — добавил он деловым тоном.

— Да, вот — отец, всю жизнь бешено работал и — ликвидация! Как все это... странно!

Она опустилась в кресло и с минуту молчала, разглядывая Самгина с неопределенной улыбкой на губах, а темные глаза ее не улыбались. Потом снова начала чадить словами, точно головня горьким дымом.

— Знаешь, эти маленькие японцы действительно — язычники, они стыдятся страдать. Я говорю о раненых, о пленных. И — они презирают нас. Мы проиграли нашу игру на Востоке, Клим, проиграли! Это — общее мнение. Нам совершенно необходимо снова воевать там, чтоб поднять престиж.

А еще через пять минут она горячо рассказала:

— В Москве я видела Алину — великолепна! У нее с Макаровым что-то похожее на роман; платонический, — говорит она. Мне жалко Макарова, он так много обещал и — такой пустоцвет. Эта грешница Алина... зачем она ему?

«Кажется, она кончит ханжеством, — думал Самгин, хотя подозревал в словах ее фальшь. — Рассказать ей о Туробоеве?»

Решил не рассказывать, это затянуло бы свидание. Кстати пришла Спивак, очень нахмуренная.

— Инокову хуже? — спросил Клим.

Спивак ответила:

— Нет.

— Иноков! — вскричала Лидия. — Это — тот? Да? Он — здесь? Я его видела по дороге из Сибири, он был матросом на пароходе, на котором я ехала по Каме. Странный человек...

Затем она попросила Спивак показать ей сына, но Аркадий с нянькой ушел гулять. Тогда Лидия, взглянув на часы, сказала, что ей пора на вокзал.

Проводив ее, чувствуя себя больным от этой встречи, не желая итти домой, где пришлось бы снова сидеть около Инокова, — Самгин пошел

в поле. Шел по тихим улицам и думал, что не скоро вернется в этот город, может быть — никогда. День был тихий, ясный, небо чисто вымыто ночным дождем, воздух живительно свеж, рыжеватый плюш дерна источал вкусный запах.

«Слишком много событий, — думал Самгин, отдыхая в тишине поля. — Это не может длиться бесконечно. Люди скоро устанут, пожелают отдыха, покоя».

Но ему отдохнуть не пришлось.

Проходя мимо лагерей, он увидал над гребнем ямы от солдатской палатки характерное лицо Ивана Дронова, расширенное неприятной, заигрывающей улыбкой. Голова Дронова обнажена, и встрепанные волосы почти одного цвета с жухлым дерном. На десяток шагов дальше от нее она была бы неразличима. Самгин прикоснулся рукою к шляпе и хотел пройти мимо, но Дронов закричал:

— Подожди минуту.

И засмеялся, вылезая из ямы.

На нем незастегнутое пальто, в одной руке он держал шляпу, в другой — бутылку водки. Судя по мутным глазам, он сильно выпил, но его кривые ноги шагали твердо.

— Это — счастливо, — говорил он, идя рядом. — А я думал: с кем бы поболтать? О вас я не думал. Это слишком высоко для меня. Но уж если вы — пусть будет так!

Он сунул бутылку в карман пиджака, надел шляпу, а пальто сбросил с плеч и перекинул через руку.

— Что вы хотите? В чем дело? — строго спросил Самгин. Мускулистая рука Дронова подхватила его руку и крепко прижала ее.

— Хочу, чтоб ты меня устроил в Москве. Я тебе писал об этом не раз, ты не ответил. Почему? Ну, ладно! Вот что, — плюнув под ноги себе, продолжал он. — Я не могу жить тут. Не могу, потому что чувствую за собой право жить подло. Понимаешь? А жить подло — не сезон. Человек, — он ударил себя кулаком в грудь, — человек дожил до того, что начинает чувствовать себя в праве быть подлецом. А я — не хочу! Может быть, я уже подлец, но — больше не хочу... Ясно?

— Не ожидал я, что ты пьешь... не знал, — сказал Самгин. Дронов вынул из кармана бутылку и помахал ею пред лицом его, — бутылка была полная, в ней не хватало, может быть, глотка. Дронов размахнулся и бросил ее далеко от себя, бутылка звонко взорвалась.

— Устроить тебя в Москве, — начал Самгин несколько сконфуженно и наблюдая искоса за покрасневшей щекой спутника, за его остреньким, беспокойным глазом.

— Должен! Ты — революционер, живешь для будущего, защитник народа и прочее.. Это — не отговорка. Ерунда! Ты, вот, в настоящем помоги человеку. Сейчас!

Шагая медленно, придерживая Самгина и увлекая его дальше в пустоту поля, Дронов заговорил визгливее, злей:

— Я здесь — все знаю, всех людей, всю их жизнь, все накожные муки. Я знаю больше всех социологов, критиков, мусорщиков. Меня судьба употребляет именно как мешок для сбора всякой дряни. Что ты вздрогнул, а? Что ты так смотришь? Презираешь? Ну, а ты — для чего? Ты — холостой патрон, галок пугать, вот что ты!

Самгин стал вслушиваться внимательней и пошел в ногу с Дроновым, а тот говорил едко и горячо:

— Твои статейки, рецензии — солома! А я — талантлив!

Он остановился, указывая рукою вдаль, налево, на вспухшее среди поля красное здание казармы артиллеристов и старые, екатерининские березы по краям шоссе в Москву.

— Казарма — чирей на земле, фурункул, — видишь? Дерево — фонтан, оно бьет из земли толстой струей и рассыпает в воздухе капли жидкого золота. Ты этого не видишь, я — вижу. Что?

— Дерево — фонтан, это не тобой выдумано, — машинально сказал Самгин, думая о другом. Он был крайне изумлен тем, что Дронов может говорить так, как говорит, до того изумлен, что слова Дронова не оскорбляли его. Вместе с изумлением он испывал еще какое-то чувство; оно связывало его с этим человеком очень неприятно. Самгин оглянулся; поле было безлюдно, лишь далеко, по шоссе, бежала пара игрушечных лошадей, бесшумно катился почтовый возок. Синеватый воздух был так прозрачен, что все в поле приняло отчетливость тончайшего рисунка искусным пером.

— Не мной? Докажи, — кричал Дронов, шершавая кожа на лице его покраснела, как скорлупа вареного рака, на небритом подбородке шевелились рыжеватые иголки, он махал рукою пред лицом своим, точно черпая горстью воздух и набивая его в рот.

Самгин попробовал шутить:

— Ты напал на меня, точно разбойник...

Но Дронов не услышал шутки.

— Я — знаю, ты меня презираешь. За что? За то, что я недоучка? Врешь, я знаю самое настоящее, — пакости мелких чертей, подлинную неодолимую жизнь. И чорт вас всех возьми со всеми вашими революциями, со всем этим маскарадом самомнения, ничего вы не знаете, не можете, не сделаете, — вы, такие вот сухари с миндалем!..

Он сильно толкнул Самгина в бок и остановился, глядя в землю, как бы собираясь сесть. Пытаясь определить неприятнейшее чувство, которое все росло, сближало с Дроновым и уже почти пугало Самгина, он пробормотал:

— Ты, Иван, анархизирован твоей... профессией!

— Жизнью, а не профессией, — вскрикнул Дронов. — Людьми, — прибавил он, снова шагая к лесу. — Тебе, в тюрьму, приносили обед из ресторана, а я кормился гадостью из арестантского котла. Мог и я из ресторана, но ел гадость, чтоб вам было стыдно. Не заметили? — усмехнулся он. — На прогулках тоже не замечали.

— За что ты был арестован? — спросил Самгин, чтоб отвлечь его другой темой.

— В связи с убийством полковника Васильева, — идиотство! — Дронов замолчал, точно задохнулся, и затем потише, вспоминающим тоном продолжал, кривя лицо: — Полковник! Он меня весной арестовал, продержал в тюрьме одиннадцать дней, затем вызвал к себе, извиняется: ошибка! — Остановясь, Дронов заглянул в лицо Клима и, дернув его вперед, пошел быстрее. — Ошибка? Нет, он хотел познакомиться со мной... не с личностью, нет, а — с моей осведомленностью, понимаешь? Он был глуп, но почувствовал, что я способен на подлость.

Самгин, отвернувшись в сторону, пробормотал:

— Они, кажется, всем предлагают служить у них...

— Нет! — крикнул Дронов. — Честному человеку — не предложат! Тебе — предлагали? Ага! То-то! Нет, он знал, с кем говорит, когда говорил со мной, негодяй! Он почувствовал: человек обозлен, ну и... попробовал. Поторопился, дурак! Я, может быть, сам предложил бы...

— Перестань, — сказал Самгин и снова попробовал отвести Ивана в сторону от этой темы. — Это не ты застрелил его?

Спросил он, совершенно не веря возможности того, о чем спрашивал, и вдруг инстинктивно стал вытаскивать руку, крепко прижатую Дроновым, но вытащить не мог: Дронов, как бы не замечая его усилий, не освобождал руку.

— Разве я похож на террориста? Такой ничтожный — похож? — спросил он, хихикнув скверненько.

— Странный вопрос, — пробормотал Самгин, вспоминая, что местные эс-эры не отозвались на убийство жандарма, а какой-то семинарист и двое рабочих, арестованные по этому делу, вскоре были освобождены.

— Нет, — говорил Дронов. — Я — не Балмашов, не Сазонов, даже и в Кочуры не гожусь. Я просто — Дронов, человек не исторический... бездомный человек. Неприкрепленный ни к чему. Понимаешь? Никчемный, как говорится.

— Анархист, — снова сказал Самгин, чувствуя, как слова Ивана все более неприятно звучат.

— И если сказать тебе, что я застрелил, ведь — не поверишь?

— Не поверю, — повторил Самгин, искоса заглядывая в его лицо.

Дронов, трясясь в припадке смеха, выпустив его руку и отсмеявшись, сказал:

— У моих знакомых сын, благонравный мальчишка, полгода деньги мелкие воровал, а они прислугу подозревали...

«Похоже на косвенное признание», — сообразил Самгин и спросил:

— При каких обстоятельствах его убили?

Дронов круто повернул назад, к городу, и не сразу трезво, даже нехотя рассказал:

— Говорят, вышел он от одной дамы, — у него тут роман был, — а откуда-то выскочил скромный герой — бац его в упор, а затем — бац в

ногу или в морду лошади, которая ожидала его, вот и все! Говорят, он был бабник, в Москве у него будто бы партийная любовница была.

— Кто может знать это? — пробормотал Самгин, убедясь, что действительно бывает ощущение укола в сердце...

— Полиция. Полицейские не любят жандармов, — говорил Дронов все так же неохотно и поплевывая в сторону. — А я с полицейскими в дружбе. Особенно с одним, такая протобестия!

Он снова начал о том, как тяжело ему в городе. Над полем, сжимая его, уже густел синий сумрак, город покрывали огненные облака, звучал благовест ко всенощной. Самгин, сняв очки, протирал их, хотя они в этом не нуждались, и видел пред собою простую покорную, нежную женщину. «Какой ты нерусский, — печально говорит она, прижимаясь к нему.— Мечты нет у тебя, лирики нет, все рассуждаешь».

«Возможно, что она и была любовницей Васильева», — подумал он и спросил:

— Ты конечно, понимаешь, как важно было бы узнать, кто эта женщина?

— Какая? — удивился Дронов. — Ах, эта! Понимаю. Но ведь дело давнее.

Самгину было уже совершенно безразлично, убил или не убивал Дронов полковника, это случилось где-то в далеком прошлом.

— Не забудь, — говорил Дронов, прощаясь с ним на углу какого-то подозрительно-тихого переулка. — Не торопись презирать меня, — говорил он, усмехаясь. — У меня, брат, к тебе есть эдакое чувство... близости, сродства, что ли...

«Опасный негодяй, — думал Самгин, со всею силою злости, на какую был способен. — Чувство сродства... ничтожество!»

— Но ведь это еще хуже, если ничтожество, хуже, — кричал темнолицый больной офицер.

«Нет, — до чего же анархизирует людей эта жизнь! Действительно нужна какая-то устрашающая сила, которая поставила бы всех людей на колени, как они стояли на Дворцовой площади пред этим ничтожным царем. Его бессилие губит страну, развращает людей, выдвигая вождями трусливых попов».

Никогда еще Самгин не чувствовал себя так озлобленным и настолько глубоко понимающим грязный ужас действительности. Дома Спивак сказала ему очень просто:

— Умер Корнев. Можете написать листок?

Он едва удержался, чтоб не сказать:

— С наслаждением.

Но, когда он принес ей листок, она, прочитав, вздохнула:

— Нет, это не годится. Критическая часть, пожалуй, удалась, а все остальное — не то, что надо. Попробую сама.

Когда он уходил, она сказала:

— Говорят, Корвин тоже умер.

Это оказалось правдой: утром в «Губернских ведомостях» Самгин прочитал высокопарно написанный некролог «скончавшегося от многих ран, нанесенных безумцами в день, когда сей муж, верный богу и царю, славословил во главе тысяч»...

«Тысячи — ложь».

Но и рассказ Инокова о том, что в него стрелял регент, очевидно, бред. Захотелось подробно расспросить Инокова: как это было. Он пошел в столовую, там, в сумраке, летали и гудели тяжелые осенние мухи; сидела, сматывая бинты, толстая сестра милосердия.

— Тише, — зашипела она. Иноков, в углу на диване, не пошевелился.

Доктор решительно запретил говорить с Иноковым:

— У него начинается что-то мозговое...

А когда Самгин начал рассказывать ему про отношения Инокова и Корвина, он отмахнулся рукой, проворчав:

— Знаю. Это — не мое дело. А, вот, союзники, вероятно, завтра снова устроят погромчик в связи с похоронами регента... Пойду убеждать Лизу, чтоб она с Аркадием сегодня же перебралась куда-нибудь из дома.

Возможность новой манифестации союзников настроила Самгина мрачно.

Подумав над этим, он направился к Трусовой, уступил ей в цене дома и, принимая из пухлых рук ее задаток, пачку измятых бумажек, подумал не без печали:

«Так кончилось «Завоевание Плассана» Тимофеем Варавкой».

Возвратясь домой, он увидал у ворот полицейского, на крыльце дома — другого; оказалось, что полиция желала арестовать Инокова, но доктор воспротивился этому; сейчас приедет полицейский и судебный следователь для проверки показаний доктора и допроса Инокова, буде он окажется в силах дать показание по обвинению его «в нанесении тяжких увечий, последствием коих была смерть».

— Врут сукины дети, — бунтовал доктор Любомудров, стоя пред зеркалом и завязывая галстук с такой энергией, точно пытался перервать горло себе.

— А я, к сожалению, должен сегодня же ехать в Москву, — сказал Самгин.

— Ну, и поезжайте, — разрешил доктор. — А Лиза поехала к губернатору. Упряма, как... коза. Как верблюд... да!

Самгин пошел укладываться.

И вот он дома. Жена, клюнув его горячим носом в щеку, осыпала дождем обиженных слов:

— Почему не телеграфировал? Так делают только ревнивые мужья в водевилях. Ты вел себя эти месяцы так, точно мы развелись, на письма не отвечал — как это понять? Такое безумное время, я — одна...

От ее невыносимо-пестрого халата, от распущенных по спине волос исходил запах каких-то новых, очень крепких духов.

«Стареет и уже не надеется на себя», — подумал Самгин, а она, разглядывая его, воскликнула тихо и с грустью, кажется, искренней:

— Как у тебя поседели виски!

— И ты не помолодела.

— Я — не одета, — объяснила она.

Потом пили кофе. В голове Самгина еще гудел железный шум поезда, холодный треск пролеток извозчиков, многообразный шум огромного города, в глазах мелькали ртутные капли дождя. Он разглядывал желтоватое лицо чужой женщины, мутно-зеленые глаза ее и думал:

«Должно быть, провела бурную ночь».

Думал и, чувствуя, как в нем возникает злоба, говорил:

— Да, неизбежно восстание. Надо, чтоб люди испугались той вражды, которая назрела в них, чтоб она обнажилась до конца и — ужаснула.

Говорил он минут десять непрерывно и, замолчав, почувствовал себя физически истощенным, как после длительной рвоты.

— Боже мой, какие у тебя нервы! — тихо сказала Варвара. — Но как замечательно ты говоришь...

«Я говорил, точно с Никоновой», — подумал он.

— Совершенно изумительно! Я убеждена, что твоя карьера в суде. Ты был бы знаменитым прокурором. — Улыбаясь, она добавила: — Ты говорил так... мстительно, как будто это я виновата в том, что будет революция. Здесь, бог знает, что творится, — продолжала она, вздохнув. — Все спрашивают друг друга: когда и чем кончится все это? Масса анекдотов, невероятных слухов. Приехала Сомова, она точно в бреду, как, впрочем, многие. Она с Гогиной собирают деньги на вооружение рабочих, представь! Так и говорят: на вооружение. Хотя все покупают револьверы. Явился Митрофанов, он — снова без места, такой несчастный, виноватый. И уж не говорит, только все крякает.

После полудня к Варваре стали забегать незнакомые Самгину разносчики потрясающих новостей. Они именно вбегали и не садились на стулья, а бросались, падали на них, не щадя ни себя, ни мебели.

— Вы слышали? Вы знаете?

И сообщали о забастовках, о погроме помещичьих усадьб, столкновениях с полицией. Варвара рассказала Самгину, что кружок дам организует помощь детям забастовщиков, вдовам и сиротам убитых.

— Тут, знаешь, убивали, — сказала она очень оживленно. В зеленоватом шерстяном платье, с волосами, начесанными на уши, с напудренным носом, она не стала привлекательнее, но оживление все-таки прикрашивало ее. Самгин видел, что это она понимает, и ей нравится быть в центре чего-то. Но он хорошо чувствовал за радостью жены и ее гостей — страх.

Пришел длинный и длинноволосый молодой человек с шишкой на лбу, с красным пышным галстуком на тонкой шее; галстук, закрывая подбородок, сокращал, а пряди темных прямых волос уродливо суживали это странно-желтое лицо, на котором широкий нос казался чужим.

Глаза у него были небольшие, кругленькие, говоря, он сладостно мигал и улыбался снисходительно.

— Брагин, — назвал он себя Климу, пощупав руку его очень холодными пальцами, осторожно, плотно сел на стул и пророчески посоветовал: — Скажите: слава богу мы пришли к началу конца!

Закинув голову и как бы читая написанное на потолке, он, басовито и непререкаемо, сообщил:

— Рабочими руководит некто «Марат», его настоящее имя — Лев Никифоров, он беглый с каторги, личность невероятной энергии, характер диктатора; на щеке и на шее у него большое родимое пятно. Вчера, на одном конспиративном собрании, я слышал его — говорит великолепно.

— А правда, что все они подкуплены японцами? — не очень решительно спросила толстая дама в золотых очках.

— Слухи о подкупе японцев — выдумка монархистов, — строго ответил Брагин. — Кстати: мне точно известно, что, если б не эти забастовки и не стремление Витте на пост президента республики, — Куропаткин разбил бы японцев наголову. Наголову, — внушительно повторил он и затем рассказал еще целый ряд новостей, не менее интересных.

— Удивительно осведомлен, — шепнула Варвара Самгину.

Самгин видел, что Брагин напыщенно глуп, да и все в доме, начиная с Варвары, глупо.

«Как, вероятно, в сотнях домов», — подумал он.

Вечером стало еще глупее, — в гостиную ввалился человек табачного цвета, большой, краснолицый, сияющий.

— Максим Р-ряхин, — сказал он о себе.

Он был широкоплечий, малоголовый, с коротким туловищем на длинных, тонких ногах, с животом, как самовар. Его круглое тугое лицо украшали светленькие, тщательно подстриженные усы, глубоко посаженные синенькие и веселые глазки, толстый нос и большие лиловые губы. Все в нем не согласовалось, спорило, и особенно назойливо лез в глаза его маленький, узколобый череп, скудно покрытый светлыми волосами, вытянутый к затылку. Ступни его ног, в рыжих суконных ботинках на пуговицах, заставили Самгина вспомнить огромные устойчивые ступни Витте, уже прозванного графом «Сахалинским». Растягивая звук «о», Ряхин говорил:

— Я — оптимист. В России это самое лучшее — быть оптимистом, этому нас учит вся история. Не надо нервничать, как евреи. Ну, пусть немножко пошумят, поозорничают. Потом их будут пороть. Помните, как Оболенский в Харькове, в Полтаве порол?

В три приема проглотив стакан чая, он рассказал, гладя колени свои ладонями рук, слишком коротких в сравнении с его туловищем:

— В Полтавской губернии приходят мужики громить имение. Человек пятьсот. Не свои — чужие; свои живут, как у Христа за пазухой. Ну, вот, пришли, шумят, конечно. Выходит к ним старик и говорит: «Цитьте», — это по-русски значит: тише, — «цитьте, Сергий Михайлович—

спять!» — то-есть спят. Ну-с, мужики замолчали, потоптались и ушли! Факт, — закончил он квакающим звуком успокоительный рассказ свой.

«Какой осел», — думал Самгин, покручивая бородку, наблюдая рассказчика. Видя, что жена тает в улыбках, восхищаясь как будто рассказчиком, а не анекдотом, он внезапно ощутил желание стукнуть Ряхина кулаком по лбу и резко спросил:

— Вы — что же? — не верите сообщениям прессы о крестьянских погромах?

— Политика! — ответил Ряхин, подмигнув веселым глазком. — Необходимо припугнуть реакционеров. Если правительство хочет, чтоб ему помогли, — надобно дать нам более широкие права. И оно — даст,— ответил Ряхин, внимательно очищая грушу, и начал рассказывать новый успокоительный анекдот.

Поняв, что человек этот ставит целью себе «вносить успокоение в общество», Самгин ушел в кабинет, но не успел еще решить, что ему делать с собою — явилась жена.

— Он тебе не понравился? — ласково спросила она, гладя плечо Клима. — А я очень ценю его жизнерадостность. Он — очень богат, член правления бумажной фабрики и нужен мне. Сейчас я должна ехать с ним на одно собрание.

Поцеловав Клима, она добавила:

— Не умный, но — замечательный. Ананасные дыни у себя выращивает.

Дыни рассмешили ее, и, хихикнув, она исчезла.

Самгин чувствовал себя человеком, который случайно попал за кулисы театра, в среду третьестепенных актеров, которые не заняты в драме, разыгрываемой на сцене, и не понимают ее значения. Глядя на свое отражение в зеркале, на сухую фигурку, сероватое угнетенное лицо, он вспомнил фразу из какого-то французского романа:

«Изысканное мучительство жизни».

Закурил папиросу и стал пускать струи дыма в зеркало, сизоватый дым на секунды стирал лицо и, кудряво расползаясь по стеклу, снова показывал мертвые кружочки очков, хрящеватый нос, тонкие губы и острую кисточку темненькой бороды.

— Ну, что? — спросил Самгин и, вздрогнув, оглянулся: было неприятно, что спросил он вслух, довольно громко и с озлоблением.

«Это уж похоже на неврастению», — опасливо подумал он, отходя от зеркала, и вспомнил, что вспышки злого недовольства собою все чаще пугают его.

Он оделся и, как бы уходя от себя, пошел гулять. Показалось, что город освещен празднично, слишком много было огней в окнах и народа на улицах много. Но одиноких прохожих почти нет, люди шли группами, говор звучал сильнее, чем обычно, жесты — размашистей; создавалось впечатление, что люди идут откуда-то, где любовались необыкновенно возбуждающим зрелищем.

Обгоняя прохожих, Самгин ловил фразы, звучавшие довольно благоразумно.

— Ну, что же? Прекратится подвоз провизии...

— Лавочники выиграют.

— Вы — против забастовки?

— Я — за единодушие! Забастовка может вызвать недовольство общества...

В полосах света из магазинов слова звучали как будто тише, а в тени — яснее, храбрее.

— В Калужской губернии семнадцать усадьб сожжено...

Колокола бесчисленных церквей призывали ко всенощной как-то необычно тревожно; извозчики похлестывали лошадей более усердно, чем всегда.

«Извозчики — самый спокойный народ», — вспомнил Самгин. Ему загородил дорогу человек в распахнутой шубе, в мохнатой шапке, он вел под руки двух женщин и сочно рассказывал:

— Социал-демократы — политические подростки. Я знаю всех этих «Маратов», Бауманов, — крикуны! Крестьянский союз, вот кто будет делать историю...

Самгин решил зайти к Гогиным, там должны все знать. Там было тесно, как на вокзале пред отходом поезда; он с трудом протискался сквозь толпу барышень, студентов из прохожей в зал, и его тотчас ударил по ушам тяжелый, точно в рупор кричавший голос:

— Из того, что либералы высказались против Булыгинской Думы, вы уже создаете какую-то теорию необходимости политического сводничества.

Разноголосо, но одинаково свирепо закричали:

— Ложь!

— К порядку!

— Стыдно!

— Товар-рищи, к порядку!

Перед Самгиным стоял Редозубов, внушая своему соседу вполголоса:

— Видишь, Ефим, — без хозяина решают. Кроме тебя — нет ни одного мужика!

Шум превратился в глухой ропот, а его покрыл осипший голос:

— Буржуазия есть буржуазия, и ничем иным она не может быть...

— Это — «Марат»?

— Кажется, — он.

— Мы обязаны развернуть забастовку во всеобщую...

Мешая слушать, Редозубов бормотал:

— Какие у них рабочие? Нет у них рабочих!

В зале снова разгорались крики:

— Хвастовство!

— У вас нет сил овладеть движением!

— Девятое Января доказало...

— Ваше бессилие!

— А — в Одессе, во дни «Потемкина»?

Было странно, что, несмотря на нетерпеливый, враждебный шум, осипший голос все-таки доносился, как доносится характерный звук пилы сквозь храп рубанков, удары топоров.

— Не удастся вам загрести руками рабочих жар в свои пазухи...

Кто-то пронзительно закричал:

— Мы, интеллигенция, — фермент, который должен соединить рабочих и крестьян в одну силу, а не... а не тратить наши силы на разногласия...

В углу зала поднялся, точно вполз по стене, опираясь на нее спиною, гладко остриженный, круглоголовый человек в пиджаке с золотыми пуговицами и закричал:

— Я уверен, что Союз Союзов выскажется за всеобщую...

Что-то резко треснуло, заскрипело, и оратор исчез, взмахнув руками, его падение заглушилось одобрительными криками, смехом, а Самгин стал пробиваться к двери.

В том, что говорили у Гогиных, он не услышал ничего нового для себя, — обычная разноголосица среди людей, каждый из которых боится порвать свою веревочку, изменить своей «системе фраз». Он привык думать, что хотя эти люди строят мнения на фактах, но для того, чтоб не считаться с фактами. В конце концов жизнь творят не бунтовщики, а те, кто в эпохи смут накопляют силы для жизни мирной. Придя домой, он записал свои мысли, лег спать, а утром Анфимьевна, в платье цвета ржавого железа, подавая ему кофе, сказала:

— Свежих булок нет, забастовали булочники-то.

Он промолчал.

— И трамвашки тоже, — настойчиво досказала старуха.

— Да?

— И газет, видно, нету.

— Вот как...

Тогда Анфимьевна, упираясь руками в бедра, спросила басовито и недовольно:

— Что же, Клим Иванович, долго еще царь торговаться будет?

— Не знаю, — сказал Самгин, натянуто улыбаясь.

— Пора бы уступить. Ведь, кроме нашего повара, весь народ против его.

— А что же повар? — шутя осведомился Клим, но старуха, отойдя к буфету, сердито проворчала:

— Даже городовые сомневаются. Вчера, слышь, народ в Грузинах разгоняли, опять дрались, били городовых-то. У Нижегороцкого вокзала тоже! Ех-ма...

Самгин посмотрел на ее широкую согнувшуюся спину, на большие, изработанные, уже дрожащие руки и, подумав: «Умрет скоро», спросил:

— Кому же может уступить царь?

— Ну, чать, у нас есть умные-то люди, не всех в Сибирь загнали! Вот, хоть бы тебя взять. Да мало ли...

Ушла, пошатываясь, такой уродливый чугунный монумент.

Не дожидаясь, когда встанет жена, Самгин пошел к дантисту. День был хороший, в небе цвело серебряное солнце, похожее на хризантему; в воздухе играл звон колоколов, из церквей, от поздней обедни, выходил дородный московский народ.

Но скоро Самгин приметил, что этот праздничный народ теряется среди напудренных булочников, серолицых наборщиков, трамвайных и железнодорожных рабочих. Они десятками появлялись из всех переулков и шли нешумно, приглядываясь ко всему, рассматривая здания магазинов, как чужие люди; точно впервые посетив город, изучали его. Чем ближе к Тверской, тем гуще смыкались эти люди, вызывая у Самгина впечатление веселой, но сдержанной властности. Толпа шла, добродушно посмеиваясь, пошучивая, приглядываясь, и, очень легко всасывая людей несродных, увлекала их с собою. Самгин видел, как она поглощала людей в дорогих шубах, гимназистов, благообразное чистенькое мещанство, словоохотливых интеллигентов, шумные группы студенчества, нарядных и скромно одетых женщин, девиц. Видел, что эта пестрота легко и не нарушая единодушного настроения тает в толпе. Себя он не чувствовал увлекаемым, толпа двигалась в направлении к Тверской, ему нужно было туда же, к Страстной площади.

Из какого-то переулка выехали шестеро конных городовых, они очутились в центре толпы и поплыли вместе с нею, покачиваясь в седлах, нерешительно взмахивая нагайками. Две-три минуты они ехали мирно, а затем вдруг вспыхнул оглушительный свист, вой; маленький человек впереди Самгина, хватая за плечи соседей, подпрыгивал и орал:

— Гоните их прочь, шестиногих сволочей!

Лошади конников сбились в кучу и, однообразно взмахивая головами, начали подпрыгивать, всадники тоже однообразно замахали нагайками, раскачиваясь взад и вперед, движения их были тяжелы и механичны, как движения заводных игрушек; пронзительный голос неистово спрашивал:

— За что, а? За что?

Раздалось несколько шлепков, похожих на удары палками по воде, и тотчас сотни голосов яростно и густо заревели; рев этот был еще незнаком Самгину, стихийно силен, он как бы исходил из открытых дверей церкви, со дворов, от стен домов, из-под земли. Самгин видел десятки рук, поднятых вверх, дергавших лошадей за повода, солдат за руки, за шинели, одного тащили за ноги с обеих боков лошади, что удерживало его в седле, он кричал, страшно вытаращив глаза, свернув голову направо; еще один, наклонясь вперед, вцепился в гриву своей лошади, и ее вели куда-то, а четверых солдат уже не было видно.

Высокий беловолосый человек, встряхивая головою, брызгал кровью на плечо себе и все спрашивал:

— За что?

Все это было не страшно, но, когда крик и свист примолкли, стало страшней. Кто-то заговорил певуче, как бы читая псалтырь над покойником, и этот голос, укрощая шум, создал тишину, от которой и стало страшно. Десятки глаз разглядывали полицейского, сидевшего на лошади, как существо необыкновенное, невиданное. Молодой парень, без шапки, черноволосый, сорвал шашку с городового, вытащил клинок из ножен и, деловито переломив его на колене, бросил под ноги лошади.

— Пожалуй, убьют, — сказали за плечом Самгина, другой голос равнодушно посоветовал:

— Шашкой-то и убить бы.

Свалив солдата с лошади, точно мешок, его повели сквозь толпу, он оседал к земле, неслышно кричал, шевеля волосатым ртом, лицо у него было синее, как лед, и таяло, он плакал. Рядом с Климом стоял человек в куртке, замазанной красками, он был выше на голову, его жесткая борода холодно щекотала ухо Самгина.

— Взяли они это глупое обыкновение нагайками хлестать, — солидно говорил он; лицо у него было сухое, суздальское, каких много, а куртка на нем — пальто, полы которого обрезаны.

Солдата вывели на панель, поставили, как доску, к стене дома, темная рука надела на голову его шапку, но солдат, сняв шапку, вытер ею лицо и сунул ее подмышку.

«Не убили, — подумал Самгин, облегченно вздохнув. — Должно быть, потому, что тесно. И много чужих людей».

Он понимал, что думает глупо. Но он пережил минуту острейшего напряженного ожидания убийства, а теперь в нем вдруг вспыхнуло чувство, похожее на благодарность, на уважение к людям, которые могли убить, но не убили; это чувство смущало своею новизной, и, боясь какой-то ошибки, Самгин хотел понизить его. Он зорко присматривался к лицам людей, — лица такие же, как у тех, что три года тому назад шагали, не торопясь, в Кремль к памятнику Александра Второго, да, лица те же, но люди — другие. Не похожи они и на рабочих, которые шли за Гапоном к Николаю Второму. Невозможно было понять: за кем и за чем идут эти. Идут тоже не торопясь, как-то по-деревенски, с развальцем, без красных флагов, без попыток петь революционные песни. И нет ни одного Корнева, хотя интеллигентов — не мало. Они, как «объясняющие господа», должны бы итти во главе рабочих, но они вкраплены везде в массу толпы, точно зерна мака на корке булки. Один из них, впереди Самгина, со спины похожий на Гусарова, громко проповедует:

— Когда рабочий класс поймет до конца решающее значение своего труда...

А с боку молодой парень с курчавыми усами, с забинтованной головой, кричит человеку в пиджаке, измазанном красками:

— Да — перестань! Что — ты — милостыню просить идешь?

— Не сердись, Яшук...

— Может быть, это и есть «начало конца»? — спросил себя Клим Самгин.

Передние ряды, должно быть, наткнулись на что-то, и по толпе пробежала волна от удара, люди замедлили шаг, попятились.

— Что там? Не пускают? Полиция, что ли?

— Вперед, ребята, вперед! — раздались очень бодрые и даже строгие окрики. — Товарищи, вперед!

— Казачишки.

— Бьют?

— Не видать.

Раздалось несколько крепких ругательств, толпа единодушно рванулась вперед, и Самгин увидел довольно плотный частокол казацких голов, головы были мелкие, почти каждую украшал вихор, лихо загнутый на красный околыш фуражки; эти вихры придавали красненьким мордочкам казаков какое-то несерьезное однообразие; лошади были тоже мелкие, мохнатенькие, и вместе с казаками они возобновили у Самгина впечатление игрушечности. Горбоносый казацкий офицер, поставив коня своего боком к фронту и наклонясь, слушал большого толстого полицейского пристава; пристав поднимал к нему руки в белых перчатках, потом, обернувшись к толпе лицом, закричал и гневно и умоляюще:

— К-куда? Разойдись...

Самгин видел, как лошади казаков, нестройно взмахивая головами, двинулись на толпу, казаки подняли нагайки, но в те же секунды его приподняло с земли и в свисте, вое, реве закружило, бросило вперед, он ткнулся лицом в бок лошади, на голову его упала чья-то шапка, кто-то крякнул в ухо ему, его снова завертело, затолкало, и, наконец, оглушенный, он очутился у памятника Скобелеву, рядом с ним стоял седой человек, похожий на шкаф, пальто на хорьковом мехе было распахнуто, именно как дверцы шкафа, показывая выпуклый полосатый живот; сдвинув шапку на затылок, человек ревел басом:

— Насильники, убийцы!..

— Долой самодержавие! — кричали всюду в толпе; она тесно заполнила всю площадь, черной кашей кипела на ней; в густоте ее неестественно подпрыгивали лошади; точно каменная и замороженная земля под ними стала жидкой, засасывала их, и они погружались в нее до колен, раскачивая согнувшихся в седлах казаков; казаки, крестя нагайками воздух, били направо, налево; люди, уклоняясь от ударов, свистели, кричали:

— Дол-лой! Тащи с лошадей!

Самгин, передвигаясь с людьми, видел, что казаки разбиты на кучки, на единицы и не нападают, а защищаются; уже несколько всадников сидело в седлах спокойно, держа поводья обеими руками, а один, без фуражки, сморщив лицо, трясся, точно смеясь. Самгин двигался и кричал:

— Дикари! Не смейте!

Но шум был таков, что он едва слышал даже свой голос, а сзади памятника, у пожарной части, образовался хор и, как бы поднимая что-то тяжелое, кричал ритмично:

— До-лой ца-ря, до-лой ца-ря...

Появились пешие полицейские, но толпа быстро всосала их, разбросав по площади; в тусклых окнах дома генерал-губернатора мелькали, двигались тени, в одном окне вспыхнул огонь, а в другом, рядом с ним, внезапно лопнуло стекло, плюнув вниз осколками.

«В сущности это победа, они победили», — решил Самгин, когда его натиском толпы швырнуло в Леонтьевский переулок. Изумленный бесстрашием людей, он заглядывал в их лица, красные от возбуждения, распухшие от ударов, испачканные кровью, быстро застывавшей на морозе. Он ждал хвастливых криков, ждал выявления гордости победой, но высокий усатый человек в старом грязноватом полушубке пренебрежительно говорил, прислонясь к стене:

— Сотник — дурак, ему за это попадет!

Молодая женщина в пенснэ перевязывала ему платком ладонь левой руки, правою он растирал опухоль на лбу; его окружало человек шесть таких же измятых, вывалянных в снегу.

— Али можно допускать пехоту вплоть до кавалерии? Он, обязанный действовать с расстояния, подпустил на дистанцию и — р-рысью мар-рш! Тут пехота не может устоять, кони опрокинут. Тогда бей, руби! А он допустил по грудь себе, идиёт.

— Это — верно, — поддержал его один из окружающих. — И водой могли облить, пожарная часть — под боком.

— Ежели они будут так зевать, мы им нагреем затылки.

— Покорно благодарю, мадам, — сказал раненый в руку и сплюнул кровью. — Мерси, ловко вы... Пошли, ребята!

Пошел он назад, на площадь, где шум не стал тише. Самгин тоже пошел за ним, вслушиваясь в говор попутчиков.

— Реворвер я у него вырвал.

— Собака! Что ж он?

— На землю бросился, верно, думал, что я в него тоже выстрелю...

— Студенты здорово действовали!

— Они драться любят.

— Барышня одна, толстенькая, ну — до чего смела! Того и жди — в морду влепит приставу. А — мышь против собаки...

— Один — тросточкой хлестал...

— Ежели, товарищ, интеллигент рискует с нами, значит...

Было странно слышать, что, несмотря на необыденность тем, люди эти говорят как-то обыденно-просто, даже почти добродушно; голосов и слов озлобленных Самгин не слышал. Вдруг все люди впереди его дружно побежали, а с площади, встречу им, вихрем взорвался оглушающий крик, и было ясно, что это не крик испуга или боли. Самгина толкали, обгоняя его, кто-то схватил за рукав и повлек его за собой, сопя:

— Братцы, не отставай...

Выбежав на площадь, люди разноголосо ухнули, попятились, и на секунды вокруг Самгина все замолчали, боязливо или удивленно. Самгина приподняло на ступень какого-то крыльца, на углу, и он снова видел толпу,

она двигалась, точно чудовищный таран, отступая и наступая — выход вниз по Тверской ей преграждала рота гренадер со штыками на-руку.

А сзади солдат, на краю крыши одного из домов, прыгали, размахивая руками, точно обжигаемые огнем еще невидимого пожара, маленькие фигурки людей, прыгали, бросая вниз на головы полиции и казаков доски, кирпичи, какие-то дымившие пылью вещи. Был слышен радостный крик:

— Ур-ра, филипповцы! Ур-ра-а...

И так же радостно говорил человек, напудренный мукою, покрывший плечи мешком, человек в одной рубахе и опорках на голые ноги:

— Мы, значит, из рабочей дружбы, тоже забастовали, вышли на улицу, стоим смирно, ну и тут казачишки — бить нас...

— Би-ить? — взревел кто-то.

— Ну, мы, которые — побежали, — чем оборониться? — А те — на чердаки...

Самгин смотрел на крышу, пытаясь сосчитать храбрецов, маленьких, точно школьников. Но они не поддавались счету, мелькая в глазах с удивительной быстротой, они подбегали к самому краю крыши и, рискуя сорваться с нее, метали вниз поленья, кирпичи, доски и листы железа, особенно пугавшие казацких лошадей. Самгин снимал и вновь надевал очки, наблюдая этот странный бой, очень похожий на игру расшалившихся детей, видел, как бешено мечутся испуганные лошади, как всадники хлещут их нагайками, а с панели небольшая группа солдат грозит ружьями в небо и целится на крышу. Но выстрелов не слышно было в сплошном густейшем реве и вое, маленькие булочники с крыши не падали, и во всем этом ничего страшного не было, а было что-то другое, чего он не мог понять.

Вокруг его непрерывно трепетал торопливый нервный говорок:

— Дымоход разбирают.

— Оборониться всегда найдешь чем — только захоти! — восторженно прокричал кто-то; его немедля передразнили:

— Захоти-и! Ну-ко, пойди, сбей кулаком солдатов! Было бы чем оборониться, мы бы тут не торчали...

— Эх, братцы! Кирпичу подать бы им...

А знакомый Самгину голос человека с перевязанной ладонью внушительно объяснял:

— С крыши пулей не собьешь, способной линии для пули нету...

Большинство людей стояло молча, сосредоточенно, как стоят на кулачных боях взрослые бойцы, наблюдая горячую драку подростков.

— Еще солдат гонят, — угрюмо сказал кто-то, и вслед за тем Самгин услыхал памятный ему сухой треск ружейного залпа.

— Эге!

— Холостыми...

— Знаем мы эти холостые!

— Однако уходить надо, ребята!

И, не спеша, люди, окружавшие Самгина, снова пошли в Леонтьевский, оглядываясь, как бы ожидая, что их позовут назад; Самгин шел,

чувствуя себя так же тепло и безопасно, как чувствовал на Выборгской стороне Петербурга. В общем он испытывал удовлетворение человека, который, посмотрев репетицию, получил уверенность, что в пьесе нет моментов, терзающих нервы, и она может быть сыграла очень неплохо.

Почти неделю он прожил в настроении приподнятом, злорадно забавляясь страхами жены.

— Что ж это будет, Клим, как ты думаешь? — назойливо спрашивала она каждый день утром, прочитав телеграммы газет о росте забастовок, крестьянском движении, о сокращении подвоза продуктов к Москве. Борются с правительством, а хотят выморить голодом нас, — возмущалась она, вздергивая плечи на высоту ушей. — При чем тут мы?

Негодовала не одна Варвара, ее приятели тоже возмущались. Оракулом этих дней был «удивительно осведомленный» Брагин. Он подстриг волосы и уже заменил красный галстук синим в полоску; теперь галстук не скрывал его подбородка, и оказалось, что подбородок, уродливо острый, загнут вверх, точно у беззубого старика, от этого восковой нос Брагина стал длиннее, да и все лицо обиженно вытянулось. Фыркая и кашляя, он говорил:

— Знаете, это, все-таки, смешно! Вышли на улицу, устроили драку под окнами генерал-губернатора и ушли, не предъявив никаких требований. Одиннадцать человек убито, тридцать два — ранено. Что же это? Где же наши партии? Где же политическое руководство массами, а?

Самгин молчал. Да, политического руководства не было, вождей— нет. Теперь, после жалобных слов Брагина, он понял, что чувство удовлетворения, испытанное им после демонстрации, именно тем и вызвано: вождей—нет, партии социалистов никакой роли не играют в движении рабочих. Интеллигенты, участники демонстрации, — благодушные люди, которым литература привила с детства «любовь к народу». Вот кто они, не больше.

Возмущаясь недостатком активности рабочих, Брагин находил активность крестьян не только чрезмерной, но совершенно излишней.

— Это — начало пугачевщины, — говорил он, прикрывая глаза ресницами не с верха, как люди, а с низа, как птицы.

Ряхин тоже приуныл и, делая руками в воздухе какие-то сложные петли, бормотал виновато:

— Да, перебарщивают. Расшалились. Ах, правительство, правительство! — вздыхал он.

Иронически радовался Редозубов. Самгин встретил его на митинге.

— Мужичок — что, а? — спросил Редозубов, хлопнув его по плечу, и обещал: — Он вам покажет коку с соком.

Самгин не ответил ему, даже не взглянул на него, бывший толстовец вызывал в нем какие-то неопределенные опасения. Было уже довольно много людей, у которых вчерашняя «любовь к народу» заметно сменялась страхом пред народом, но Редозубов отличался от этих людей явным злорадством, с которым он говорил о разгромах крестьянами помещичьих хозяйств. В его анархизме Самгин чувствовал нечто подзадоривающее,

провокаторское, но гораздо хуже было то, что настроение Редозубова было чем-то сродно, совпадало с настроением самого Клима.

Самгин вел себя с людьми более сдержанно и молчаливо, чем всегда. Прочитав утром крикливые газеты, он с полудня уходил на улицы, бывал на собраниях, митингах, слушая, наблюдая, встречая знакомых, выспрашивал, но не высказывался, обедал в ресторанах, позволяя жене думать, что он занят конспиративными делами. Он чувствовал себя напряженно, туго заряженным и, минутами, боялся, что помимо его воли в нем может что-то взорваться, и тогда он скажет или сделает нечто необыкновенное и — против себя. В конце концов он был совершенно уверен, что все, что происходит в стране, очищает для него дорогу к самому себе. Всю жизнь ему мешала найти себя эта проклятая фантастическая действительность, всасываясь в него, заставляя думать о ней, но не позволяя встать над нею человеком, свободным от ее насилий.

Он почувствовал себя ошеломленным, прочитав, что в Петербурге организован Совет Рабочих Депутатов.

— Это — что еще? — заспанным голосом, капризно и сердито, спросила Варвара, встряхивая газету, как салфетку, на которой оказались какие-то крошки.

— Организация рабочих, как видишь, — задумчиво ответил он, а жена допрашивала, все более раздражаясь:

— Кто это — Хрусталев-Носарь, Троцкий, Фейт? Какие-нибудь вроде Кутузова? А где Кутузов?

— Не знаю.

— Вероятно, в тюрьме?

— Возможно.

— Кончится тем, что все вы будете в тюрьме.

— И это допустимо.

— Или вас перебьют.

— Увидим.

— Безумие, — сказала Варвара, швырнув газету на пол, и ушла, протестующе топая голыми пятками.

Самгин поднял газету и прочитал в ней о съезде земцев, тоже решивших организоваться в партию.

— Граф Гейден, Милюков, Петрункевич, Родичев, — читал он; скучно мелькнула фамилия его бывшего патрона.

«Опоздали», — решил он, хотя и почувствовал нечто утешительное в факте, что одновременно с Советом Рабочих возникает партия, организованная крупными либералами.

«Испытанные политики, талантливые люди», — напомнил он себе. Но это утешило только на минуту.

«Совет рабочих, это — уже движение по линии социальной революции», — подумал он, вспоминая демонстрацию на Тверской, бесстрашие рабочих в борьбе с казаками, булочников на крыше и то, как внимательно толпа осматривала город.

— Социальная революция без социалистов, — еще раз попробовал он успокоить себя и вступил сам с собой в некий бессмысленный и бессловесный, но тем более волнующий, спор. Оделся и пошел в город, внимательно присматриваясь к людям интеллигентской внешности, уверенный, что они чувствуют себя так же расколото и смущенно, как сам он. Народа на улицах было много и много было рабочих, двигались люди неторопливо, вызывая двойственное впечатление праздности и ожидания каких-то событий.

«Жажда развлечений, привыкли к событиям», — определил Самгин. Говорили негромко и ничего не оставляя в памяти Самгина; говорили больше о том, что дорожает мясо, масло и прекратился подвоз дров. Казалось, что весь город выжидающе притих. Людей обдувал не сильный, но неприятно сыроватый ветер, в небе являлись голубые пятна, напоминая глаза, полуприкрытые мохнатыми ресницами. В общем было как-то слепо и скучно.

Потом наступил веселый день «конституции», тоже ветреный. Над городом низко опустилось и застыло оловянное небо, ветер хлопотливо причесывал крыши домов, дымя снегом, бросаясь под ноги людей. Но Москва вспыхнула радостью и как-то по-весеннему потеплела, люди заговорили громко, и колокольный звон под низким сводом неба звучал оглушительно. По улицам мчались раскормленные лошади в богатой упряжке, развозя солидных москвичей в бобровых шапках, женщин, закутанных в звериные меха, свинцовых генералов; город удивительно разбогател людьми, каких не видно было на улицах последнее время. Солидные эти люди, дождавшись праздника, вырвались из тепла каменных домов и едут, едут, благосклонно поглядывая на густые вереницы пешеходов, изредка и снисходительно кивая головами, дотрагиваясь до шапки.

Проехал, на лихаче, Стратонов, в дворянской, с красным околышем, фуражке, проехала Варвара с Ряхиным, он держал ее за талию и хохотал, кругло открыв рот. Мелькали знакомые лица профессоров, адвокатов, журналистов; шевеля усами, шел старик Гогин, с палкой в руке; встретился Редозубов в тяжелой шубе с енотовым воротником, воротник сердито ощетинился, а лицо Редозубова, туго надутое, показалось Самгину обиженным. В маленьких санках, едва помещаясь на сиденье, промчался бывший патрон Самгина, в мохнатой куньей шапке; черный жеребец, вскидывая передние ноги к свирепой морде своей, бил копытами мостовую, точно желая разрушить ее.

Самгин шел бездумно, бережно охраняя чувство удовлетворения, наполнявшее его, как вино стакан. Было уже синевато сумрачно, вспыхивали огни, толпы людей, густея, становились шумливей. Около Театральной площади из переулка вышла группа людей, человек двести, впереди ее — бородачи, одетые в однообразные поддевки; выступив на мостовую, они угрюмо, но стройно запели:

— «Бо-оже цар-ря...».

Публика на панелях приостановилась, чей-то голос удивленно и смешно спросил:

— Это — к чему?

И тотчас раздались голоса, ворчливые, сердитые, точно людям напомнили неприятное:

— Нашли время волынку тянуть!

— Дохлое дело!

— Эй, вы...

Двое студентов закричали в один голос:

— Долой самодержавие!

Но их немедленно притиснули к стене, и человек с длинными усами, остроглазый, весело, но убедительно заговорил:

— Не надо сердиться, господа! Народная поговорка «Долой самодержавие» сегодня сдана в архив, а «Боже царя храни», по силе свободы слова, приобрело такое же право на бытие, как, например, «Во лузях»...

Хоругвеносцы уже прошли, публика засмеялась, а длинноусый, обнажая кривые зубы, продолжал говорить все более весело и громко. Под впечатлением этой сцены Самгин вошел в зал Московской гостиницы.

В ярких огнях шумно ликовали подпившие люди. Хмельной и почти горячий воздух, наполненный вкусными запахами, в минуту согрел Клима и усилил его аппетит. Но свободных столов не было, фигуры женщин и мужчин наполняли зал, как шрифт измятую страницу газеты. Самгин уже хотел уйти, но к нему, точно на коньках, побежал белый официант и ласково пригласил:

— Пожалуйте, вас просят!

Недалеко от двери, направо у стены, сидел Владимир Лютов с Алиной. Лютов взорвался со стула и, протягивая руку, закричал:

— Шестнадцать лет не видались, садись! Ну, что, брат? Выжали маслице из царя, а?

— Не кричи, Володя, — посоветовала Алина, величественно протянув руку, со множеством сверкающих колец на пальцах, и вздохнула. — Ох, постарели мы, Климуша!

Тощий, юркий, с облысевшим черепом, с пятнистым лицом и дьявольской бородкой, Лютов был мало похож на купца, тогда как Алина, в платье жемчужного шелка, с изумрудами в ушах и брошью, похожей на орден, казалась типичной московской купчихой: розоволицая, пышногрудая, она была все так же ослепительно красива и завидно молода.

— Что пьешь-ешь? Заказывай! — покрикивал Лютов.

Алина властным жестом остановила его:

— Ты — молчи, потерянный человек, я уж знаю, кого чем кормить надо!

— Она — знает! — подмигнул Лютов и, широко размахнув руками рассыпался. — Радости-то сколько, а? На три Европы хватит! И ты погляди, — кто радуется?

Он перечислял несколько фамилий крупных промышленников, назвал трех князей, десяток именитых адвокатов, профессоров и заключил, не смеясь, а просто сказав:

— Хи-хи.

— Вот взял противную привычку хи-хи эти говорить, — пожаловалась Алина бархатным голосом.

— Не буду, Лина, не сердись! Нет, Самгин, ты почувствуй: ведь это владыки наши будут, а? Скомандуют: по местам! И все пойдет, как по маслу. Маслице, хи... Ах, милый, давно я тебя не видал! Седеешь? Теперь мы с тобой по одной тропе пойдем.

— По какой? — спросил Самгин.

Лютов попробовал сдвинуть глаза к переносью, но это, как всегда, не удалось ему. Тогда, проглотив рюмку желтой водки, он, не закусывая, облизал губы острым языком и снова рассыпался словами.

— Многие тут Симеонами богоприимцами чувствуют себя: «Ныне отпущаеши, владыко», от великих дел к маленьким, своим...

«Умная бестия», — подозрительно косясь на него, подумал Самгин и принялся за какую-то еду, шипевшую на сковородке.

— Сначала прими вот это, — строго сказала Алина, подвинув ему рюмку жидкости дегтярного цвета.

— Джин с пиконом, — объяснил Лютов. — Ну — чокнемся! Возрадуйся и возвеселись. Ух... Она, брат, эти штуки знает, как поп молитвы.

Самгин ожег себе рот и взглянул на Алину неодобрительно, но она уже смешивала другие водки. Лютов все исхищрялся в остроумии, мешая Климу и есть и слушать. Но и трудно было понять, о чем кричат люди, пьяненькие от вина и радости; из хаотической схватки голосов, смеха, звона посуды, стука вилок и ножей выделялись только междометия, обрывки фраз и упрямая попытка тенора продекламировать Беранже:

— «Слав-ва святому труду», — уже второй раз высоко взбрасывал он три слова.

Самгин ел что-то удивительно вкусное и чувствовал себя взрослым на празднике детей. Алина, вынув из сумочки синее письмо, углубленно читала его, подняв брови. Лютов осыпал словами румяного толстяка за соседним столом, толстяк заливисто смеялся, и шея его наливалась багровой кровью. Самгин, оглядываясь, видел бородатые и бритые, пухлые и костлявые лица мужчин, возбужденных счастьем жить, видел разрумяненные мордочки женщин, украшенных драгоценными камнями, точно иконы, все это было окутано голубоватым туманом, и в нем летали, подобно ангелам, белые лакеи, кланялись их аккуратно причесанные и лысые головы, светились почтительными улыбками потные физиономии.

— Она теперь поэтов кормит, — рассказывал Лютов, щупая бутылки и встречая на каждой пальцы Алины, которая мешала ему пить, советуя:

— Не торопись.

— Один — удивительный! Здоровеннейший парень, как ломовой извозчик. Стихи он делает, чорт его знает, какие, — но — ест! Пьет!

— Господа!

Бедность и труд
Честно живут...

— Какой надоедный визгун! — сказала Алина, рассматривая в зеркальце свой левый глаз. — И — врет! Не — честно, а вместе живут.

Она заботливо подливала Самгину водки, смешивая их; эта смесь, мягко обжигая рот, уже приятно кружила голову.

С дружбой, с любовью в ладу...

кричал тенор, преодолевая шум.

— Дурачок, — вздохнула Алина, размешивая палочкой зубочистки водку в рюмке. — А вот, Володька чем пьянее, тем умнее. Безжалостно умен, хамик!

— Химик? — спросил Лютов, усмехаясь.

— Нет, хамик. От ума и пропадет.

Нахмурясь и обведя зал прищуренными глазами, она вздохнула:

— Похоже на коробку конфет.

— Поэтов кормит, а стихов — не любит, — болтал Лютов, поддразнивая Алину. — Особенно не любит мои стишки...

— Просим! Про-осим! — заревели вдруг несколько человек, привстав со стульев, глядя в дальний угол зала.

Самгин чувствовал себя все более взрослым и трезвым среди хмельных ликующих людей, против Лютова, который точно крошился словами, гримасами, судорогами развинченного тела, вызывая у Клима желание, чтоб он совсем рассыпался в сор, в пыль, освободив измученный им стул, свалившись под него кучкой мелких обломков.

Шум в зале возрастал, как бы ища себе предела; десятки голосов кричали, выли:

— Просим! Милый... Просим... «Дубинушку»!

Лютов, покачиваясь на стуле, читал пронзительно, как дьячок:

Жила-была дама, было у нее два мужа,
Один — для тела, другой — для души.
И, вот, начинается драма: который хуже?
Понять она не умела, оба хороши.

— Это он сочинил про себя и про Макарова, — объяснила Алина, прекрасно улыбаясь, обмахивая платком разгоревшееся лицо; глаза ее блестели, но — не весело. Ее было жалко за то, что она так чудесно красива, а живет с уродом, с хамом.

— Неправда! — бесстыдно кричал урод. — Костя Макаров и я — мы оба для души, как чорт и ангел! А есть еще третий...

— Врешь, Володька!

— Знаю! В мечте, но — есть!

— Про-осим же! «Дубинушку-у»!

— Господа! Тише!

— Перестань, Володька, слышишь: Шаляпина просят «Дубинушку» петь, — строго сказала Алина.

— Пусть поет, я с ним не конкурирую.

Тишина устанавливалась с трудом, люди двигали стульями, звенели бокалы, стучали ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал:

— В 89-м году французская ар-ристократия, отказываясь от...

— К чорту аристократию!

Бородатый человек в золотых очках, стоя среди зала, размахивая салфеткой над своей головой, сказал, как брандмейстер на пожаре:

— Господа! Вас просят помолчать.

— А как же свобода слова? — крикнул некий остроумец.

Но все-таки становилось тише, только у буфета ехидно прозвучал костромской говорок:

— Да, от чего же ты, Митя, откажешься в пользу народа-то, ежели у тебя и нету ни зерна, кроме закладных на имение да идеек?

— Шш, тише!

Тут Самгин услыхал, что шум рассеялся, разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Углубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал все более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился, разломились стены, приподнялся пол и грянул единодушный разрушающий крик:

— Эх, дубинушка, ухнем!

— Чорт возьми, — сказал Лютов, подпрыгнув со стула и тоже завизжал: — Эй-и...

Самгина подбросило, поставило на ноги. Все стояли, глядя в угол, там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотни людей. Лютов, обняв Самгина за талию, прижимаясь к нему, вскинул голову, закрыв глаза, источая из выгнутого кадыка тончайший визг; Клим хорошо слышал низкий голос Алины и еще чей-то, старческий, дрожавший.

Снова стало тихо, певец запел следующий куплет; казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим, Самгина пошатывало, у него дрожали ноги, судорожно сжималось горло; он ясно видел вокруг себя напряженные, ожидающие лица, и ни одно из них не казалось ему пьяным, а из угла, от большого человека плыли над их головами гремящие слова:

На цар-ря, на господ!
Он поднимет с р-размаха дубину!

— Э-эх, — рявкнули голоса, — дубинушка — ухнем!

Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то еще не испытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах трагического царя Бориса, видел его безумным и страшным Олоферном, ужаснейшим царем Иваном Грозным, при въезде его во Псков, — маленькой кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей

криво на коне, над людьми, которые кланялись в ноги коню его; видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людьми, над жизнью; великолепно, поражающе изображал этот человек ужас безграничия власти. Видел его Самгин в концертах, во фраке, — фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с ее лицом умного мужика.

Теперь он видел Федора Шаляпина стоящим на столе, над людьми, точно монумент. На нем простой пиджак серо-каменного цвета, и внешне артист такой же обыкновенный, домашний человек, каковы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьявольски умный голос звучит с потрясающей силой, — таким Самгин еще никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму, страшное в том, что он так же прост, как все люди, и — не похож на людей. Его лицо — ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел и — вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души, и эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа.

«Вот — именно, разгримировался до полной обнаженности своей тайны, своего анархического существа. И отсюда, из его ненависти к власти — ужас, в котором он показывает царей».

Когда Самгин, все более застывая в жутком холоде, подумал это, — память тотчас воскресила вереницу забытых фигур: печника в деревне, грузчика сибирской пристани, казака, который сидел у моря, как за столом, и чудовищную фигуру кочегара у Троицкого моста в Петербурге. Самгин сел и, схватясь руками за голову, закрыл уши. Он видел, что Алина сверкающей рукой гладит его плечо, но не чувствовал ее прикосновения. В уши его все-таки вторгался шум и рев. Пронзительно кричал Лютов, топая ногами:

— Браво-о!

Он схватил руку Самгина, сдернул его со стула и закричал в лицо ему рыдающими звуками:

— Понимаешь? Самоубийцы! Сами себя отпеваем, — слышишь? Кто это может? Русь — может!

Его разнузданное лицо кошмарно кривилось, глаза неистово прыгали от страха или радости.

— Владимир, не скандаль! — густо и тоном приказания сказала Алина, дернув его за рукав. — На тебя смотрят... Сядь! Пей! Выпьем, Климушка, за его здоровье! Ох, как поет! — медленно проговорила она, закрыв глаза, качая головой. — Спеть бы так, один раз и... — Вздрогнув, она опрокинула рюмку в рот.

Самгин тоже выпил и тотчас протянул к ней пустую рюмку, говоря Лютову:

— Ты — прав! Ты... очень прав!

Его волновала жалость к этим людям, которые не знают или забыли, что есть тысячеглавые толпы, что они ходят по улицам Москвы и смотрят на все в ней глазами чужих. Приняв рюмку из руки Алины, он ей сказал:

— Это — пир на вулкане. Ты понимаешь, ты пьешь водку, как яд,— вижу...

— Напоила ты его, Лина, — сказал Лютов.

— Неправда! Я — совершенно трезв. Я, может быть, самый трезвый человек в России...

— Молчи, Климуша!

Она погладила его руку. До слез жалко было ему ее великолепное лицо, печальные и нежные глаза.

Ум смотрит тысячею глаз
Любовь — всегда одним...

сказал он ей.

Лютов захохотал; в зале снова кипел оглушающий шум, люди стонали, вопили:

— Повторить! Бис! Еще-о!

И неистощимый голос снова подавил весь шум:

Так иди же, вперед, мой великий народ...

— Ну, я больше не могу, — сказала Алина, толкнув Лютова к двери. — Какой... истязатель ужасный!

Лицо ее побледнело, размахивая сумочкой, задевая стулья, она шла сквозь обезумевших от восторга людей и, увлекая за собой Клима, командовала:

— Домой, Володька! И — кутить, Дуняшу позови...

— Я не хочу, — сказал Самгин, но она, сильно дернув его руку, скомандовала:

— Без дураков. Зовут — иди!

А вслед им великолепный голос выговаривал мстительно и сокрушающе:

На цар-ря, на господ,
Он поднимет...

На улице Самгин почувствовал себя пьяным. Дома прыгали, точно клавиши рояля; огни, сверкая слишком остро, как будто бежали друг за другом или пытались обогнать черненькие фигурки людей, шагавших во все стороны. В санях, рядом с ним, сидела Алина, теплая, точно кошка. Лютов куда-то исчез. Алина молчала, закрыв лицо муфтой.

Клим несколько отрезвел к тому времени, как приехали в незнакомый переулок, прошли темным двором к двухэтажному флигелю в глубине его, и Клим очутился в маленькой, теплой комнате, налитой мутно-розовым светом. Комната мягкая, душистая и немножко покачивается, точно колыбель ребенка. Алина пошла переодеваться, сказав, что сейчас пришлет «отрезвляющую штучку», явилась высокая горничная в накрахмаленном чепце и переднике, принесла Самгину большой бокал какого-то шипящего напитка, он выпил и почувствовал себя совсем хорошо, когда возвратилась Алина в белом платье, подпоясанном голубым шарфом с концами до пола.

— Туробоева видел?—спросила она, садясь на диван рядом с Климом.

— Нет. Разве он здесь?

— Да. Живет у Володьки. Он в газетах пишет, — можешь представить!

Она усмехалась, говоря. Та хмельная жалость к ней, которую почувствовал Самгин в гостинице, снова возникла у него, но теперь к жалости примешалась тихая печаль о чем-то. Он коротко рассказал, как вел себя Туробоев 9 января.

— Вот что! — воскликнула женщина удивленно или испуганно, прошла в угол к овальному зеркалу и оттуда, поправляя прическу, сказала как будто весело. — Боялся не того, что зарубит солдат, а что за еврея принял. Это — он! Ах... аристократишко!

— Что же, — старая любовь не ржавеет? — спросил Клим.

— Глупости, — ответила она, расхаживая по комнате, играя концами шарфа. — Ты вот что скажи, — я об этом Владимира спрашивала, но в нем семь чертей живут и каждый говорит по-своему. Ты скажи: революция будет?

— Надоел тебе шум? — улыбаясь, спросил Самгин.

— Ты отвечай.

Она стояла пред ним в дорогом платье, такая пышная, мощная, стояла, чуть наклонив лицо, и хорошие глаза ее смотрели строго, пытливо. Клим не успел ответить, в прихожей раздался голос Лютова. Алина обернулась туда, вошел Лютов, ведя за руку маленькую женщину с гладкими волосами рыжего цвета.

— Это — Дуняша, — сказал он, подводя ее к Самгину. — Евдокия, свет, Васильевна.

Поцеловав руку женщины, Самгин взглянул на Лютова, — никогда еще не слыхал он, да и представить себе не мог, что Лютов способен говорить так ласково и серьезно.

— А это — тоже адвокат, — прибавил Лютов, уходя в соседнюю комнату, где звякали чайные ложки и командовала Алина.

— Почему он сказал — тоже? — спросил Самгин.

— А у меня сожитель такой же масти,— по-деревенски, нараспев и необыкновенным каким-то голосом ответила женщина.— Вы — уголовный?

— Преступник? Политический.

— Вишь, какой... веселый! — одобрительно сказала женщина, и от ее подкрашенных губ ко глазам быстрыми морщинками взлетела улыбка. — Я знаю, что все адвокаты — политические преступники, я — о делах: по каким вы делам? Мой — по уголовным.

Лицо ее нарумянено, сквозь румяна проступают веснушки. Овальные, слишком большие глаза — неуловимого цвета и весело искрятся, нос задорно вздернут; она — тоненькая, а бюст — высокий и точно чужой. Одета она скромно, в гладкое платье голубоватой окраски. Клим нашел в ней что-то хитрое, лисье. Она тоже говорит о революции.

— Хорошее время, все немножко сошли с ума, никому ничего не жалко, торопятся пить, есть, веселиться...

Вошла Алина, держа в руке маленький поднос, на нем — три рюмки.

— Если ты, Дуняшка, напьешься и будешь скандалить, — уши нарву! Выпьем, освежимся, Климуша.

— Милая! — с ужасом вскричала Дуняша. — Это ты меня при незнакомом мужчине — так-то!

Выпив рюмку, она быстро побежала в прихожую, а Телепнева, взяв Самгина под руку, сказала ему не очень тихо:

— Замечательно талантливая бабенка, но — отчаянная...

Грубое слово прозвучало из ее уст удивительно просто, как ремесленное — модистка, прачка.

Пошли в соседнюю комнату, там, на большом красиво убранном столе, кипел серебряный самовар, у рояля, в углу, стояла Дуняша, перелистывая ноты, на спине ее висели концы мехового боа, и Самгин снова подумал о ее сходстве с лисой.

— Спой «Сад», пока свиньи не пришли, — попросила Алина.

Дуняша, не оглядываясь, сказала:

— Знаем, чем тебя подкупить.

Наполнив комнату тихим звоном струн, она густым и мягким голосом запела:

Уж ты, сад ли, мой сад,
Эх, сад зелененький, —
Да отчего же ты, мой сад
Осыпаешься?

Музыка вообще не очень восхищала Клима, а тут песня была пошленькая, голос Дуняши — не натурален, не женский, голос зверушки, которая сытно поела и мурлычет, вспоминая вкус пищи.

Эх, ты, молодость моя
Золотые деньки...

Странно было и даже смешно, что после угрожающей песни знаменитого певца Алина может слушать эту жалкую песенку так задумчиво, с таким светлым и грустным лицом. Тихонько, на цыпочках, явился Лютов, сел рядом и зашептал в ухо Самгина:

— Простая хористка, — какова, а? Голосок-то! За всех поет! Мы с Алиной дали ей средства учиться на большую певицу. Профессор — изумлен.

Самгин уже готов был признать, что Дуняша поет искусно, от ее голоса на душе становилось как-то особенно печально и хотелось говорить то самое, о чем он привык молчать. Но Дуняша, вдруг оборвав песню, ударила по клавишам и, взвизгнув по-цыгански, выкрикнула новым голосом:

Эх, Пашенька,
Да Парасковьюшка,
Счастливая Параня,
Талантливая!

— Угости чайком, хозяйка, — попросила она, подходя к столу.

— Высечь бы тебя, Дунька, — сказала Алина, вздохнув.

Пришел Макаров, в черном строгом костюме, стройный, седой, с нахмуренными бровями.

— Ба, Самгин! Как живешь? — скучно воскликнул он.

Вслед за ним явился толстый и страховидный поэт с растрепанными и давно немытыми волосами; узкобедрая девица в клетчатой шотландской юбке и красной кофточке, глубоко открывавшей грудь; синещекий, черноглазый адвокат-либерал, известный своей распутной жизнью, курчавый, точно баран, и носатый, как армянин; в полчаса набралось еще человек пять. Комната стала похожа на аквариум, в голубоватой мгле шумно плескались бесформенные люди, блестело и звенело стекло, из зеркала выглядывали странные лица. Лютов немедленно превратился в шута, запрыгал, завизжал, заговорил со всеми сразу; потом, собрав у рояля гостей и дергая пальцами свой кадык, гнусным голосом запел на мотив «Дубинушки», подражая интонации Шаляпина:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай презренной душою.
Верь: воскреснет Ваал и пожрет идеал...

Он взвизгнул и засмеялся, вызвав общий хохот; не смеялись двое: Алина и Макаров, который, нахмурясь, шептал ей что-то, она утвердительно кивала головой.

«Какая двусмысленная каналья», — думал Самгин, наблюдая Лютова.

Адвокат налил стакан вина, предложил выпить за конституцию,— Лютов закричал:

— С условием: не смотреть, что внутри игрушки!

Алина отказалась пить и, поманив за собой Дуняшу, вышла из комнаты; шла она, как ходила девушкой, — бережно и гордо несла красоту свою. Клим, глядя вслед ей, вздохнул.

Пили, должно быть, на старые дрожжи, все быстро опьянели. Самгин старался пить меньше, но тоже чувствовал себя охмелевшим. У рояля девица в клетчатой юбке ловко выколачивала бойкий мотивчик и пела по-французски; ей внушительно подпевал адвокат, взбивая свою шевелюру; кто-то хлопал ладонями, звенело стекло на столе и все вещи в комнате, каждая своим голосом, откликались на судорожное веселье людей.

«Веселятся, потому что им страшно», — соображал Самгин, а рядом с ним сидела Дуняша со стаканом шампанского в руке.

— Очень обожаю вот эдаких, сухоньких, — говорила она.

Поэт, встряхнув склеившимися прядями волос, выгнув грудь и выкатив глаза, громко спросил:

Черная рубаха,
Кожаный ремень —
Кто это?

Посмотрел на всех и гаркнул:

Р-рабочий!

— Нет, уж это вы отложите на вчера, — протестующе заговорил адвокат. — Эти ваши рабочие устроили в Петербурге какой-то парламент, да и здесь хотят того же. Если нам дорога конституция...

— Сорок три копейки за конституцию — кто больше? — крикнул Лютов, подбрасывая на ладони какие-то монеты; к нему подошла Алина и что-то сказала; отступив на шаг, Лютов развел руками, поклонился ей:

— Твоя власть. Твоя...

И, отступив еще на шаг, снова поклонился.

— Прошу извинить, — громко сказала Алина, — мне нужно уехать на час, опасно заболела подруга.

— А я предлагаю пожаловать ко мне — кто согласен? — завизжал Лютов.

Самгин решил отправиться домой, встал и пошатнулся, Дуняша поддержала его, воскликнув:

— Уже? Слабо!

Он неясно помнил, как очутился в доме Лютова, где пили кофе, сумасшедше плясали, пели, а потом он ушел спать, но не успел еще раздеться, явилась Дуняша с коньяком и сельтерской, потом он раздевал ее, обжигая пальцы о раскаленное, тающее тело. Он вспомнил это, когда, проснувшись, лежал в пуховой купеческой перине, вдавленный в нее отвратительной тяжестью своего тела. В комнате темно, как в погребе, в доме — непоколебимая тишина глубокой ночи. Это было странно — разошлись на рассвете. От пуховика исходил тошный запах прели, спину кололо что-то жесткое: это оказалась цепочка с металлическим квадратным предметом на ней. Самгин брезгливо поморщился и, сплюнув вязкую, горькую слюну, подумал, что день перелома русской истории он отпраздновал вполне по-русски.

Чувствуя, что уже не уснет, нащупал спички на столе, зажег свечу, взглянул на свои часы, но они остановились, а стрелки показывали десять тридцать две минуты. На разорванной цепочке оказался медный, с финифтью, образок Богоматери.

«Ужасные люди, — подумал он, вспоминая тяжелые удовольствия вчерашнего дня. — И я тоже... хорош!»

Широко открылась дверь, вошел Лютов с танцующей свечкой в руке, путаясь в распахнутом китайском халате; поставил свечку на комод, сел на ручку кресла, но покачнулся и, съехав на сиденье, матерно выругался.

— Содовой хочешь? Гриша, — содовой!..

Он сжал подбородок кулаком так, что красная рука его побелела, и хрипло заговорил, ловя глазами двуцветный язычок огня свечи.

— Что-то не ладно, брат, убили какого-то эс-дека, шишку какую-то, «Марата», что ли... Впрочем, «Марат» арестован. На улице — орут, постреливают.

— Теперь — вечер? — спросил Самгин.

— Ну, — а что же? Восьмой час... Кучер говорит: на Страстной телеграфные столбы спилили, проволока везде, нельзя ездить будто. — Он тряхнул головой. — Горох в башке! — Прокашлялся и продолжал более чистым голосом: — А, впрочем, — хи-хи. Это Дуняша научила меня — «хи-хи»; научила, а сама уж не говорит. — Взял со стола цепочку с образком, взвесил ее на ладони и сказал, не удивляясь: — А я думал — она с филологом спала. Ну, одевайся! Там — кофе.

У двери он остановился и, глядя на свечу, щелкая пальцами, сказал:

— Замечательно Туробоев рассказывал о попишке этом, о Гапошке. Сорвался поп, дурак, не по голосу ноту взял. Не тех поднял на ноги...

Дунул на свечу и, вылезая из двери, должно быть, разорвал халат,— точно зубы скрипнули, — треснул шелк подкладки.

Самгин вымылся, оделся и прошел в переднюю, намереваясь незаметно уйти домой, но его обогнал мальчик, открыл дверь на улицу и впустил Алину.

— Куда? Раздевайтесь! — крикнула она. — На улицах — пьяные, извозчиков — нет, я едва дошла; придираются, озорничают.

Странно было слышать, что она говорит, не сердясь, не испуганно, а как будто даже с радостью. Самгин покорно разделся, прошел в столовую, там бегал Лютов в пиджаке, надетом на ночную рубаху; за столом хозяйничала Дуняша и сидел гладкопричесанный мокроголовый молодой человек с желтым лицом, с порывистыми движениями; Лютов скрылся на зов Алины, радостно засияв. Молодой человек говорил что-то о Стендале, Овидие, голос у него был звонкий, но звучал обиженно, плоское лицо украшали жиденькие усы и такие же брови, но они одного цвета с кожей были, почти невидимы, и это делало молодого человека похожим на скопца.

— И все — не так, — сказала Дуняша, улыбаясь Самгину, наливая ему кофе. — Страстный — вспыхнул, да и погас. А настоящий любовник должен быть такой, чтоб можно повозиться с ним, разогревая его. И лирических не люблю, — что в них толку? Пенится, как мыло, вот и все...

Лютов ввел под руку Алину, она была одета в подобие сюртука, казалась выше ростом и тоньше, а он, рядом с нею, — подросток.

— Натаскали каких-то ящиков, досок,—оживленно рассказывала она.

Лютов кричал:

— Значит, конституция недоношенной родилась?

Преодолевая тяжкий хмель, сердясь на всех и на себя, Самгин спросил:

— Хотел бы я знать: во что ты веришь?

— Тайна сия велика есть! — откликнулся Лютов, чокаясь с Алиной коньяком, а, опрокинув рюмку в рот, сказал, подмигнув: — Однако полагаю, что мы с тобою — единоверцы: оба верим в нирвану телесного и душевного благополучия. И — за веру нашу ненавидим себя; знаем: благополучие — пошлость, Европа с Лютером, Кальвином, Библией и всем, что не по недугу нам.

— Врешь ты все, — вздохнув, сказал Самгин.

— А тебе бы на твой пятак — правду? На-ко вот!

Быстрым жестом он показал Самгину кукиш и снова стал наливать рюмки. Алина с Дуняшей и филологом сидели в углу на диване; филолог, дергаясь, рассказывал что-то, Алина смеялась, она была настроена необыкновенно весело и все прислушивалась, точно ожидая кого-то. А когда на улице прозвучал резкий хлопок, она крикнула:

— Слышите? Стреляют!

— Дверь, — сказал филолог.

Пришел Макаров и, потирая озябшие руки, неприлично спокойно рассказал, что вся Москва возмущена убийством агитатора.

— Его фамилия — Бауман. Гроб с телом его стоит в Техническом училище, и сегодня черная сотня пыталась выбросить гроб. Говорят, собралось тысячи три, но там была охрана, грузины какие-то. Стреляли. Есть убитые.

— Грузины? Доктор, ты врешь! — закричал Лютов.

Макаров равнодушно пожал плечами и, наливая себе кофе, обратился в сторону Алины:

— Туробоева я не нашел, но он — здесь, это мне сказал один журналист. Письмо Туробоеву он передаст.

Лютов, бегая по комнате, приглаживал встрепанные волосы и бормотал, кривя лицо:

— Война москвичей с грузинами из-за еврея? Хи-хи.

— Предупреждаю, — на улицах очень беспокойно, — говорил Макаров, прихлебывая кофе, говорил, как будто читая вслух неинтересную статью газеты.

— А мы и не пойдем никуда, — здесь тепло и сытно! — крикнула Дуняша. — Споем, Линочка, пока не умерли.

На этот раз Дуняша заставила Самгина подумать:

«Бабенка, действительно... поет».

Алина не пела, а только расстилала густой свой голос под слова Дуняшиной песни, наивные, коryявенькие слова. Раньше Самгин не считал нужным, да и не умел слушать слова этих сомнительно «народных» песен, но Дуняша выговаривала их с раздражающей ясностью:

Золот месяц улыбнулся в облаках,
Ой, усмехнулося мне горюшко мое...

Было досадно убедиться, что такая, в сущности, некрасивая маленькая женщина, грубо, точно дешевая кукла, раскрашенная, может заставить слушать ее насмешливо печальную песню, не нужную, как огонь, зажженный среди ясного дня.

То, что на улицах беспокойно, уничтожив намерение Самгина итти домой, несколько встревожило его, и, слушая пение, он соображал:

«Конечно, время до организации Государственной Думы будет суматошным, но это уже организационная суматоха».

Когда кончили петь, он сказал это вслух, но никто не обратил должного внимания на его слова; Макаров молча и меланхолически посмотрел на него, Лютов, закрывая своею изогнутой спиной фигуру Дуняши, чмокал ее руки и что-то бормотал; Алина, гладя ее рыжие волосы, вздыхала:

— Ах, Дунька, Дунька, — сколько в тебе таланта! Убить тебя мало, если ты истрепаешь его зря.

— Должны же люди устать, — с досадой и уже несколько задорно сказал Самгин Макарову, но этот выцветший, туманный человек снова не ответил, напевая тихонько мотив угасшей песни, а Лютов зашипел:

— Шш!

Обнявшись, Дуняша и Алина снова негромко запели, как бы беседуя между собою, а, когда они кончили, горничная объявила, что готов ужин. Ужинали тихо, пили мало, все о чем-то задумались, даже Лютов молчал, и после ужина тотчас разошлись по комнатам.

Лежа в постели, Самгин следил, как дым его папиросы сгущает сумрак комнаты, как цветет огонь свечи, и думал о том, что, конечно, Москва, Россия устали за эти годы социального террора, возглавляемого царем «карликовых людей», за десять лет студенческих волнений, рабочих демонстраций, крестьянских бунтов.

Устал и он, Клим Самгин, от всего, что видел, слышал, что читал, насилуя себя для того, чтоб не порвались какие-то словесные нити, которые связывали его и тянули к людям определенной «системы фраз». Да, он тоже устал, и теперь ему казалось, что устал он как-то возвышенно, символически, что ли; что он несет в себе долголетнюю усталость не только свою, но вековую усталость всех жертв русской истории, всех, кто насильственно прикован к ее «каторжной тачке». И вот наступил канун отдыха, действительное «начало конца».

Но минутами его уверенность в конце тревожных событий исчезала, как луна в облаках, он вспоминал «господ», которые с восторгом поднимали «Дубинушку» над своими головами; явилась мысль, кого могут послать в Государственную Думу булочники, метавшие с крыши кирпичи в казаков, этот рабочий народ, вывалившийся на улицы Москвы и никем не руководимый, крестьяне, разрушающие помещичьи хозяйства?

Совет Рабочих Депутатов не может явиться чем-то серьезным, нельзя представить, какую роль может играть эта нигде, никем, никогда не испробованная организация...

На этом месте он задремал, рано утром его разбудила Дуняша, он охотно и снисходительно поиграл ее удобным и приятным телом, а через час оделся и ушел домой.

День похорон Баумана позволил Самгину окончательно и твердо убедиться, что Москва действительно устала. Он почувствовал это тотчас же, как только вышел на улицу под руку с женой, сопровождаемой Брагиным и Кумовым. Вышел он в настроении человека, обязанного участвовать в деле, смысл которого ему неясен. По дороге навстречу про-

цессии он видел, что почти каждый дом выпускает из ворот, из дверей свое содержимое настроенным так же, как он — сумрачно, даже как бы обиженно. Можно было подумать, что люди — недовольны и молча протестуют против того, что, вот, снова надобно куда-то итти. Из этих разнообразных единиц необыкновенно быстро образовалась густейшая масса, и Самгин, не впервые участвуя в трагических парадах, первый раз ощутил себя вполне согласованным, внутренне спаянным с человеческой массой этого дня.

Когда вдалеке, из пасти какой-то улицы, на Театральную площадь выползла красная голова небывало и неестественно плотного тела процессии, он почувствовал, что по всей коже его спины пробежала холодноватая дрожь; он не понимал, что вызвало ее: испуг или восхищение? Над головою толпы колебалось множество красных флагов, — это было похоже на огромный зонт, изломанный, изорванный ветром. Но чем дальше на площадь выползал черный Левиафан, тем более было флагов, и теперь они уже напоминали красную чешую на спине чудовища. В этой массе было нечто необыкновенное для толпы людей; все вокруг Самгина поняли это и подавленно притихли. Тогда, в тишине, он услыхал, что чудовище ползет молча; наполняя воздух неестественным шорохом, оно — безгласно, только издали, из глубины его существа, слабо доносится знакомый, торжественно-угрюмый мотив похоронного марша:

— «Вы жертвою пали...».

Самгин чувствовал, что рука жены дрожит, эта дрожь передается ему, мешает сердцу биться и, подкатываясь к горлу судорогой, затрудняет дыхание.

«Жертвы, да! — разорванно думал он, сняв шляпу. — Исааки... — думал он, вспоминая наивное поучение отца. — Последняя жертва!»

Мигая, чтоб согнать с глаз теплые слезы, мешавшие видеть, он вертел головой, оглядывался. Никогда еще не видал он столь разнообразных и так одинаково торжественно настроенных лиц.

«На Выборгской стороне? — сравнивал Клим Самгин, торопясь определить настроение свое и толпы. — Там была торжественность, конечно, другого тона, там ведь не хоронили, а, можно сказать: хотели воскресить царя...»

Мешали думать маленькие, тихие глупости спутников.

— И это хоронят еврея! — изумленно, вполголоса говорила Варвара.

— Христос, — сказал Кумов, а Брагин немедленно осведомил его:

— Существует мнение, что Христос не был евреем.

В тишине эти недоумевающие шопоты были слышны очень ясно, хотя странный шлифующий шорох, приближаясь, становился все гуще. Самгин напряженно присматривался. Мелькали, — и нередко, — лица, нахмуренные угрюмо, даже грозно, и почти незаметны были физиономии профессиональных зрителей, — людей, которые одинаково равнодушно смотрят на свадьбы, похороны, на парады войск и на арестантов, отправляемых в Сибирь. В конце концов Самгину показалось, что преобладает

почти молитвенное и благодарное настроение сосредоточенности на каком-то одном, глубоком чувстве. Невозможно было бы представить, что десятки тысяч людей могут молчать так торжественно, а они молчали, и вздохи, шопоты их стирались шлифующим звуком шагов по камню мостовой.

«Именно так: здесь молча и торжественно благодарят человека за то, что он умер»...

Юмористическая форма этой догадки смутила его, он даже покосился на Варвару, точно опасаясь, не услышала бы она, как думает он.

«Благодарят борца за то, что он жил, за его подвиг, за жертву».

Переодев свою мысль более прилично, Самгин снова почувствовал приток торжественного настроения, наполнился тишиной, которая расширяла и возвышала его.

В ритм тяжелому и слитному движению неисчислимой толпы величаво колебался похоронный марш, сотни людей пели его, пели нестройно, и как будто все время повторялись одни и те же слова:

— «Вы жертвою пали...».

Но Клим Самгин чувствовал внутреннюю стройность и согласованность в этом чудовищно-огромном хоре, согласованность, которая делала незаметной отсутствие духовенства, колокольного звона и всего, что обычно украшает похороны человека.

«Здесь все это было бы лишним, даже — фальшивым, — решил он. — Никакая иная толпа, ни при каких иных условиях не могла бы создать вот этого молчания и вместе с ним такого звука, который все зачеркивает, стирает, шлифует все шероховатости».

Здесь — все другое, все фантастически изменилось, даже тесные улицы стали неузнаваемы, и непонятно было, как могут они вмещать это мощное тело бесконечной, густейшей толпы? Несмотря на холод октябрьского дня, на злые прыжки ветра с крыш домов, которые как будто сделались ниже, меньше, — кое-где форточки, даже окна были открыты, из них вырывались, трепетали над толпой красные куски материи.

Пышно украшенный цветами, зеленью, лентами, осененный красным знаменем гроб несли на плечах, и казалось, что несут его люди неестественно высокого роста. За гробом вели под руку черноволосую женщину, она тоже была обвязана, крест-на-крест, красными лентами; на черной ее одежде ленты выделялись резко, освещая бледное лицо, густые нахмуренные брови.

— Медведева, его гражданская жена, — осведомил Брагин и — крякнул.

За нею, наклоня голову, сгорбясь, шел Поярков, рядом с ним, размахивая шляпой, пел и дирижировал Алексей Гогин; под руку с каким-то задумчивым блондином прошел Петр Усов, оба они в полушубках овчинных; мелькнуло красное, всегда веселое лицо эс-дека Рожкова, рядом с бородатым лицом Кутузова: эти — не пели, а, очевидно, спорили, судя по тому, как размахивал руками Рожков; следом за Кутузовым шла Любаша Сомова с Гогиной; шли еще какие-то безымянные, но знакомые Самгину мужчины, женщины.

«Человек полтораста, двести, — не больше», — удовлетворенно сосчитал Самгин.

Пели именно эти люди, и в шорохе десятков тысяч ног пение звучало слабо.

Эту группу, вместе с гробом впереди ее, окружала цепь студентов и рабочих, державших друг друга за руки, у многих в руках — револьверы. Одно из крепких звеньев цепи — Дунаев, другое — рабочий Петр Заломов, которого Самгин встречал и о котором говорили, что им была организована защита университета, осажденного полицией.

Тысячами шли рабочие, ремесленники, мужчины и женщины, осанистые люди в дорогих шубах, щеголеватые адвокаты, интеллигенты в легких пальто, студенчество, курсистки, гимназисты, прошла тесная группа почтово-телеграфных чиновников и даже небольшая кучка офицеров. Самгин чувствовал, что каждая из этих единиц несет в себе одну и ту же мысль, одно и то же слово, меткое словцо, которое всегда во всякой толпе совершенно точно определяет ее настроение. Он упорно ждал этого слова, и оно было сказано. Оно было ответом на вопрос толстой краснорожей бабы, высунувшейся из двери какой-то лавочки; изумленно выкатив кругленькие синие глазки, она громко спросила:

— Батюшки, да — кого ж это хоронят?

— Революцию, тетка, — спокойно и громко ответили ей.

— Ой, — смешливо крикнула Варвара, как будто ее пощекотали, а Брагин осведомленно пробормотал:

— Надо было сказать: анархию, погромы.

Клим Самгин замедлил шаг, оглянулся, желая видеть лицо человека, сказавшего за его спиною нужное слово; вплоть к нему шли двое: коренастый, плохо одетый старик с окладистой бородой и угрюмым взглядом воспаленных глаз, и человек лет тридцати, небритый, черноусый, с большим носом и веселыми глазами, тоже бедно одетый, в замазанном черном полушубке, в сибирской папахе.

«Этот!» — догадался Клим Самгин.

Для него это слово было решающим, оно до конца объясняло торжественность, с которой Москва выпустила из домов своих людей всех сословий хоронить убитого революционера.

«Как это глубоко, исчерпывающе сказано: революцию хоронят! — думал он с благодарностью неведомому остроумцу. — Да, несут в могилу прошлое, изжитое. Это изумительное шествие — апофеоз общественного движения. И этот шлифующий шорох — не механическая работа ног, а разумнейшая работа истории».

Он решил написать статью, которая бы вскрыла символический смысл этих похорон. Нужно рассказать, что в лице убитого незначительного человека Москва, Россия снова хоронит всех, кто пожертвовал жизнь свою борьбе за свободу в каторге, в тюрьмах, в ссылке, в эмиграции. Да, хоронили Герцена, Бакунина, Петрашевского, людей 1 марта и тысячи людей, убитых 9 января.

«Писать надобно, разумеется, в тоне пафоса. Жалко, то есть неудобно несколько, что убитый — еврей, — вздохнул Самгин. — Хотя, некоторые утверждают, что — русский»...

Шествие замялось. Вокруг гроба вскипело не быстрое, но вихревое движение, и гроб — бесформенная масса красных лент, венков, цветов — как будто поднялся выше, можно было вообразить, что его держат не на плечах, а на руках, взброшенных к небу. Со двора консерватории вышел ее оркестр, и в серый воздух, под низкое, серое небо мощно влилась величественная музыка марша «На смерть героя».

— Боже мой, как великолепно, — вздохнула Варвара, прижимаясь к Самгину, и ему показалось, что вместе с нею вздохнули тысячи людей. Рядом с ним оказался вспотевший, сияющий Ряхин.

— Какой день, а? — говорил он, толстые лиловые губы его дрожали, он заглядывал в лицо Клима растерянно вспыхивающими глазами и захлебывался: — Ка-акое... великодушие! Нет, вы оцените, какое великодушие, а? Вы подумайте, Москва, вся Москва...

— Н-да, чудим, — сказал Стратонов, глядя в лицо Варвары, как на циферблат часов. — Представь меня, Максим, — приказал он, подняв над головой бобровую шапку, и как-то глупо, точно угрожая, заявил Варваре: — Я знаком с вашим мужем.

— Он здесь, — сказала Варвара, но Самгин уже спрятался за чью-то широкую спину, ему не хотелось говорить с этими людьми, да и ни с кем не хотелось, в нем все пышнее расцветали свои, необыкновенно торжественные, звучные слова.

— Тише, господа, — строго крикнул кто-то на Ряхина и Стратонова.

Брагин пробивался вперед, Кумов давно уже исчез, толпа все шла, и в минуту Самгин очутился далеко от жены. Впереди его шагали двое: один — коренастый, тяжелый, другой — тощенький, вертлявый, он спотыкался и скороговоркой возбужденным тенорком внушал:

— Ты, Валентин, напиши это, ты, брат, напиши: черненькое-красненькое, ого-го! Понимаешь? Красненькое-черненькое, а?

Самгин все замедлял шаг, рассчитывая, что густой поток людей обтечет его и освободит, но люди все шли, бесконечно шли, поталкивая его вперед. Его уже ничто не удерживало в толпе, ничто не интересовало; изредка все еще мелькали знакомые лица, не вызывая никаких впечатлений, никаких мыслей. Вот прошла Алина под руку с Макаровым, Дуняша с Лютовым, синещекий адвокат. Мелькнуло еще знакомое лицо, кажется, Туробоев и с ним один из модных писателей, красивый брюнет.

— Клим Иванович! — радостно и боязливо воскликнул Митрофанов, схватив его за рукав. — Здравствуйте! Вот в каком случае встретились! Господи, боже мой...

— А, вы тоже? — сказал Самгин, скрывая равнодушие, досадуя на эту встречу. — Давно здесь?

— Месяца два. Ф-фу, до чего я рад...

— Что же не зашли ко мне?

Митрофанов громко, с сожалением, чмокнул и, не ответив, продолжал:

— Как же, Клим Иванович? Значит, допущено соединение всех сословий в общих правах? Тогда — разрешите поздравить с увенчанием трудов, так сказать...

Он был давно не брит, щетинистые скулы его играли, точно он жевал что-то, усы — шевелились, был он как бы в сильном хмеле, дышал горячо, но вином от него не пахло. От его радости Самгину стало неловко, даже смешно, но искренность радости этой была все-таки приятна.

— Вот как, — разбрызгивали, разбрасывали нас кого куда и — вот, соединяйтесь! Замечательно! Ну, знаете, и плотно же соединились! — говорил Митрофанов, толкая его плечом, бедром.

У Никитских ворот шествие тоже приостановилось, люди сжались еще теснее, издали, спереди по толпе пробежал тревожный говорок:

— Эй, товарищи, вперед!

Это командовал какой-то чумазый, золотоволосый человек, бесцеремонно расталкивая людей; за ним, расщепляя толпу точно клином, быстро пошли студенты, рабочие, и, — как будто это они толчками своими восстановили движение, — толпа снова двинулась, пение зазвучало стройней и более грозно. Люди вокруг Самгина отодвинулись друг от друга, стало свободнее, шорох шествия уже потерял свою густоту, которая так легко вычеркивала голоса людей.

— Должно быть, схулиганил кто-нибудь, — виновато сказал Митрофанов. — А, может, захворал! Нет, — тихонько ответил он на осторожный вопрос Самгина, — прежним делом не занимаюсь. Знаете, — пред лицом свободы как-то уж недостойно мелких жуликов ловить. Праздник, и все лишнее забыть хочется, как в прощеное воскресенье. Притом я попал в подозрение благонадежности, меня, конечно, признали недопустимым...

Пение удалялось, пятна флагов темнели, ветер нагнетал на людей острый холодок; в толпе образовались боковые движения направо, налево; люди, уже видимо, не могли целиком влезть в узкое горло улицы, а сзади на них все еще давила неисчерпаемая масса, в сумраке она стала одноцветно черной, еще плотнее, но теряла свою реальность, и можно было думать, что это она дышит холодным ветром. Самгина незаметно оттеснило налево, к Арбату; но это было как раз то, чего он хотел. Тут голос Митрофанова, очень тихий, стал слышнее:

— Всякий понимает, что лучше быть извозчиком, а не лошадью, — торопливо истекал он словами, прижимаясь к Самгину. — Но зачем же на оружие деньги собирать, вот — не понимаю! С кем воевать, если разрешено соединение всех сословий?

— Ну, это несерьезно, — сказал Самгин с досадой: Иван Петрович уже сильно надоел ему.

— Нет? Так — зачем?

— На случай нападения черной сотни...

— Ах, да! Нда... конечно! Вот как... А — кто ж это собирает? Социалисты-революционеры или демократы?



— Не знаю. Мне сюда, Иван Петрович...

Митрофанов схватил его руку обеими руками, крепко сжал ее и, несколько раз встряхнув, сказал не своим голосом:

— Дело — прошлое, Клим Иванович, а — был, да, может, и есть около вас двуязычный человек, переломил он мне карьеру...

— Вы — ошибаетесь, — строго ответил Самгин.

— Прощайте, — сказал Митрофанов, поспешно отходя прочь, но, сделав три-четыре шага, обернулся и крикнул: — Был!

В ответ на этот плачевный крик Самгин пожал плечами, глядя вслед потемневшей, как все люди в этот час, фигуре бывшего агента полиции. Неприятная сценка с Митрофановым, скользнув по настроению, не поколебала его. Холодный сумрак быстро разгонял людей, они шли во все стороны, наполняя воздух шумом своих голосов, и по веселым голосам ясно было: люди довольны тем, что исполнили свой долг.

Самгин шел тихо, перебирая в памяти возможные возражения всех «систем фраз» против его будущей статьи. Возражения быстро испарялись, как испаряются первые капли дождя в дорожной пыли, нагретой жарким солнцем. Память услужливо подсказывала удачные слова, они легко и красиво оформляли интереснейшие мысли. Он чувствовал себя совершенно свободным от всех страхов и тревог.

«Да — был ли мальчик-то?» — мысленно усмехнулся он.

Сквозь толпу, уже разреженную, он снова перешел площадь у Никитских ворот и, шагая по бульвару в одном направлении со множеством людей, обогнал Лютова, не заметив его. Он его узнал, когда этот беспокойный человек подскочил и крикнул в ухо ему:

— Хи-хи! А я иду с Дуняшей и говорю ей...

Самгин отшатнулся, чувствуя, зная, что Лютов сейчас начнет источать свои отвратительные двусмысленности. Да, да, — он уже готов сказать что-то дрянненькое, — это видно по сладостной судороге его разнузданного лица. И, предупреждая Лютова, он заговорил сам, быстро, раздраженно, с иронией:

— Ну, теперь, надеюсь, ты бросишь играть роль какого-то неудачного беса. Плохая роль. И — пошлая, извини! Для такого закоренелого мещанина, как ты, нигилизм не маска...

Он чувствовал себя в силе сказать много резкостей, но Лютов поднял руку, как для удара, поправил шапку, тихонько толкнул кулаком другой руки в бок Самгина и отступил назад, сказав еще раз вопросительно:

— Хи-хи?

Самгин, не оглянувшись, быстро пошел дальше, опасаясь третий раз поймать это отвратительное:

— Хи-хи.

Земля на руках.

(Рассказ).

Бор. Пильняк.

Летом, в начале июня, в провинциальных русских городах надо с утра открывать окна, чтобы по комнатам бродил воздух, гонимый июньским тихим ветром. В комнатах тогда прохлада и зеленый свет от лип и кленов старого сада. Дикий виноградник террасы зеленью своею прячет золото дня. В такие дни человек дружен с землею.

И было такое утро, когда муж сидел за письменным столом, около открытого окна, в дальнем от двери на террасу углу, за бумагами и мыслями, — а жена в золоте утра рылась в саду около цветочных грядок в кустах сирени. Жена заходила иной раз на террасу, в косынке, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замарать платья. Очень, очень редкое счастье — быть в дружбе с землею. Очень, очень редкое счастье — счастье супружества, любовь, доверие и верность: это счастье было в этом доме доверия, дружбы, любви, соработы. Это счастье может быть только у благородных по мыслям и помыслам людей, — и эти люди были достойными, простыми, работными людьми, он — социолог-писатель, она — художница, — люди, встретившие друг друга, когда ему перевалило за тридцать пять и ей — за тридцать. Есть сладостный отдых, утомляющий мышцы, — рыться в земле, рассаживать табаки и резеду по грядкам и тащить из грядок всякие сорняки, чудесно знать, склонившись над землей, что здесь, в этой земле, возрастет тобою посаженное. И муж, прежде чем сесть к книгам, рылся около жены на грядках. С книгами от письменного стола пришли привычные мысли, цифры, сопоставления, цитаты, несогласие, формулы, — пришел подлинный труд, те часы, когда у ученых, как у художников, глаза становятся совершенно рассеянными, невидящими и совершенно безразличными к миру, вне книг лежащему.

В этом безразличии муж слышал, как через незапертую калитку во двор вошел незнакомый человек, кажется, в широкополой шляпе, кажется, с чемоданчиком. Пришедший сказал через окно, что ему надо видеть Анну Андреевну. Муж ответил, что она в саду, не поднимая головы от бумаг. В этом безразличии он не замечал, через сколько минут жена вошла через террасу в комнату, с руками, замазанными землей, в сторону,

в сопровождении незнакомца. Лица жены он не помнил. Незнакомец поклонился. Незнакомец сказал:

— Разрешите, я хотел бы еще несколько минут остаться наедине с Анной.

Сказала Анна:

— Да, мы пройдем с Сергеем ко мне в комнату, Павел.

Муж опять не видел лица жены. И опять прошли какие-то минуты, когда глаза безразличны для мира и когда мир укладывается в книги. Анна вышла из своей комнаты. Павел поднял пустые глаза, — и он увидел, что руки жены, попрежнему измазанные землей, беспомощно заломлены, а глаза ее полны слез беспомощности. Мир вещей вернулся к Павлу.

И тогда заговорил незнакомец. Анна стояла спиной к ним обоим, в дверях террасы, — золото дня, кроме виноградника, обрезывалось ее плечами.

— Павел Андреевич, — сказал незнакомец и долго молчал. — Павел Андреевич, мы оба — не воры. Мною движут человеческие, достойные чувства. — Он помолчал, чтобы собрать мысли в точные фразы. — Тринадцать лет я не видел Анны,— и все эти тринадцать лет я мечтал и думал о ней. Вы знаете, мы расстались с ней в Париже, когда я русским солдатом пошел на французский фронт. Вы знаете, ее молодость прошла со мною, — и вы знаете, что ни она, ни вы не можете ни в чем упрекнуть ее. Земной шар пока еще достаточно велик, чтобы можно было заблудиться в нем. Я пришел к Анне, когда за вами уже восемь лет супружества. Мы уже очень взрослые люди. Я не знаю, что мне предложить вам. Что скажете вы, Павел Андреевич? Я не знал, что Анна замужем.

Перед Павлом стоял человек, память которого была свята в их супружестве, первый муж Анны, достойный человек, — стоял старик, седоволосый художник, некогда учивший искусству живописи и достоинству жизни девушку Анну. Глаза этого старика были добры, они любяще и непонимающе смотрели на Павла, — они не могли смотреть иначе, — потому что в комнате была женщина, любимая, единственная, и потому, что этот человек навсегда был добр. Павел вспомнил, что он так же сед, преждевременно поседевший за годы русских бурь, и так же добры, бессильны его глаза, природою сданные в доброту. Друг перед другом были два человека, очень похожие друг на друга, — не даром и того, и другого любила Анна. У Павла память рассказов Анны о Сергее, о молодом и чудесном художнике, о человеке солнечной строгости и ясности его сердца, — память рассказов путалась этим добрым стариком, смотревшим любящими и усталыми глазами. Человек этот вернулся из смерти. И Павел сказал растерянно:

— Как вы изменились, Сергей... Сергей Иванович!

Оба мужчины улыбнулись друг другу очень растерянно. Павел протянул руку. И, сжав руку, задержав руку, — позвонком, нервною дрожью в плечах около лопаток он ощутил — себя, Анну и этого пришедшего. Анна любила в своей жизни только их двоих, чистая женщина. Анна

чтила память Сергея, как чтил и он, Павел, эту память о человеке, любившем его жену, о котором у Анны хранилась бумажка пехотного французского полка, удостоверяющая, что русский художник, рядовой этого полка, Сергей Иванович Лавренев погиб в бою под Верденом. Самое тайное и самое святое, — особенно тайная и особенно святая, когда она чтится, — любовь, — она была между ними троими. Первая любовь жены была отдана Сергею, — последняя любовь была взята Павлом. Павел чтил память Сергея, — он вспомнил, что в чувствах бережливости к жене, — никогда за годы их любви, ни разу не спрашивал он о чувствах жены к Сергею и никогда не сопоставлял себя и его, оберегая его память. Павел держал руку Сергея. Жена! — и позвонком, дрожью в плечах Павел почувствовал, что от этой минуты он не может даже в мыслях называть Анну — женой, ибо на самом деле он — не вор, как сказал Сергей.

Он долго держал руку Сергея. Глаза Сергея были неподвижны. И Павел сказал:

— Да, Сергей, конечно, я не вор.

Анна повернулась к ним. Анна подошла к ним. Ее руки окаменели, откинутые от бедер. Глаза ее были полны слез. Сергей протянул к ней руки, ладонями вверх, — глаза Анны упали, — Павел понял, что это привычный жест Сергея, который Анна знала раньше. И он опустил глаза, как опускают люди глаза в стыдливости, чтобы не видеть того, что не надо видеть. Анна поняла опущенные глаза Павла, — и руки ее потянулись к Павлу. Павел этого не видел. Анна осталась с протянутыми руками.

— Я пойду вымою руки! — крикнула Анна.

— Пойди, — сказал Павел.

— Анна, Павел Андреевич, — заговорил Сергей, и губы его дрогнули физической болью, — Анна, милая, Аннушка, — если ты велишь, я сейчас же уйду, опять навсегда, Аннушка!.. Да, я очень постарел, Павел Андреевич, очень постарел.

Анна села в бессилии на стул около стола, забыв о руках.

— Нет, что вы, что вы, — заговорил Павел. — Анна так много, так чудесно всегда рассказывала о вас, у нас есть ваши фотографии, и мне показалось, что... ваш образ, который я создал... что вы, что вы, Сережа! — Павел назвал Сергея так, как он и Анна называли его, вспоминая о нем. — Нет, подождите, Сережа. Вы изменились только по сравнению с фотографиями!

Руки Анны, замазанные землей, потянулись к Павлу точно тем же жестом, каким только что протягивал к Анне руки Сергей, — этот жест — Павел понял — Анна взяла у Сергея. Павел обе свои руки протянул к рукам Анны и поцеловал землю на руках Анны, черную, сырую землю поцеловал всею нежностью, какая была у него к этой женщине. Он стряхнул землю с губ. Он сказал сам себе:

— Да, да, — земля — родительница! — Нет, Аннушка (он поймал себя на том, что назвал Анну именем, данным ей Сергеем), — нет, Анна, я не вор. Я понял сейчас, что я не могу тебя назвать женою так же, как

и Сережа, наверное, — до тех пор, пока ты не назовешь меня своим мужем. — Павел еще раз стер землю с губ. — Как странно сдвигается время. Вот мы трое, как это сказать? — самое чудесное, что было в моей жизни, — вы это знали раньше меня, Сережа, — а я узнал то, что было священным для вас, что было вашею единственной тайной. Я не нахожу слов.

Анна поднялась со стула. Она стояла секунду неподвижно. Силы покинули ее волю. Шея ее задрожала тетивою, втягивая голову в плечи. Она пошла к Сергею, она обняла Сергея. Павел, как и Сергей, понимал: когда Анна протягивала руки Павлу, она защищала Сергея, — когда она шла к Сергею, она защищала Павла. И Анна заговорила, втянув голову в плечи, положив голову на грудь Сергея:

— Мне страшно, Сережа, — мне страшно, Павел. Как я ждала тебя, Сережа, — тогда, когда ты ушел на фронт, как убивалась я, когда получила в России весть о твоей смерти! — ты знаешь, как я любила тебя. Ты приехал, — как я рада. Нет, это не те слова, — ты вернулся, а не приехал, — ты — вернулся, — и я — люблю тебя. Но я же — люблю Павла, у меня есть сын, у нас есть сын, единственный мой сын, и больше у меня не будет детей. Мне очень страшно. Я ничего не знаю. Павел, слышишь? — я ничего не знаю.

Павел подошел к Анне, обнял Анну и Сергея, прислонил голову к плечу Анны.

— Аннушка, — сказал Павел, опять назвал Анну словом Сергея и не поправился, — Аннушка, любимая, — ты знаешь, любимая, — ты знаешь, что я, как Сережа, только счастья, только счастья мы хотим тебе, — ты знаешь, — мы ждем, что скажешь ты.

Павел потерял слова в великой, прекрасной, благостной любви к Анне, в благодарности человечеству за человеческое, за человечное, создавшее Анну. Он замолчал, склонив голову. Вселенная — всем своим благородством и горечью — билась в его сердце. Он хотел взглянуть в лицо Анны, — и он не сразу разобрал ее черт: в комнате было темно, день померк за окнами. Та рассеянность безразличия ко времени, которая приходила к Павлу в часы его труда, — приходила к ним троим в этот час, когда трое они стояли, обнявшись, остановив время. Был белесый мрак белой июньской русской ночи. Земля сняла свое золото. В комнате пахло левкоями. В саду пела малиновка. Лицо Анны, с закрытыми глазами, было бессильно и счастливо. Ее руки, замазанные землей, беспомощно висели за плечами Сергея так, чтобы не замарать пиджака.

— Уже ночь, — удивленно сказал Павел. — Аннушка, пойди вымой руки, они у тебя в земле.

Павел взял руку Анны, Павел нежно поцеловал землю на руке Анны. Лицо Анны было счастливо. Анна пошла к двери в свою комнату, чтобы отмыть руки от земли. Окна в комнатах были открыты, и по дому бродил вечерний зеленый воздух. В такие часы человек дружен с землею.

Огненная лапа.

(Роман).

(Продолжение).

Хаджи-Мурат Мугуев.

5.

Нас посетила маленькая беда. Внезапно заболел князь и, весь желтый, несмотря на ужасную жару, лежал закутанный в плед и одеяло, обливаясь холодным потом. Судя по всем признакам, у него началась тропическая лихорадка. Сегодня по Реомюру 54 градуса в тени. Воздух как будто застыл. Нет ни облачка; в течение целого дня ни разу не набежал от реки ветерок. Караваны с фиником, шелком и сырыми коконами, идущие на Моххамеру, остановились в Сади-Кянте, выжидая ночи, чтобы продолжать путь. Несмотря на дневной нестерпимый жар, ночи здесь холодные настолько, что арабы кутаются в свои бурнусы, а мы покрываемся шинелями. Изредка, в такие холодные после зноя ночи, лопаются от резкой смены температуры скалы и затем медленно умирают, осыпаясь под ударами ветров пустыни.

Ко всем прелестям сегодняшней жары прибавилась еще одна: налетела туча мошкары, которая удивительно больно жалит кожу, и только спасительный полог может предохранить ваш сон и ночной покой от них. Ужин по случаю болезни князя прошел вяло. Было скучно и пусто. Дам не было вовсе, а мой сожитель-француз заскучал и был не в духе. К концу ужина пришли лейтенант и Слепцов. Это первый выход Гильдебрандта после того памятного дня.

Обменявшись поклонами, мы принялись за еду.

После ужина, идя домой, Вильбуа недовольно пробурчал:

— Еще два таких вечера, и экспедиция наша будет закончена.

Я ничего не ответил на это, хотя в душе почувствовал легкий испуг. Как-никак, но их приезд оживил нашу скучную жизнь в Сади-Кянте и внес интерес в мой личный мирок. Голубые глаза княгини встали передо мной. Мы дошли до дому. Вильбуа вошел, за ним последовал было и я, как неожиданно увидел Дерибабу, делавшего мне из-за спины француза

какие-то таинственные знаки. Я вышел во двор. Кубанец, делая важное и многозначительное лицо, наклонился ко мне и шопотом произнес:

— Квиток вам, пысьмо, — и, отвернув рукав гимнастерки, осторожно извлек из-за обшлага маленький, слегка измятый конверт.

Я вскрыл его. Письмо было от княгини. Я вошел в конюшню напротив. Дерибаба зажег спичку.

«Сегодня в двенадцать ночи буду гулять у реки. Хочу видеть вас. Приходите, мой славный рыцарь, — конечно, если не боитесь мошки».

Письмо было написано по-русски. Вместо подписи стояла буква «И»— «Ирина».

— Где ты взял письмо? — обратился я к Дерибабе, продолжавшему с глупым и важным видом разыгрывать тайны мадридского двора.

— Барыня дали, когда я водил Касатку купать.

— Ну, ладно, спасибо, — сказал я и быстро пошел в комнату.

Вильбуа, лежа в постели, курил свою сигару. На коленях у него лежал номер «Ревю де Пари». Сбоку на столике стоял сосуд с коктейлем.

— Выпьем, — сказал он, протягивая мне бокал. Мы чокнулись

Выпив, он поставил бокал обратно на столик и сказал:

— Завтра мы едем в Хуммар. Говорят, что где-то у слияния Тигра и Евфрата, на горе, стоят развалины старого города ассирийцев. Наши дамы снарядили экспедицию, и на вас возложена роль предводителя.

— Кто едет с нами?

— Решительно все, кроме князя и сэра Хьюза. Оба предпочитают остаться здесь, так как припадок малярии у князя, по словам врача, может повториться через сорок восемь часов.

— И долго продлится наша поездка?

— Суток двое, — сказал Вильбуа и вновь протянул мне стакан с коктейлем. — Не правда ли, мой друг, наш стюард готовит удивительно вкусный коктейль?

Мы снова чокнулись.

В открытое окно робко заглянула луна. Тени финиковых пальм, окаймлявших дорогу, вытянулись и стали черней. Близилась полночь.

Я сделал рассеянное лицо, взглянул на часы и, сонно зевнув, сказал:

— Ну, дорогой Вильбуа, я обойду своих солдат и через полчаса вернусь.

Француз искоса взглянул на меня и спокойно протянул:

— Счастливого пути, а все же захватите с собой револьвер.

Я посмотрел на него, но он безмятежно разглядывал журнал, потягивая свой напиток.

Почти бегом пробежал я расстояние до реки. Монитор, как всегда, черной громадой закрывал пристань. Несколько его полуосвещенных иллюминаторов в темноте горели яркими точками, а за ним широкой полосой отсвечивала река, слабо освещенная луной, часто прятавшейся в облаках. К ночи стало свежо и прохладно. Сойдя к самой реке, я сел на песок и стал

ждать. Какое-то волнение, более сильное, нежели одно желание, охватило меня. Всматриваясь в темноту, в каждом шорохе, в каждом неясном предмете, я видел подходившую княгиню. Луна всходила сильнее. Оба берега красавца Тигра молчали, подавленные красотой и безмолвием ночи. На одной стороне была раскинута огромная пустыня, — многоверстное, сплошь занесенное песками, сухое и горячее море, слабо прорезанное постоянно-менявшими направление караванными путями.

На другой стороне реки, там, где лежал Сади-Кянт, по всему берегу тянулись черные гряды садов, пальмовых рощ, и начиналась благословенная страна, уходившая далеко в глубь, на много сотен верст, с дикими, непроходимыми лесами, полными зверей и гадов, с огромными болотами и джунглями, кишевшими тропическими змеями и пресмыкающимися. Здесь начиналась узенькая полоска Белуджи, а за нею — богатая и еще неизведанная страна, сказочная Индия.

Я увидел идущую ко мне княгиню и подошел к ней. Пройдя немного, мы сели у самой реки.

— Наверно, заждались, рыцарь? — спросила она, переводя дыхание.

— Нет, Ирина Николаевна. Я слушал пустыню и был подавлен ее безмолвным величием.

— Ну, и что же сказала вам пустыня?

— Что все в жизни тлен. Все течет, живет и умирает, не оставляя и следа.

— О, мой рыцарь, какие мрачные мысли навеяла на вас эта пустыня. Прямо Соломон какой-то, помните: — «Ветер гонит время на круги своя и опять возвращается ветер...» и т. д. и т. д.? Ну, ничего, я вас развеселю, — а теперь пойдемте. Только не спрашивайте куда. Куда хотите, только подальше от живых людей и поближе к природе.

— Хотите в пустыню? — предложил я.

— С вами даже в Сахару. Надеюсь, вы защитите меня так же, как мисс Эвелин. Не правда ли, рыцарь? Хотя нет, он не сможет защищаться, ведь у него нет фотографического аппарата.

Говоря так, она прикоснулась к моей голове теплой полной рукой и затем неожиданно провела по моим волосам ладонью. От этой теплой и неожиданной ласки я весь вздрогнул. Давно забытая и оставленная, разбросанная где и как попало нежность острым буравом засверлила мне сознание, и в сердце разлилась бесконечная, теплая волна, в которой растворились и мозг и воля.

Так прошло несколько секунд.

Безмолвие пустыни стало еще полнее. Остановилась в тучах луна, и водяные блики взметнулись к самому небу. Я тяжело дышал. Прямо перед собой я увидел приближавшееся ко мне лицо княгини и ее большие, широко-раскрытые зрачки. Не отводя от нее своих глаз, я пытался встать и снова почувствовал на шее, на голове, на щеках ее длинные благоухающие пальцы. Сознание покинуло меня. Луна в облаках запрыгала, как мяч. Река залила меня теплой волной, и пустыня огласилась тысячами кри-

ков. «Огненную имеет страсть лапу», — мелькнула у меня последняя мысль, и я впился поцелуем в губы княгини.

Выглянувшая луна осветила ее обнаженную грудь...

— Милый, милый, милый... — без конца повторяла княгиня, обнимая мою голову и целуя мои глаза. — Злой и милый, любимый и недруг, нет, нет, друг, милый друг. Ну, что же вы молчите, рыцарь, говорите? Ваша дама ждет ответа.

Я молча поцеловал ее руку. Высоко над нами стояла луна. Река плескалась о берег, и где-то далеко выли шакалы. Было около двух часов.

— Завтра вечером мы едем в Хуммар. Ты уже знаешь об этом. Я хочу, чтобы эта поездка сделала тебя ближе ко мне. Несмотря на твою нежность и обаятельную деликатность, я чувствую, мой друг, что ты не мой. А в тебе есть черты, которые делают тебя близким и дорогим. Первое и самое ценное, что я заметила в тебе с первого же раза, — это, что ты настоящий мужчина. И притом такой, каких я среди окружающих меня не встретила ни разу. Ты мне напоминаешь лейтенанта Глана. Но только в тебе сидит наш русский, тургеневский, интеллигентный Глан, вскормленный русским молоком и воспитанный русской культурой. Мне нравится в тебе твоя мощь, твоя воля и твоя огромная страсть к жизни. Ты сам отвоевываешь право жить у природы, а это, мой милый, самое ценное... Я видела много русских, после разгрома бежавших от тюрьмы и пуль большевиков, куда и как попало. Но что стало с ними! Они за границей втоптали в грязь русское имя. Они пошли в сидельцы кабаков, в притоны, в кафешантаны. Они стали петь песни и плясать по циркам и кабарэ. Вчерашние герои, неделю назад проливавшие свою и чужую кровь; люди, разорявшие города и русские деревни, сегодня без зазрения совести стали подавать вино и плясать в европейских городах лезгинки и трепаки. И эти люди русские?.. Нет, это отбросы России. И очень хорошо, что их нет там, в нашей дорогой России. Я не знаю большевиков, кто они и что они, но я уважаю их за то, что они подняли имя России, — пусть советской, не в этом дело, — до такой высоты, что весь этот хищный и биржевой мир считается и боится ее. Ее... нашей России!.. Вот, дорогой мой Борис, почему я вначале так не взлюбила тебя. Мне казалось, что и ты один из тех, для кого Россия — это только географическое место на глобусе, где обитают русские, темные, но бесконечно милые люди. Иногда у меня бывает такая сильная тоска, что я готова плакать от острого желания видеть Россию. И знаешь, — не смейся надо мной, — тогда я часами сижу за столом и десятками пишу письма в Россию, которые никуда не отсылаю, а потом сижу, плачу и перечитываю их...

Я пригнул ее голову к губам и, ласково целуя, сказал:

— Ирина, милая моя Ирина.

— Или вот, имя мое, — Ирина. Только теперь, в изгнании, я узнала красоту этого имени и только теперь полюбила его. Знаешь, когда я увидела твоего казака, у меня на сердце зайчики запрыгали, как бывало в детстве, когда мне было десять лет. Вот ты подавлен красотой и величием

чужой для меня пустыни, этих роскошных пальм и тропических запахов, а мне все это чуждо, даже враждебно. Я всю эту красоту с ее джунглями и бананами отдам за самую простую тамбовскую или рязанскую ржаную деревушку.

Она вздохнула и продолжала:

— Да, милый, кстати, я тебе передам маленькую сплетню. Наш очаровательный соотечественник, Слепцов, упорно уверяет майора и лейтенанта в том, что ты весьма подозрителен. По его предположениям, ты — агент большевиков, ведущий их пропаганду среди местного населения.

Я улыбнулся. Так вот чем вызваны его последние посещения!

Мы продолжали сидеть на влажном от росы песке. Усталость начинала охватывать меня. Какая-то сладкая истома ослабила тело. Мысли, как перепутанные лианы, свивались в голове. Когда уже посветлел восток и ниже к воде пригнулся камыш, мы встали радостные и обессиленные любовной истомой ночи. Глаза княгини были полны глубокой, одухотворенной радости.

— Спокойной ночи, милый.

Мы дошли до площади, и, когда она вошла в дом, я медленно направился к себе. Странная и в то же время обаятельная женщина. Как только она ушла, ее чары оставили силу надо мной. Несомненно, она не лукавит. Ее страсть, ее ласки были искренни. Но кто же она? Пока что она овладела мною. Быстро, просто и решительно. Кроме того, мысли мои все чаще и сильнее останавливаются на ней. Для того, чтобы выиграть первую часть нашего пари, не понадобилось и трех дней. Все случилось гораздо скорее и решительнее.

Когда я подходил к дому, навстречу мне попался Гильдебрандт. Встреча была самая неожиданная. В три часа ночи, когда весь Сади-Кянт спал, что нужно было лейтенанту на пустынных улицах и почему он не спал мирным сном?.. Вид его показался мне странным. Я поклонился ему, но он прошел мимо, посмотрев на меня мертвым, пустым взглядом. Одно плечо его было вымазано белой краской. Лицо судорожно передергивалось. В правой руке был стэк, который он, поравнявшись со мной, машинально переломил. Я оглянулся ему вслед. Он шел какой-то неровной, падающей походкой и производил впечатление пьяного или ненормального человека. По всей вероятности, он что-то знает. Не потому ли Вильбуа предложил мне захватить с собой револьвер?

Дома заспанный Дерибаба, стаскивая с меня сапоги, сказал:

— Господын лейтенант с тим русским, та бодай его бис, со Слипцовым приходылы. Шукалы вас, та я казав, що вы на посты поихали...

Тэк-с, вот оно в чем дело. Ревнивый лейтенант, не доверяя княгине, вероятно, устроил слежку за нами. Очень хорошо, Борис Петрович, вам следует принять это к сведению...

Через пять минут я похрапывал в унисон разметавшемуся Вильбуа.

6.

Брекфаст прошел вяло. Француз долго готовил свой апперитив, который, как мне показалось, не оказал на его аппетит должного воздействия. Затем он как-то нервно приступил к завтраку, причем весь вид его говорил, что он не в духе. Видя милого Вильбуа впервые в таком дурном настроении, я пытался рассеять его рассказами о предстоящей поездке в Хуммар. Но все было напрасно. Симпатичный толстяк был неразговорчив, однообразен и даже немного неучтив. Чувствуя, что с ним творится что-то неладное, я оставил его в покое и занялся разговором о поездке с мисс Эвелин. Энергичная, живая, по-мужски любознательная англичанка уже вооружилась «Руководителем по водным и сухим путям в бассейне Тигра и Евфрата» капитана Лейда и заранее предвкушала удовольствие от прогулки. Между прочим, ее корреспонденции регулярно передаются нашей радиостанцией в Бомбей, откуда, вероятно, не менее аккуратно направляются в Лондон, прямо в «Таймс».

Гильдебрандт сегодня, к моему великому изумлению, впервые, за время своего пребывания здесь, весел, разговорчив и интересен.

Княгиня и лэди Хьюз, сидевшие за завтраком около него, несколько раз звонко смеялись, слушая его забавные остроты. Какая странная метаморфоза! Я не верил своим глазам, изредка взглядывая на этого интересного, живого и остроумного, светского человека и вспоминая вчерашнего лейтенанта с мрачным и больным видом, бродившего бесцельно в полночь по Сади-Кянту.

К концу завтрака вышел князь, слегка пожелтевший, но как всегда затянутый в черный смокинг и как всегда корректный и сухой. Княгиня была особенно мила с ним. Мне она бросила несколько незначительных фраз. Встретившись два-три раза с нею глазами, я увидел совершенно чужой, равнодушный взгляд.

После завтрака, несмотря на сильную, почти невыносимую жару, я отправился к Бен-Кадыру.

Прогулка наша до Хуммара должна продлиться не менее двух суток, поэтому я решил предупредить старика об отъезде и кстати взглянуть на Мадинэ. Я шел с тайной надеждой не застать дома Бен-Кадыра и посидеть наедине с милой девочкой. Зачем мне хотелось этого, я не знал, но близость к Мадинэ радовала и волновала меня.

На мой стук вышел Бен-Кадыр. Оказывается, он ждал моего прихода, так как, по его словам, были новости, которые должны были заинтересовать меня. Мы вошли в прохладу сада и сели на коврике у бассейна. Несколько оливовых деревьев бросали густую тень, в которую усадил меня старик. Сначала он, как всегда, справился о моем здоровьи, о настроении, о делах, а затем, несколько раз оглянувшись кругом, пригнул мою голову к своим губам и быстро, быстро зашептал:

— Сын мой, ты знаешь, как я тебя люблю, и ты правильно поймешь все, что я сейчас скажу тебе.

Я обнял доброго старика и сказал ему, что чту его и верю ему, как самому близкому человеку. Он благодарно поцеловал меня в плечо и продолжал:

— Народ имеет тысячу ушей и тысячу языков. И если плохо слышат одни уши, то хорошо знают другие, и если одни языки сказали ложь, то другие говорят правду. Итак, слушай, сын мой. Проходящие на Багдад караваны передали, что в Хурем-Абаде задвигались луры, а али-аллахи сняли свои кочевья, скрутили шатры и отправили стариков и женщин в самую глубь Мардинских гор. Еще говорили чарвадары [1]), что к Али-Мардахану пришли через Синджар посланные от племен бенилаам, абу-магомед и баттар и что вот уже вторую неделю совещаются гости с Мардаханом, и никто не знает, о чем говорят курды с арабами. А ведь ты знаешь, сын мой, если курд и араб начинают совещаться, значит действительно они подумывают о чем-то серьезном. Поверь, я говорю тебе об этом не потому, что мне жаль вот этих рыжих людей, приехавших в Сади-Кянт на большом барфуре [2]). Смерть англичан — радость для правоверного, но я боюсь за тебя, мой сын. Я боюсь за русскую женщину, которая тоже может умереть. Уйди, пока не поздно, отсюда. Возьми ее с собой и уезжайте в Багдад или в Бомбей, а если ниспошлет тебе аллах свое благословение, то и в Москов, туда, где ты нужен больше, чем здесь. Ведь не даром говорит арабская пословица: «Бойся мести слона в лесу, кобры в джунглях и курда в поле»...

Зная местные нравы, я не сомневался в том, что действительно что-то происходит. Несомненно, какая-то доля истины есть в словах старика; неугомонный Али-Мардахан решил, вероятно, под влиянием турецких происков разорвать слабую паутинку добрых отношений, которой он был связан с нами. Агентура моя, отправленная в горы, пока еще ничего не сообщала, хотя это было обычно. Как только назревали события, агенты наши, навербованные из персов, арабов и курдов, слабо и неясно освещали обстановку в горах. Наоборот, когда в горах все было спокойно, и усиливались настроения в пользу англичан, агенты усиленно муссировали всякие небылицы о готовящихся восстаниях и нападениях.

Обняв старика, я поблагодарил его, но твердо сказал:

— Я — солдат, отец, русский солдат. Я подписал бумагу английскому царю, срок этой бумаги кончится только через три месяца. Скажи, отец, могу ли я, русский солдат, нарушить слово и бумагу и бежать отсюда, если всем другим будет угрожать опасность?

Бен-Кадыр опустил голову.

— Да, сын мой, я думал, что ты так и ответишь мне. Я знаю, что руссы храбрые люди, не боящиеся смерти и не изменяющие своему слову. Но что же поделаешь, сердце мое любит тебя и скорбит по тебе.

Старик помолчал и затем добавил тихо:

---

[1]) Чарвадар — проводник, вожатый верблюдов.

[2]) Барфур — пароход.

— А тут и Мадинэ упрашивает: «уговори русса уехать». Ведь она тоже любит тебя и боится за тебя.

Я был растроган. Мне казалось, что, потеряв семью и оставшись один, как перст, в мире, я не найду больше бескорыстной глубокой родной любви и буду навсегда лишен забот о себе со стороны близких людей, и вот здесь, в глубинах Месопотамии, я неожиданно нахожу двух людей, любящих меня преданной, неподкупной и родной любовью. У меня от волнения затуманились глаза.

Бен-Кадыр молча взял мои руки и сильно пожал их.

— Посиди, сын мой, а я пойду к Зикре, — сказал он, вставая.

Я остался один; новость, сказанная стариком, не очень взволновала меня. По моим предположениям, эта весна вообще должна была дать какие-то, положительные или отрицательные, результаты британской политики среди горных кланов Луристана. Меня интересовало только одно,— как могли найти общий с курдами язык арабские племена али-аллахов и баттар, вечно враждовавшие с разбойниками лурами. Погруженный в свои мысли, я не заметил, как подошла Мадинэ.

— Здравствуй, сагиб. Ты о чем думаешь так сильно, что не замечаешь друзей? — сказала она, ставя около меня чашку с холодным аб-джу.

Мадинэ вышла ко мне совсем без чадры, как выходят только к очень близким и родным людям. Поставив угощение, она стала около бассейна и не спешила уходить обратно в дом.

— Садись со мной, сестра, — предложил я.

— Если сагиб хочет, я сяду, — просто ответила Мадинэ и села напротив меня, на ковре, поджимая под себя свои маленькие ножки. Ее глаза с неподдельной радостью смотрели на меня. Она разглядывала меня так, как маленькие дети смотрят на любимую игрушку. — Я соскучилась по тебе, сагиб. Ты уже два дня не был у нас. Отчего ты не приходил? Тебя, наверно, не пускала эта красивая женщина...

— Нет, Мадинэ. Дела не пускали меня. Я тоже соскучился по тебе и, вот видишь, пришел, чтобы увидеть тебя.

— Нет, сагиб, ты не очень скучал по нас. Эта женщина не даст тебе скучать. У нее такие голодные глаза, когда она глядит на тебя, как будто ты финик. А я тебя видела во сне, сагиб, будто ты пришел к нам. Дядя и Зикра сидели в саду, а я с тобой была в комнате, и будто ты ничего не говорил мне, а только глубоко-глубоко посмотрел мне в глаза и потом поцеловал меня. Как тогда, помнишь, один только раз. Я проснулась. Была ночь, мне было и стыдно и приятно. Я лежала и долго думала о тебе, сагиб, и, когда засыпала снова, я помолилась аллаху, чтобы снова увидеть тебя, но я ничего больше не видела. А скажи, сагиб, ты ведь ученый и умный человек, так вот скажи, сагиб, может ли мусульманин полюбить христианку? У нас говорят, что это грех. А я так думаю, сагиб, что грех, когда любишь и скрываешь, а если людей аллах сделал разными, одних руми, других инглизами, третьих арабами, а четвертых руссами, то какой же это грех любить друг друга, ведь сердце у них одинаковое, не правда ли, сагиб?

Я, как очарованный, смотрел на чудную девочку, смысл слов которой был мне ясен вполне. Она полюбила меня первой, робкой и чистой любовью, которую она еще не осознала сама и в которой она ощупью и стыдливо разбирается, но которую давно заметил и понял Бен-Кадыр, предусмотрительно ушедший и оставивший нас вдвоем.

Я смотрел в глаза Мадинэ, в них было столько преданности, обожания, беспредельной восточной покорности перед мужчиной и столько любви, что я невольно подумал:

«Боже мой! Что я делаю! Зачем мне любовь этой наивной и чистой девочки, мимо которой я пройду, и чувство которой только эпизодом останется в моей памяти?»

— Мадинэ, ты любишь меня? — спросил я, не отводя взора от ее больших, восторженных глаз.

— Да, сагиб, люблю, — опустив голову, тихо сказала девушка, и, несмотря на ее смуглое лицо, я отчетливо заметил, как она побледнела.

Мне было больно и жаль эту девочку. Я взял ее холодную руку и, ласково гладя ее, сказал:

— Я тебя тоже люблю, моя радость. Ты права. Аллах сделал сердца всех одинаковыми и наполнил их одной любовью, и поэтому никто не может запретить руссу любить Мадинэ.

Она радостно, снизу вверх, взглянула на меня и улыбнулась.

— Если даже сагиб сказал это, чтобы обрадовать Мадинэ, то и за это спасибо, потому что Мадинэ сама любит тебя.

— А где Бен-Кадыр? — спросил я.

— Он сидит с Зикрой в комнате и рассказывает ей сказки, — засмеялась Мадинэ, — хочешь, пойдем послушаем его.

— Пойдем, милая девочка, — сказал, вставая, я.

— «Милая», — повторила Мадинэ, — если я правда милая и если ты хоть вот столько любишь меня, сагиб, то уезжай отсюда скорей и делай так, как сказал тебе дядя.

Я засмеялся.

— Вот это любовь, Мадинэ. Любишь меня и гонишь отсюда.

— Да, сагиб, потому что, если ты уедешь отсюда, я буду знать, что ты жив, и радость моя будет бесконечна. Но если с тобой, избави аллах, случится что-нибудь, Мадинэ не переживет тебя.

Я, смеясь, закрыл ладонью рот девушки...

В комнате на ковре сидела хохочущая Зикра, и веселый довольный Бен-Кадыр что-то рассказывал девочке. Увидя нас, посмеиваясь в свою бороду и поблескивая умными глазами, старик продолжал свой рассказ:

— ...Пройдя еще четыре фарсага [1]), дервиш окончательно устал. До Мекки было еще очень далеко, солнце палило немилосердно, а пустой желудок напоминал о еде. К счастью, по пути встретился маленький оазис, обнесенный стройными пальмами, из-под которых журчала чистая, про-

---

[1]) Фарсаг — мера длины на Востоке; один фарсаг равен семи верстам.

зрачная вода. Посмотрел божий человек на деревья, потом на дорогу, поднял глаза на солнце, вспомнил, что с утра еще ничего не ел, и, свернув с дороги, зашагал к дому. Навстречу ему вышел бедный араб, обитавший здесь. Гость — дар божий, особенно если он служитель аллаха. Араб пригласил дервиша, накормил и напоил его и положил спать на своей постели. Прошло три дня. Бедняк выбивался из сил, чтобы угощать возможно лучше божьего человека, который и не думал уходить. Прошла неделя. Дервиш аккуратно четыре раза в день садился за стол и еще аккуратнее засыпал на постели хозяина.

«— Господин мой,— обратилась испуганная жена к арабу, — не пора ли нашему гостю продолжать путь к святым местам? Он нас объедает, а мы люди бедные, и детишки наши воют от голода.

«— Не могу, жена, — никак не могу. Великий грех выгонять из дому благочестивого странника.

«Прошла еще неделя. Еще раз, но уже настойчивее говорит арабу жена:

«— Господин мой, воля твоя, но надо нам избавиться от божьего гостя. Нам скоро самим нечего будет есть, а аппетит у него растет с каждым днем.

«— Ничего не поделаешь, — согласился муж и пошел к дервишу.

«Дервиш сидел под пальмами, опустив ноги в ручей, и, дожевывая баранью ногу, размышлял о вращении звезд.

«Хозяин смиренно приблизился к нему и робко молвил:

«— Достопочтенный отец, я тысячу раз благословляю и благодарю тебя за то, что осчастливил своим присутствием мой бедный дом. Но, к стыду моему, видит аллах, что я говорю правду, сегодня мы прикончили последнего барана и доели последний запас фиников.

«Дервиш с важностью кивнул головой:

«— Да будет так. Разбуди меня завтра чуть свет, чтобы я на заре сотворил утренний намаз и мог продолжать свой путь на богомолье.

«Утром едва лишь побледнели звезды и заалел восток, хозяин дотронулся до плеча гостя.

«— Проснись, божий человек. Пора и в путь. Уже пропел петух.

«— Как, у тебя еще есть петух, — удивился дервиш и, повернувшись на другой бок, продолжал сон...

Наш смех приветствовал окончание рассказа. Посидев еще немного с друзьями, я отправился домой. Было уже далеко за полдень, и до отъезда оставалось немного времени. Я решил доложить майору все сведения, полученные от Бен-Кадыра.

7.

Коутс, с интересом выслушав мой доклад, молча встал, подошел к своему походному столику-бювару, раскрыл его и, вынув оттуда сложенный вчетверо листок, стал вполголоса читать:

— По самым достоверным сведениям, полученным из частных источников помимо официальной агентуры, выясняется, что курдское племя

Кельхор, под влиянием турецких эмиссаров и некоей дружественной нам державы, вошло в связь с кочевыми племенами луров Хурем-Абада, возглавляемых Али-Мардаханом. Последний имеет намерение, соединившись с племенем Кельхор и Шаммара, имея союзниками арабские племена бенилаам и баттар, произвести внезапное нападение на посты и небольшие гарнизоны британской королевской армии с целью уничтожения их и в случае успеха поднять возмущение против Англии по всему Луристану, Курдистану и даже Месопотамии. Главный удар, вырабатываемый вождями горных племен и одобренный турецкими эмиссарами, должен быть произведен на Бакуба—Самара—Багдад, с целью изоляции Моссула, на который по плану повстанцев должны будут напасть турецко-арабские четы. Наши части приведены в боевую готовность, и на линию пограничных с курдами постов выдвинуты части армяно-ассирийских батальонов. Воздушные эскадрильи производят регулярно разведки, и первая же попытка мятежников восстать, несомненно, окончится их полным разгромом. Лозунги, под которыми выступают мятежники: свободный Курдистан и независимая Месопотамия.

Далее шла дислокация частей нашего оккупационного корпуса.

— Эта сводка получена мною сегодня утром из Багдада от нашего военного резидента при штабе короля Фейзаля. Я думаю, сержант, — продолжал майор, — что маленькое кровопускание этим забиякам охладит их воинственный пыл. Сколько человек у вас на постах и здесь, в селе?

— Двадцать восемь солдат в селе и двадцать четыре на трех постах вокруг Сади-Кянта.

— Пятьдесят два человека, да нас с матросами и артиллеристами судна около тридцати человек, — итого восемьдесят два стрелка, вполне достаточно на первое время... — решил майор. — Каково у вас вооружение?

— Три пулемета и по одному на катерах и кроме того по два огнемета на взвод. Помимо этого все солдаты вооружены гранатами, — ответил я.

— Отлично, превосходно. Я думаю, что катавасия начнется не раньше, чем через месяц-два. К этому времени наши путешественники возвратятся обратно в Бомбей, даже и не подозревая о возможной опасности. Во всяком случае монитор с его броней и дальнобойными орудиями послужит им надежной защитой.

Мы условились никому из экспедиции, за исключением лейтенанта, ни звука не говорить о событиях, дабы не создавать преждевременной паники.

Ровно в шесть мы собрались у пристани, где на легкой зыби чуть покачивались мои катера. Слуги проносили ящики с едой и напитками и погружали их на катера. Дамы, вооруженные биноклями, рассаживались поудобнее. Мисс Эвелин с решительным видом стала у рулевого колеса, рядом с матросом, чтобы, выйдя на большую глубину, самой взяться за руль. На втором катере происходило волнение. Натуралисты никак не

могли разместить свои длинные неуклюжие сачки и снаряды, которыми они вооружились с самого утра. Лейтенант со Слепцовым прогуливались по берегу, ожидая момента посадки. Вильбуа с неизменной сигарой сидел на крыше катера, обводя биноклем берега реки. Все были в сборе и ожидали только майора, готовые к отплытию. В последнюю минуту пришел майор, извинившийся за опоздание; оказывается, незаконченная работа не давала ему возможности ехать с нами. Еще раз извинившись, он пожелал нам приятной прогулки. Решено было, что на первом катере поедут все дамы, лейтенант, Вильбуа и я, а на втором — натуралисты, орнитолог, Слепцов, Дерибаба, которого я захватил с собой, и туземная прислуга, необходимая в пути. Прощаясь с нами, майор отозвал меня и Гильдебрандта в сторону.

— Господа, если будет возможность, сократите вашу поездку до суток и завтра же к вечеру возвращайтесь обратно. Я получил только что довольно неприятную телеграмму от сэра Перси Нокса, верховного комиссара Месопотамии. Вероятно, через пять-шесть дней мы все возвратимся в Багдад, конечно, кроме вас, дорогой сержант. Вы с вашим опытом и хладнокровием скоро очень пригодитесь здесь. Счастливого пути. — Он пожал нам руки, и через пятнадцать минут Сади-Кянт и его сады исчезли за поворотом реки.

Шумно сопя мотором, наш катер мчался вперед, разрезая набегавшую воду и обгоняя изредка встречавшиеся лодчонки арабов. Сзади нас, слегка в стороне, пыхтел второй катер, на крыше которого черной точкой виднелся пулемет, внимательно разглядывавший берега. Мы шли уже больше часа. Иногда мимо проплывали большие села, обнесенные бесконечными рощами финиковых пальм и чернильного орешка. На зеленых склонах показывался конный или пеший араб, и снова все плыло назад и оставалось далеко позади. Глядя на карту, я решил, что скоро должен быть Белед с его крутыми берегами и живописной природой. Дойдя до него, мы должны были взять направление на северо-запад, войдя в один из больших притоков Тигра, Диалу, и, обогнув курдскую крепость Захро, выйти в другую реку Карун с ее чистой и прохладной водой. Мы с восхищением рассматривали берега, а корреспондентка, давно бросившая рулевое колесо, поминутно щелкала аппаратом и восхищалась красотой реки. Гильдебрандт забрался к французу наверх, и оба, молча покуривая, лениво глядели вперед. Мимо нас проплыла, полускрытая берегом и деревьями, величественная крепость Захро, где, по преданию, Ассурбанипал приказал замуровать живой свою любимейшую жену Астригод, уличенную в измене с юным рабом из Иудеи. Я кратко рассказал эту легенду, весьма понравившуюся дамам, только лейтенант, сощурив глаза, лениво проронил:

— А из вас, сержант, вышел бы неплохой рассказчик старых легенд, если бы переменили вашу профессию.

Я взглянул на него. Он так же лениво, но вызывающе глядел мне в глаза.

— Кто знает, где и в чем его истинное призвание, — сказал я, — по-моему, лучше все же быть хорошим рассказчиком, чем плохим слушателем.

— Браво, — сказала молчавшая княгиня, — очень остроумный ответ.

В это время мы входили в прохладные, всегда чистые воды Каруна. Кругом, справа и слева, берега реки были покрыты густым лесом из дикой яблони и орешника. Здесь уже начиналась другая флора, но все еще густо перемешанная с той, которую мы оставили на берегах Тигра.

— Шарка, — повернувшись ко мне, закричал рулевой, матрос-индус, долгое время бывший лодочником на берегах Персидского залива у Бассоры.

— Где ты ее видишь? — спросил я, перебегая к нему по борту катера.

— Здесь, сагиб. Вон смотри ее плавники. Она идет наперерез нашему катеру, — торопливо указал мне пальцем индус.

Я стал пристальнее всматриваться в указанное место и действительно увидел два плавника, торчавшие из воды, и какую-то тень в воде.

— Акула, — обратился я к внимательно следившим за мной спутникам, — одна из ее разновидностей «Шарка», каких можно часто встретить в Шат-Эль-Арабе, а особенно часто здесь, в Каруне, куда они заходят, соблазняемые чистыми и прохладными струями реки.

Мисс Эвелин даже раскрыла глаза от удовольствия и изумления, а Вильбуа, разнеженный зноем и легким покачиванием судна, уронил свою сигару в воду. Так было неожиданно мое заявление. Все молчали, следя за приближающимися плавниками, и только Гильдебрандт резко и вызывающе бросил:

— Вздор. Вы, кажется, сержант, спекулируя на своей пресловутой опытности, думаете потешиться над нами, считая нас детьми. Я категорически и настойчиво заявляю, что это вздор и что вы намеренно говорите это, выдавая нам какую-то рыбу вроде сома за акулу.

Все были поражены его тоном. Не успел никто еще сообразить как следует в чем дело, как я, сорвав со стены каюты свою шинель, бросил ее акуле в воду. Затем так же молча вскочил на крышу каютки и, сев за пулемет, крикнул индусу, чтобы он повернул катер кормой. Шинель намокала и медленно погружалась вниз. Рядом с нею показалось хищное тупоносое рыло акулы. Блеснули четыре ряда острых гвоздеобразных зубов в широко раскрывшейся пасти, и в ту же секунду я выпустил из «Кольта» четверть ленты в ее хищную голову, целясь в маленькие неповоротливые глаза. Вокруг катера поднялась туча водной пыли и брызги. Это град моих пуль и умиравшая в предсмертных судорогах Шарка потревожили спокойную гладь тихого Каруна. Дамы испуганно закричали, закрывая уши руками, и только бесстрашная корреспондентка, вне себя от восторга, кричала:

— Убита! Убита!

Животное медленно перевернулось в воде, и белое брюхо акулы приблизилось к катеру. Матрос багром притянул ее к нам. Большая мертвая акула с раздробленной пулями головой лежала перед нами, чуть покачиваясь на волнах реки. Встревоженные пулеметными выстрелами пассажиры второго катера подплыли к нам. Узнав, в чем дело, они успокоились. Через несколько минут мы в прежнем порядке продолжали путь. Часы показывали восемь. Через тридцать-сорок минут мы должны были подойти к цели нашей поездки, небольшому местечку Хуммару, основанному на развалинах древнего города Каллаша, ровесника великого Вавилона, уже стертого с лица земли дыханием веков.

Мои спутницы, шокированные поступком лейтенанта, были особенно любезны со мной, а лэди Хьюз демонстративно заявила, что ей понравился мой «смелый и решительный» поступок, и только княгиня, загадочно поблескивая в мою сторону своими голубыми глазами, молчала, изредка переводя их на насупившегося лейтенанта, курившего одну сигару за другой.

Вильбуа, добряк по натуре, чувствуя, что атмосфера полна грозы и неожиданностей, притих и как-то виновато поглядывал на меня своими добрыми глазами. Вскоре показалась пристань Хуммара, живописно разбросавшегося по склону зеленой горы. Навстречу нам плыло несколько лодок. Одна из них, моторная, была украшена британским флагом.Оказывается, это выехал встретить нас местный консульский и торговый агент, предупрежденный крестьянами села. Когда мы сходили на берег, нас окружила разношерстная толпа туземцев, бестолково сновавших вокруг и галдевших без умолку. Подходя к дому агента, мы встретили несколько высоких, смуглых и представительных человек, одетых в черные рубахи и широкие шаровары. На ногах их были кривые, кожаные, с загнутыми вверх носками, чусты. На голове высились большие черные войлочные колпаки, вроде митр, перевязанные поперек шелковыми багдадскими платками. Грудь и пояса их были густо обвешаны патронташами, среди которых были заткнуты кривые кинжалы. У каждого сбоку висело по маузеру и, кроме того, в руках небрежно покоилось по лебелевскому ружью.

— Курды Кельхоры, старшины кланов, — шепнул нам агент, когда мы поравнялись с ними.

Курды вежливо и с достоинством приветствовали нас. Мы ответили им тем же. Проходя мимо них, я остановился и заговорил с одним из них на курдском наречии, которое было мне знакомо еще по работе в Сирии. Курды поняли меня, закивали радостно головами, и все враз заговорили со мной. Высокие, стройные, с открытыми умными лицами и живыми глазами, они резко отличались от запуганных и приниженных обитателей прибагдадской полосы. Поговорив с ними, расспросив о новостях, о здоровьи и т. д., — словом, отдав дань восточным церемониям, — я направился к дому агента, жилище которого легко нашел по флагу на крыше и часовому у ворот. Было еще рано и совсем светло. Пока мы переодевались

и приводили себя в порядок, прошло около часу, и только в десятом часу, освеженные и отдохнувшие после долгого пути, мы собрались в столовой гостеприимного хозяина, который был особенно рад нашему приезду. Мы с удовольствием ели и скоро с трудом могли отведывать то или иное блюдо, во множестве подававшиеся к столу. Наконец, разнеженные вкусным обедом и обилием вина, мы встали, и возглавляемые агентом, британско-подданным армянином, мистером Гигосом, направились к холму, покрытому руинами и высившемуся над Хуммаром. Полная луна ярко освещала дорогу, холмы и реку. Было настолько светло, что можно было различить каждый камень, отвалившийся от старинной стены.

Мистер Гигос рассказывал нам о достопримечательностях Хуммара и, подведя нас к холму с руинами, сказал:

— Эта местная священная гора носит легендарное название горы Нимврода. На этом месте, за три тысячи двести лет до рождества христова, стояла первая столица ассирийского царства, огромный город Каллаш, заложенный великим царем Салманасаром I, и впоследствии, когда Ниневия сменила его как столицу государства и резиденцию царей, Каллаш все-таки остался большим торговым городом. Вот эти руины, которые еще и сейчас так гордо высятся над другими развалинами, это дворец Ассур-Назирпала, построенный им за девять веков до рождества христова. Археологи, производившие раскопки, нашли тут немало ценных скульптурных работ, могущих считаться образцовым произведением ассирийского искусства, а знаменитый «черный обелиск», хранящийся в Британском музее, считается, поистине, драгоценнейшим эпиграфическим памятником могущественного царства.

Заинтересованные рассказом мистера Гигоса, мы молча слушали его, только мисс Эвелин спросила армянина, не археолог ли он, что так хорошо знает все детали этих памятников старины.

— И да, и нет. Ведь я, работая как консульский агент Британии, одновременно с этим веду и свои торговые дела, заключающиеся в скупке и продаже европейским музеям и антикварам всех редкостей Ближнего Востока.

Мы пошли дальше. Рука княгини, шедшей рядом со мною, коснулась моих пальцев, и снова острым буравом засверлила в моем мозгу страсть, и минувшая ночь на берегу Тигра встала отчетливо в моей памяти.

— Выходите в полночь во двор, — шепнула княгиня по-русски.

Луна стала выше и еще сильнее осветила руины мертвого города и шедших впереди нас людей. Я узнал спину Слепцова. «Слышал ли он слова княгини или нет?» — подумал я.

Мистер Гигос показал нам еще несколько огромных склонившихся над рекой фигур, высеченных из громадного камня и изображающих Сеннахериба. Было уже поздно, и луна, свершая свой обычный круг, стала скрываться за облака. Начало темнеть, и уставшие от долгого пути дамы решили отправиться на покой. Мистер Гигос послал одного из слуг предупредить о нашем возвращении. Когда мы входили в дом, нас встре-

тила толпа прислуги с лампами и светильниками и развела по заранее приготовленным комнатам. Мы с Вильбуа опять попали в одну комнату. Рядом спали натуралисты, а напротив была комната Гильдебрандта и Слепцова. Когда, прощаясь, я целовал руку княгини, она снова сказала:

— В два часа во дворе.

Я молча нагнул голову, целуя ее длинные пальцы. Я не раздевался. Вильбуа, снявший было сюртук, глядя на меня, перестал раздеваться; затем, подойдя ко мне, сказал:

— Дорогой мой, я вижу и понимаю все. Я рад за вас! Остерегайтесь только этого ревнивого лейтенанта и подлого Слепцова.

Я успокоил взволнованного француза:

— Спасибо за настоящую дружбу, но все же все лейтенанты и целая английская армия не лишат меня удовольствия ночной прогулки.

Вильбуа помолчал.

— Во всяком случае, мой молодой и милый друг, помните, что на меня вы можете во всем рассчитывать вполне.

За окном стояла тихая ночь. Мои часы показывали половину второго. Не дожидаясь назначенного срока, я решил выйти сейчас и ждать появления княгини во дворе. Осмотрев свой парабеллум и пожав руку француза, я осторожно, стараясь не шуметь, вышел в коридор, направляясь ощупью к выходу. В ту же секунду дверь напротив распахнулась, и в ней показался Гильдебрандт. Из-за его спины выглядывал Слепцов.

— Куда вы, сержант? — резким шопотом спросил Гильдебрандт, подходя ко мне.

— Гулять, господин лейтенант, — ответил я, сдерживаясь.

Несомненно, негодяй Слепцов слышал слова княгини и передал Гильдебрандту.

— Вы останетесь здесь, в комнате, сержант. Вы арестованы мною ввиду возникшего подозрения в вашей измене... — сказал отрывисто и тяжело дыша лейтенант.

— ...и причастности вашей к большевизму, — торжествующе закончил Слепцов.

Я усмехнулся.

— Господин лейтенант, кажется, выпил за ужином виски больше, чем могла выдержать его голова. И только этим я могу объяснить его настоящий поступок. Завтра, когда лейтенант проспится, я буду с ним говорить об этом инциденте, а теперь прошу пропустить меня.

— Молчать, — яростно прохрипел лейтенант. — Изменник, большевистская каналья, сейчас же обратно в комнату, или я застрелю вас!— с этими словами оба, и лейтенант, и Слепцов, выхватили приготовленные револьверы и направили их на меня.

В эту минуту открылась дверь, и в ней показался полуодетый Вильбуа с горящей свечей в руке. Видя странную картину и наведенные на меня револьверы, француз не растерялся, он схватил за руку лейтенанта и крикнул прямо в лицо ему:

— Лейтенант Гильдебрандт, стыдитесь! Ваше сумасшедшее чувство уже второй раз делает вас способным на низкое дело. Вы отлично знаете, о чем я говорю. Оставьте ваше оружие. Мне, штатскому человеку, стыдно за вас.

В эту минуту я не узнавал всегда ровного, тихого и добродушного француза. Он весь преобразился. Голос его окреп и стал мощным.

— А вы, низкий сплетник, — повернулся он к Слепцову, — вы, кажется, соскучились по своей роли контрразведчика при Врангеле... хотя с вами мне не о чем говорить.

Назревавшая трагедия превратилась в жалкий фарс. Испустив проклятья, лейтенант хлопнул дверью и исчез. Вильбуа подошел ко мне, все еще волнуясь и содрогаясь от негодования.

— Успокойтесь, мой друг, — обнял я честного француза,—пойдите лягте и спите спокойно, а за благополучный исход — спасибо.

Я быстро спустился по лестнице во двор. У дверей стояла княгиня. Она внимательно взглянула мне в глаза, и мы молча пошли к воротам.

8.

Снова, как и вчера, остановилось сердце в груди, и снова огнем бурлила страсть, останавливая сознание и превращая волю в буйную безудержную радость.

Вчера целомудренная и стыдливая, робко отдававшая свои ласки мне, княгиня сегодня превратилась в знойную вакханку, с безудержной и беспредельной жаждой любви.

Часы текли медленно, как вечность,и весь мир отобразился в влажных губах и бесстыдно-голодных глазах этой ненасытной жрицы любви...

Когда, изнеможенные от ласк, усталые от радостей любви, мы сели на песок, опьяненные ночью и ароматом трав, княгиня впервые за все время заговорила:

— Я видела нелепый и неприличный поступок этих людей. Слыша шум и голоса, я взошла на лестницу и следила все время за тобой, и ты еще больше и сильнее захватил меня. Именно таким, бесстрашным и спокойным перед лицом всякой опасности, представляла я тебя. Такого, как ты, можно полюбить. Ты не поверишь, что ты первый мужчина, которому я говорю это, а видела я их великое множество. И все они были одинаковы. И только ты иной, совсем, совсем иной. Ты ни разу не спросил о лейтенанте, но я знаю, что тебя это интересовало... да, милый, да! И лейтенант, и Вильбуа, и еще многое множество таких же людей, и только один настоящий — ты... Я не верю ни в какие предчувствия, но это фатально. Я так не хотела ехать сюда, я так боялась этой поездки, и, вот видишь, страх мой оправдался. Я встретила тебя... Но зато я потеряла себя... и теперь, — она грустно вздохнула, — теперь вряд ли я когда-нибудь найду себя. А ты, милый, рад мне и моей любви?

Она с любовью и с какой-то грустью заглядывала мне в лицо. Я посмотрел в глаза княгини и увидел что-то в них такое, что заставило меня

насторожиться. Кроме утоленной страсти и нежности в них мелькнула досада, правда, только на секунду.

«Будь осторожнее», — подумал я.

— Да, — проговорил я, — встреча с вами дала мне много радостей. Я долго буду с благодарностью о ней вспоминать и, по всей вероятности, никогда не забуду ее.

Я поцеловал ее руку и при этом быстро взглянул вверх. Красивое лицо княгини передернула судорога. Несколько минут прошло в молчании.

Затем он взяла мою руку и, гладя ее, сказала:

— Ты не веришь мне, помня о нашем пари, но это пустяки, пари остается в силе, хотя я сама начинаю безвольно подчиняться тебе...

И снова запрыгала в облаках луна, и снова горячая страсть залила нас своим обжигающим хмелем.

Подходя к дому, мы неожиданно наткнулись на сидевшего у ворот Гильдебрандта. Лейтенант, как и вчера, был ненормален. Опустив голову, он судорожно сжимал стэк в своих руках. Я нащупал ручку парабеллума. Когда мы проходили мимо него, он встал и хрипло, не глядя на нас, кинул в пространство:

— Княгиня, я имею к вам несколько слов, — думаю, что это не задержит вашего джентльмена.

— Идите, Борис Петрович, я дойду одна, — сказала княгиня.

Я поклонился и пошел к себе. Не успел я отойти и десяти шагов, как услышал резкий возглас княгини и ее подавленный крик. Обернувшись, я увидел, как обезумевший, потерявший всякое самообладание Гильдебрандт вытянутым стэком изо всей силы ударил княгиню по плечу. В два прыжка я очутился перед лейтенантом и вырвал стэк из его рук. В ту же секунду княгиня, схватив меня за руки, совершенно спокойно проговорила:

— Идемте, милый друг. Лейтенант немного взволнован.

Она повернула меня, и, увлекаемый ею, ничего не понимая, я пошел в дом. Сзади я услышал какой-то судорожный истерический плач.

Наша экспедиция разбилась на две группы. Одна, с дамами, натуралистами и не вышедшим к завтраку лейтенантом, оставалась в Хуммаре, так как знойное солнце и перспектива восьмичасового пути по обожженной пустыне испугала наших изнеженных спутников, — другая же, во главе со мною и Вильбуа и подкрепленная Гигосом, двинулась к подножью Мардинских гор, где, по словам Вильбуа, были расположены кочевья курдов, с бытом которых ему давно хотелось познакомиться.

Голая солончаковая степь чередовалась с чуть зеленевшими крутобокими холмами, над которыми висела сухая и удушливая голубоватая мгла. Дорога, по которой ехала экспедиция, вилась среди неприветливых песков, стройными грядами уходивших на юг. Было жарко, и наши кони нетерпеливо пофыркивали, изнемогая от удушающей жары.

— Далеко ли еще до стоянки? — с высоты своего шурдюфа [1]) измученным голосом спросил Вильбуа.

Бедный толстяк чуть приоткрыл полосатый полог своего убежища, и я, как мне этого ни хотелось, не смог скрыть улыбки, так смешон и нелеп был наш уважаемый консул, по широкой лысине которого стекали струйки пота, а испуганные глаза с надеждой взирали на гарцовавшего рядом со мною Гигоса.

— Еще часов пять, сэр, — грациозно изогнувшись на седле и принимая позу прирожденного заправского кавалериста, ответил Гигос.

— О, господи, — со стоном промычал Вильбуа и в изнеможении опрокинулся обратно в свой качающийся ковчег.

Верблюды шли ровным спокойным шагом, время от времени помахивая умными головами и деловито оглядывая людей. Солнце все сильнее припекало, и итти становилось трудней. Дорога постепенно отходила вправо, и пески, с их безотрадным однообразным колоритом, оставались в стороне.

Время шло. Успокоенный монотонным покачиванием шурдюфа, Вильбуа больше не открывал своего полога и, как мне казалось, даже уснул. Несмотря на живой и энергичный характер консула, южное солнце сломило и его упорное любопытство, и храбрый толстяк уже не решался выползать из своего прикрытия, предпочитая с высоты верблюда разглядывать скучные пейзажи, открывавшиеся перед нами.

Так прошло часа три... Наконец один из дозорных, ехавших впереди, в полуверсте от нас, привстал на стремена и, приложив ладонь к глазам, стал пристально вглядываться вперед. Я пришпорил коня.

— Вероятно, курдский поселок, — бросил не отстававший от меня Гигос.

Через три минуты мы подскакали к дозору, медленно взбиравшемуся на холм, с которого, как на ладони, предстало перед нами большое курдское кочевье, разбившее свои шатры под холмом, на который мы медленно поднимались.

Наше появление было сейчас же обнаружено внизу. По узким улицам поселка забегали темные женские фигуры, засновали босоногие мальчишки, высыпало десятка два рослых черномазых мужчин, и бесчисленные псы на все лады и голоса заливались диким воем, встречая удивленную этой суматохой экспедицию.

Гигос, нахлестывая коня, карьером помчался в поселок, вопя наскаку благим матом о том, чтобы курды не беспокоились, ибо к ним едут их друзья. Когда мы спустились с холма и подъехали к первому шатру, нас уже встретила большая недоумевающая толпа. Несколько стариков, дряхлых и длиннобородых, медленно привстали и торжественно поклонились нам. Женщины черными пятнами бегали между шатрами.

Подъезжаем к шатрам... Мистер Гигос и старики встречают нас, а молодежь почтительно подбегает и осторожно помогает сойти с коней.

---

[1]) Плетеная корзинка, перекинутая через седло верблюда, для пассажиров.

Вокруг — любезные и внимательные лица. Через несколько минут, после взаимных приветствий, нас вводят в шатер старшины, где мы умываемся, приводим себя в порядок и ложимся на приготовленные для нас войлочные постели.

Я лежал под низким пологом шатра, и мой взор рассеянно бродил по убогим украшениям, находившимся в палатке. Хурджины, седла, узлы, сброшенные в кучу. Мистер Гигос умчался на край кочевья, увлекая с собой и сына старшины. Оказывается, славному парню не дает покоя мысль накормить нас шашлыком по-армянски, и только поэтому гостеприимный и внимательный Гигос носится сейчас где-то за поселком, выбирая из сотен ягнят наиболее, с его точки зрения, жирную и подходящую овцу для того, чтобы мы через час-полтора уничтожили ее. Вильбуа сонно кряхтит. В щель видно, как быстро и решительно спускается на землю ночь, и как темнеют окружающие холмы.

Дерибаба шумно возится за стеною, и я слышу, как он над чем-то усиленно пыхтит.

Вильбуа поднимает голову и пытливо глядит на меня. Так проходит минуты две. Я недоумеваю и вопросительно слежу за ним. Видно, что консул собирается что-то спросить, но какие-то непонятные мне причины мешают ему.

— Весь к вашим услугам, — улыбаюсь я, но всегда веселый и смешливый француз сейчас, против обыкновения, необыкновенно серьезен и глядит на меня так, будто думает поведать мне ужасную тайну или объясниться в любви.

— Ваш казак понимает французский язык? — глухо спрашивает он, и его маленькие глазки буравят меня.

— Ни капельки... разве только «мадам» и «мадемуазель», — пытаюсь шутить я, но вид консула удивляет и заинтересовывает меня.

Вильбуа встает и, пророчески вытягивая вперед руки, подобно сказочным предсказателям, придушенным шопотом говорит:

— Мой дорогой друг, мне кажется, вы имели уже и время и основание поверить в то, что я вас люблю искренно и сильно...

Удивленный этим вступлением, я глупо мотаю головой, ожидая дальнейшего.

Вильбуа делает быстрые шаги к двери и с несвойственной ему энергией стремительно выглядывает вперед. На дворе тихо... Удовлетворенный осмотром, Вильбуа резко поворачивается ко мне и, снижая голос до шопота, говорит:

— Поклянитесь мне, мой дорогой друг, что, согласитесь вы или нет, но то, что я вам сейчас предложу, и в одном и в другом случае умрет вместе с вами.

Удивленный возбужденным видом консула, я вместо того, чтобы расхохотаться при этом мелодраматическом вступлении, заражаюсь тоном собеседника и трагическим голосом говорю:

— Клянусь...

Вильбуа удовлетворен. Он опускается рядом на смятые подушки и, наклонив голову ко мне, почти вонзаясь губами в мое ухо, страстно и возбужденно шепчет:

— Слушайте, вам угрожает огромная опасность. Несмотря на то, что майор благожелательно относится к вам, тем не менее Гильдебрандт и Слепцов, эти гнусные и отвратительные люди, принимают все меры к тому, чтобы скомпрометировать вас. Даже хуже, я думаю, что они не остановятся и перед провокацией... В чем дело, я наверное сейчас не знаю, но я точно осведомлен в том, что они что-то злоумышляют против вас, что какая-то гадость ими уже подстроена.

Он взволнованно остановился, подыскивая слова и напряженно вглядываясь в мое лицо. Казалось, будто он хотел что-то прочесть в моих глазах, и то, что он не находил этого в них, огорчало и возбуждало его.

— Ну, чего же вы молчите? — хватая меня за руки, почти выкрикнул он.

— Что же мне говорить? Никакими фактами они не сумеют доказать моей измены. А на их провокации я просто не пойду.

Вильбуа зло усмехнулся.

— Какой вы странный! Ей-богу, если бы я не знал вас больше, я бы думал, что вы просто неумны. Не обижайтесь... я говорю это вам, как ваш друг... Неужели вы в самом деле не знаете англичан? Не знаете об их методах борьбы, об их исторической и расовой системе бесконечных подлостей... Мальчик... Вы думаете, что ваши благородные и рыцарские жесты способны будут растрогать этих, — он иронически протянул, — джен-тль-менов, не надейтесь... Хотя вы и служите британскому королю, но вы плохо знаете когти того льва, который символизирует британскую корону. Когти и лапы этого хищника по самые колени залиты кровью самых разнообразных человеческих рас и народностей... в том числе и вашей... русской... и нет ни одной подлости, ни одного гнусного злодеяния, которых бы не совершил этот лев для своего британского благополучия. Эх вы... воин! Вы думаете, что честь, правда и совесть, это — кушанье, пригодное для англичан?.. Никогда! Вся история Англии построена на грабеже и притеснениях, и только разбоем и угнетением живет эта страна. Если завтра лейтенант английской службы Гильдебрандт, при помощи своих подлых клевретов, докажет, пусть путем подлога и провокации, что никому не ведомый русский кондотьер за большую сумму пытался продать интересы Англии какой-либо третьей стране... вы знаете, что̀ будет. Вас повесят на первом же сучке, и никто, ни майор, ни блестящий лейтенант, ни даже я, хорошо знающий вздорность этого обвинения, я, консул чужой страны, палец о палец не ударим в защиту вашей жизни и воинской чести... И знаете почему?.. потому, что они оба — соль земли, англичане, люди высшей расы, якобы оберегающей честь своей державы, а я — из осторожности, только для того, чтобы тень вашей позорной смерти не легла пятном на светлое имя моей страны...

Вильбуа задыхался. Он вскочил и возбужденно забегал по маленькой площади палатки. Хотя он говорил искренно и страстно, но какая-то недоговоренность ясно сквозила в его патетической речи, и я хоть и уловил ее, но никак не мог понять цели, которой так страстно и горячо добивался мой взволнованный сосед.

— Я не дипломат и не политик... я, конечно, не знаю всех закулисных интриг и закорючек, которые обычно пускаются в этих случаях испытанными дипломатами, но мне все же не кажется таким страшным то, что вы мне сейчас говорили. Я верю в то, что невинный человек не может пострадать и что за моей спиной стоит английский закон, — ответил я, в глубине души желая раздосадовать горячившегося консула и, таким образом, заставить его ясно и определенно высказать его неуловимую и затаенную мысль.

Вильбуа желчно расхохотался.

— Вы неисправимы... Английский закон... Да знаете ли вы, что̀ значит английский закон?.. Для одних — все, для других — смерть!.. Англичанину, лощеному, сытому и стопроцентному британцу, английский закон несет все блага жизни, — зато другим людям низшей расы, желтым, черным и нациям второго ранга, к которым ими сопричислены и русские, английский закон несет рабство и смерть... Да что вы не знаете, что ли, что̀ творится в Индии, в Китае, на различных островах Тихого и Атлантического океанов?.. Наконец... здесь, в Ираке?.. Неужели вы не видите сами, что почва под ногами все больше накаляется и что все сильнее и сильнее растет недовольство людей второго сорта этим самым, восхваляемым вами, английским законом? Послушайте, — внезапно переменил интонацию Вильбуа, — и еще раз запомните, что вы поклялись мне... Я, как ваш друг и искренно любящий вас человек, предупреждаю вас о грозящей вам опасности и предлагаю вам бежать... бежать, пока еще не поздно... ибо жизнь ваша в скором времени может еще пригодиться...

Я не удивился... не потому, что я ожидал именно этого предложения, но потому, что по всему взволнованному лицу и дрожащим губам можно было предполагать, что он предложит нечто, еще более огромное и невозможное...

— Бежать... — повторил я, — но к кому и куда?.. Впереди — пустыня и лурские племена, позади — англичане и море, и, наконец, я даже не знаю, на что я пригодился бы в ближайшее время моим новым неведомым хозяевам!..

— Не хозяевам, а друзьям и спасителям, — пылко перебил меня Вильбуа и, обвивая мою шею рукой и обдавая лицо горячим дыханием, снова страстно зашептал: — пути есть... и их немало... Перед вами открыта дорога на Моссул... на Диарбекир... наконец, в горы, к тому же самому Мардахану, и не сейчас, а когда подойдет момент... Пока же вы очень нужны мне. Помните, что совсем неподалеку отсюда находятся дружественные нам турецкие войска, которые поклялись огнем и кровью воспрепятствовать продвижению англичан к Моссулу... Вы понимаете...

к Моссулу, — туда, где в избытке тянутся подземные нефтяные жилы, туда, где лежат неисчерпаемые нефтяные богатства и куда во что бы то ни стало мы не должны допустить их... Мы обязаны воспрепятствовать этому...

Голос консула дрожал и становился визгливым и истеричным.

— Кто мы? — переспросил я.

— Мы... французы... ведь не для того же мы вели тяжелую четырехлетнюю войну, чтобы лучшие куски на Востоке были отданы этим грабителям и чтобы нефть, в которой так нуждаются наши фабрики, флот и заводы, попала в руки англичан... Нет, Франция этого не допустит, — решительно и театрально закончил Вильбуа.

— Франция этого не допустит, — повторил я.

За дверьми послышались голоса, и в палатку вошел веселый и улыбающийся мистер Гигос.

— Нашел, — выбрал самого подходящего... не ягненок, а одна мечта. Шашлык будет вкусней, чем поцелуй богини, — и, продолжая расхваливать будущее блюдо, он стал возиться в углу, приготовляя шампуры.

Вильбуа, моментально преобразившийся, весело закивал ему головой и между фразами успел ввернуть мне:

— Подумайте... Ночью мы еще вернемся к нашему разговору...

Я молча лежал и сосредоточенно глядел на нависавшую надо мной кошму...

«Мы... французы... мы не допустим... нам нужна нефть...» — не переставая, звенели в ушах возбужденные слова Вильбуа.

Я горько усмехнулся.

«А мы, русские... мы должны не допускать одних хищников к вкусному пирогу — только потому, что его хочет другой. Английский закон! А чем лучше французский, с которым я успел отлично познакомиться и в самой Франции, и в оккупированной Сирии, и в проклятой памяти Иностранном легионе?.. Нефть... Они не дадут ее англичанам, потому что она нужна им... а истинные хозяева-то, арабы и курды, — спросил ли кто-либо их? Кого они предпочли бы скорей?..»

Я снова вспомнил одухотворенное лицо Бен-Кадыра, его простые и благородные слова и его горячую любовь к своему народу, и острая мысль непроизвольно для меня резанула все мое существо:

«Уж если менять, то на таких же людей второго сорта... но близких и сердцу и уму».

Образ Мадинэ вырос передо мной, и я, как очарованный, глядел на милые родные черты ребенка, в сердце которого я так неожиданно и неосторожно разбудил любовь.

— Шашлык готов, — и голос Гигоса оторвал меня от моего созерцания. — Вы так замечтались, что я и не решался ранее обеспокоить вас, — продолжал он.

Вильбуа многозначительно кивнул мне головой.

Если бы он знал...

Через секунду мы с аппетитом уплетали действительно превосходный шашлык.

Сухие дрова весело потрескивали, и ярким пламенем пылали сложенные на них кизяки. Синеватые струйки лукаво вились и прыгали, разрезая темноту ночи... От костра клубами вился тяжелый густой дым, и странный запах заползал в ноздри.

— Что это... почему такой отвратительный запах?.. — недоумевающе взглянул на меня Вильбуа.

— Только потому, что этот кизяк превосходно высушен и затем густо вымазан и полит нефтью, той самой нефтью, которая в изобилии находится в этих горах и к западу от них, на Моссул, — ответил Гигос.

— Как? Неужели нефть доходит и сюда? Разве она имеется и здесь?— воскликнул консул.

— О, да... нефти здесь много, — вздохнул мистер Гигос, и в его глазах мелькнуло сожаление. — Неисчерпаемые богатства, она везде... и даже под нашими ногами. В трехстах саженях отсюда находятся многочисленные колодцы и источники этого золота, и, если бы только не постоянная опасность со стороны этих милых господ, здесь отлично можно было бы делать дела.

— Неужели так близко? — с интересом переспросил Вильбуа.

— Буквально сейчас же за селом у одного из холмов начинаются колодцы, из которых курды ведрами достают нефть для своего обихода. Дальше встречаются газовые и минеральные источники и даже огненные пещеры, в которых скапливается газ. Здесь что̀... — вздохнул Гигос, — здесь нефть плохая, скверного качества, пластовая, — а вот туда, дальше к Моссулу, вот там богатства настоящие. Нефть первосортная, жильная, и залегает она на огромной площади, — только, — он усмехнулся, — пока кемалисты мешают нам, но я думаю, что наши войска прогонят их, и тогда эта нефть не уйдет от нас... Не правда ли, господа?..

— Несомненно, — успокоил его Вильбуа, и разговор принял оживленный характер.

Было довольно поздно, когда Гигос, пожелав спокойной ночи, откланялся, уйдя в соседний шатер. Вильбуа его не задерживал...

Когда смолк шум шагов нашего спутника, и в шатре и за его стенами воцарилась тишина, консул приподнялся на правый локоть и, подперев ладонью голову, пытливо взглянул на меня и спросил:

— Продолжать?

— Продолжайте, — согласился я.

Вильбуа еще раз оглядел меня и снова, как несколькими часами раньше, возбужденно заговорил:

— Теперь вы знаете, что̀ привлекло меня сюда. Конечно, не глупая экскурсия за никому не нужными птицами и экземплярами редких насекомых. Не воображаемая же пылкая любовь к княгине... Ха... ха... — он желчно засмеялся. — Несомненно, княгиня — достойная женщина,

но даже и ее прекрасные пальчики могут быть слегка запачканы нефтью. Понимаете ли вы, наконец... нефть... вот что заставило приехать нас... и вы, мой дорогой друг, должны будете оказать неоценимую услугу Франции, которая никогда не забудет ее... Слушайте внимательно и запоминайте все, что я вам скажу: Версальский мир, построенный наспех и так же наспех заключенный, разрезал земной шар на две половины — одну из них он отдал целиком во власть Англии, другую же разделил на сотни неудовлетворенных результатами войны национальностей. Англия захватила флот и колонии Германии, Англия заняла все месторождения нефти и, таким образом, обеспечила себе положение гегемона на нефтяном рынке, монополизировав всю добычу нефти в своих руках. Сейчас, когда двигатель внутреннего сгорания первенствует в мире,— ни одна культурная страна не может двигаться вперед и развивать свою национальную мощь, если у нее нет своих нефтяных полей, своих неиссякаемых нефтяных богатств... Все — индустриализация, авто- и аэроснабжение, транспорт и железные дороги, военная промышленность — все, решительно все, стоит на нефти, и Англия, зная это, захватила все лучшие куски себе — она стала гегемоном, ибо Америка через десять-пятнадцать лет исчерпает последние остатки своих некогда многочисленных нефтяных озер, в то самое время, когда Англия только приступает к разработке украденных у нас богатств. Взгляните сами, вся европейская нефть, за исключением русской, находится в руках английского агента — «Шелл-Деч-компани». Румыния, Польша, Венгрия — все это нефтяные агенты Британии. Голландская и Британская Индии покорно несут свою нефть в ненасытную глотку английского капитала. Персия, в лице «Южно-персидской компании», перегоняет свои богатства в карман британского правительства. Чили, Перу, Уругвай, все нефтяные месторождения Латинской Америки связаны договорами с единственным монопольным хозяином — нефтяным гегемоном Англией... И теперь последнее место, куда хочет протянуть свои щупальцы этот жадный спрут, — Моссул, богатства которого не дают Англии спать... Теперь вы понимаете, почему я зову вас к нам?.. Мы должны оставить за Турцией этот район, иначе все будет потеряно для Франции...

— Мой дорогой Вильбуа. Я очень сочувствую вам, но, право, мне крайне непонятно, чем же я, незначительный и невидный человек, могу помочь целой Франции и даже сохранить для нее Моссульский район.

Вильбуа усмехнулся.

— Ребенок... Неужели вы не понимаете, чего я хочу от вас?

— Нет, — сокрушенно вздохнул я, пожимая плечами.

— Очень немногого. Пока я нахожусь с вами в приятельских отношениях, вы в полной безопасности. Ничто не угрожает вам. Все, что необходимо будет вам, будет своевременно выполняться нами, и к концу нашего поручения, о котором я буду сейчас вам говорить, вы получите на свое имя во Французском республиканском банке текущий счет на солидную сумму в любой европейской валюте. Как только закончится

ваша миссия, вы будете совершенно свободны от всех с нами обязательств, и я сам приложу все усилия к тому, чтобы вы беспрепятственно прибыли во Францию, где вас примут как своего.

— Что же я должен сделать за все эти блага? — перебил я увлеченного собственным красноречием француза.

— Очень немногое. Быть нашим военным осведомителем по всему этому району и помогать нам поддерживать через вас связь с горными племенами Мардинского хребта. В случае же восстания или войны с кемалистами вы должны будете исполнить наши инструкции вплоть до поджога нефти и перехода к неприятелю.

— Словом, вы мне предлагаете стать французским шпионом и нефтяным Геростратом, — улыбнулся я.

Ободренный моим шутливым тоном, Вильбуа оживился.

— Ну, зачем такие неприятные слова? Не шпионом... а сотрудником, тем более что идейно вас ничто не связывает с англичанами. А деньги вы в гораздо большей мере получите от благодарного вам вашего искреннего друга Вильбуа, — тут он приподнялся и, подойдя ко мне, сильно потряс за плечи, говоря: — Ну, решайте же... с нами?

— Знаете, ваше предложение настолько серьезно, что, не отказываясь от него, я все-таки прошу у вас пару дней, для того чтобы деловым и серьезным образом обдумать его.

— Браво, браво, я так и предполагал. Я был уверен, что вы, мой дорогой друг, обсудите его и, конечно, пойдете с нами, ибо Россия и Франция больше полувека связаны узами традиционной и бескорыстной дружбы.

И, захлебываясь от восторга, консул сочно поцеловал меня в лоб.

— А теперь спокойной ночи, скоро утро, — отодвигая полог и глядя на еще темный, начинавший слегка сереть горизонт, сказал я.

— Спокойной ночи, — ответил Вильбуа.

Уже лежа в постели, я снова принялся думать о предложении моего спутника. Я не возмущался, ибо иного подхода ко мне, странствующему кондотьеру, наемному солдату, и не могло быть, но почему этот самодовольный человек думает, что мне не безразлично, в чьи ненасытные карманы потечет эта неисчерпаемая нефть... в его — французские, или в такие же воровские — английские? Мерзавцы!.. Сколько гнуси и подлости увидел я за эти несколько дней, и как черно и отвратительно выглядели все эти продажные джентльмены в сравнении с моим славным и честным Бен-Кадыром.

Тяжелая и упорная мысль давила мое сознание. Я четко и ясно чувствовал, что между консулом и княгиней была не одна только влюбленность, а нечто бо̀льшее... Кто знает, разве на самом деле не может нефть «запачкать и белоснежные пальчики», как выразился Вильбуа?

(Продолжение следует).

Наталья Петровна Свирская [1]).

(Из неопубликованных рассказов, писанных в крепости).

Н. Г. Чернышевский.

— Достаточно для вас этого?

— Да.

— Так слушайте и записывайте.

Он стал записывать.

Иван Андреич Свирский был из помещиков самой средней руки. Имел своих душ 50, да за женой взял душ 30. Служил заседателем от дворянства в гражданской палате. Уж года четыре он был женат, и жил с женою так себе, ни дурно, ни хорошо, — больше хорошо, чем не хорошо.

Его мать, женщина еще не старая, довольно светская, неглупая, по общему мнению, никогда не была большой охотницей до его жены: Наталья Петровна не была покорной дочерью Прасковье Ивановне. Это не редкость в нынешнем свете. Но вот уже с полгода, Прасковья Ивановна присматривала за невесткой особенно зорко и, наконец, приступила к решительному объяснению с сыном:

— Иван, что нашептывает тебе жена? Она напевает тебе что-то недоброе.

Иван Андреич в этот раз долго отнекивался: он уже отбил много таких приступов.

— Нет, матушка, она не говорила мне ничего особенного.

---

1) Во время своего почти двухлетнего заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости Н. Г. Чернышевский написал, между прочим, целый ряд беллетристических произведений, из которых только одно — знаменитый роман «Что делать?» — было тогда же выпущено на волю и напечатано в 3—5 книжках журнала «Современник» за 1863 г. Вред, причиненный, по мнению властей, этим романом, побудил их держать прочие произведения крамольного автора под спудом, приобщив их к его «делу». Только революция 1917 г. открыла исследователям доступ к тайникам архивов департамента государственной полиции и позволила покойному Мих. Ник. Чернышевскому разыскать схороненные III отделением произведения его отца и снять с них копии. Оригиналы хранятся в настоящее время в переменном фонде архива Октябрьской революции в Москве.

Судя по пометкам на полях рукописи, рассказ написан Н. Г. Чернышевским в 1864 году.

Но теперь у Прасковьи Ивановны были уже довольно определительные подозрения, и сын принужден был сказать:

— Она жалуется на здешний климат; средства наши не позволяют думать ни о загранице, ни о каких водах; она и не требует этого, маменька; она просит только, чтоб я не препятствовал ей уехать пожить в нашу деревню.

Прасковья Ивановна не предполагала такой умеренности: она думала, что невестка хочет пофрантить зиму в Москве или в Петербурге, или что-нибудь такое; ответ сына озадачил ее. Молодая женщина хочет забиться в деревню, где нет порядочного соседства, ни балов, ни вечеров, ни танцев верст на сто кругом.

— Это странно, Ваня; какая ж причина? Здоровье — только пустой предлог. Она — здоровая женщина, — смотри, румянец какой! А грудь какая белая да полная, а руки какие!

Иван Андреевич не нашел ничего отвечать. Он конфузился. Он очень знал, какая причина; но как сказать? — Да и сам не знал, верить ли этой причине.

— Она ссылается на здоровье. А впрочем, судите, маменька, как хотите.

— Иван, надобно поговорить с нею хорошенько.

Сыну не хотелось. Еще раза два подобные разговоры кончались так; Прасковья Ивановна сердилась и бранилась, — и однажды молодая женщина потеряла терпение.

— Матушка, мы никогда не были с вами дружны; но все-таки не каждый день была у нас размолвка. Во всем я не могу угодить вам. У меня свой характер. Но вы привыкали было к этому, — а теперь стали придираться ко всякой мелочи, как еще никогда. Скажите прямо, чем вы недовольны? Если можно, то я уступлю, — вы знаете.

— Я недовольна тем, Наташа, что ты не имеешь доверия ко мне, не хочешь иметь мать твоего мужа твоею матерью; мать должна быть первым другом и советницей дочери.

— Маменька, почему ж вы так думаете? О нарядах я давно не спрашиваюсь вас; нынче совсем не тот вкус, какой был в ваше время. И вы уж не требовали этого в последнее время. О чем же еще? Какие у меня дела? Хозяйство в ваших руках, я не вступаюсь.

— Об нарядах что̀ говорить, Наташа; ты мужа не разоряешь; одеваешься хорошо, всегда отдам тебе справедливость. Есть дела важнее, Наташа. В них совет старщих мог бы быть полезен.

Наталья Петровна долго и пристально смотрела на свекровь: догадывается она или нет? — Смотрела и на мужа: рассказал он или нет? — Но Иван Андреевич, недурной собой, вялый блондин, имел не такое выразительное лицо, чтобы можно было разобрать, что написано на нем: «рассказал, и раскаиваюсь» или «хотелось бы устранить этот разговор, да как его устранишь?». А в глазах Прасковьи Ивановны можно было читать: «знаю, не проведешь». И в карих глазах Натальи Петровны блеснуло: «Если уже знаешь, то давай говорить».

— Матушка, вы заметили, что у меня идут какие-то объяснения с мужем? Вспомните свою жизнь: мало ли может быть между мужем и женою таких разговоров, о которых никому другому не следует знать? Я гордая, вы знаете. Мне тяжело и с мужем говорить.

— В моей жизни с покойным Андреем Ивановичем, Наташа, не было ничего такого, что я должна была бы скрывать от глаза его матери, которую уважала и любила, как родную мать.

— Мне нечего скрывать, вы это сами знаете; но я вам сказала, что есть вещи, о которых тяжело говорить. Ты молчишь, Иван Андреевич? Ты хочешь, чтоб я говорила с матушкою?

— Мы уже говорили с ним; остается нам переговорить с тобою, — сказала Прасковья Ивановна.

— Вы говорили с ним? О, как я рада! Зачем же вы, матушка, начали так сурово? Разве вы сомневаетесь в том, что я готова на все? Не я [ли] сама упрашивала его: «решай, как хочешь, выбирай какое хочешь место, для меня все равно, только спаси меня и себя».

— Что, что ты говоришь, Наташа? — с удивлением произнесла Прасковья Ивановна.

— Как, вы не понимаете? вы не знаете? он не говорил вам?

— Он говорил, что ты требуешь, чтоб он согласился отпустить тебя в деревню, и это показалось мне странно: что̀ делать молодой женщине одной в деревне? Одна там умрешь со скуки.

— Только? И не говорил вам больше? Он не сказал ничего. Спасите вы меня, матушка! Я прощу вам все. Вы мать, спасите честь вашего сына! Вы сама женщина, пожалейте женщину!

Наталья Петровна бросилась к свекрови, схватила и целовала ее руку.

По лицу Прасковьи Ивановны пробежало опять изумление; потом несколько раз менялось его суровое выражение. Сожаление, участие, уважение, любовь, подозрение, холодность, вражда боролись в ней, и она не знала, чему верить, на чем остановиться: обманывает ее Наталья Петровна или нет? Дорожит ли она честью ее сына, или ловко хитрит, чтобы тем свободнее изменять мужу? — Нет, нет, она не хитрит, — участие и уважение все сильнее и постояннее брали верх в уме Прасковьи Ивановны: она поцеловала молодую женщину, встала с дивана, обнимая ее талью:

— Наташа, вижу, что ты хорошая жена и дочь, — тебе легче будет говорить со мною одной, — пойдем ко мне, — и она повела ее в свою комнату.

Она подозревала, — была почти уверена, что невестка влюблена, — предполагала уж и интригу, может быть связь; но она думала, что невестка хочет удалиться от глаз мужа и ее, чтобы скрыть связь, — полагала, что, может быть, она уж и условилась с любовником, что он поедет вслед за нею, что, может быть, поездка в деревню даже только начало путешествия вместе с ним куда-нибудь подальше, что она уж условилась бежать с ним. — И — невозможно сомневаться, невестка хочет совершенно

не того: правда, она влюбилась, но она сама говорит мужу: «спаси меня от этой страсти, позволь мне удалиться, чтобы не видеть человека, который опасен для твоей и моей чести». Как хотите, это очень хорошо.

— Наташа, ты влюблена, мой друг.

— Нет, матушка. Но то же самое, такая же надобность уехать отсюда. Посмотрите, что бывает на всех балах, — вы не замечали, но я теперь говорю вам, — припомните же, и вы поймете.

Лицо Прасковьи Ивановны опять приняло недовольный, сердитый вид.

— Наташа, о чем ты говоришь?

— Как о чем, разве вы и теперь не понимаете, от кого я должна уехать?

— Нет, Наташа, я не понимаю, что̀ ты говоришь.

— Как не понимать? Но, если вы принуждаете, я скажу прямо: для кого был дан бал с иллюминациею, о которой писали во всех газетах? Для кого было устроено это гулянье на двух пароходах в Нееловку? Для кого теперь устраивается благородный спектакль, в котором я буду играть главную роль? Вы не замечаете этого? И не понимаете, к чему это?

— Владимир Борисович действительно оказывает тебе внимание, Наташа; но кто ж может видеть в этом что-нибудь кроме благородного, кроме такого, что делает честь тебе?

— Честь! А я вам говорю, что из этого выйдет мой позор, бесчестье мужу.

— Полно, полно, Наташа! Что это ты? с чего ты взяла это?

Если бы это было дело не прошлое, надобно было бы оставить в неопределенности звание Владимира Борисовича и другие частные черты обстоятельств. Но, — давно ли, недавно ли было это, — действующие лица не будут претендовать (может быть, и потому, что они вымышлены). Стало быть, можно сказать прямо, что Владимир Борисович был губернатор, еще «молодой человек» по своему месту, — лет 35 или 36, из очень хорошей, даже аристократической фамилии с огромными связями и небедной по петербургской довольно высокой мерке, а по провинциальному чрезвычайно богатой: тогда считали еще на души, и он имел больше 4 000 душ. Он был не очень хорош собой, но далеко не урод; человек холостой и богатый, ловкий, даже довольно блестящий, он имел много побед в своей губернской столице, а еще больше тайных и явных искательниц быть побежденными. Но в молодости он привык быть разборчив; был честолюбив и считал опасным подавать предлоги для скандальной молвы. Поэтому держал себя очень скромно в случаях побед, и в три года губернаторства имел еще одну только формальную фаворитку из благородных и разошелся с нею уже больше года перед тем временем, когда происходил этот разговор.

Он не был красавцем в молодости; ему было теперь 35 лет; но при всем том, какое ж было сравнение между ним, недурным собою человеком с отличною светскою выдержкою, и мужем Натальи Петровны, по-

нюхившим табак, — и не с безукоризненною опрятностью, порядочно игравшим в вист, недурно говорившим в канцелярском вкусе, потиравшим руки перед тем, как взять рюмку, приступая к закуске? Если б губернатор был гадкий старик, молодые лета Ивана Андреича значили бы что-нибудь. Но он, с своею чиновничьею наружностью, несколько помятою в прежних кутежах, казался годами двумя-тремя старше губернатора, всегда прекрасно причесанного, легкого, грациозного. Иван Андреич был даже полнее его, хоть и не дошел еще до 30 лет.

Или если бы Наталья Петровна любила мужа, хоть и не за что было особенно любить его,— но ведь бывают же и такие случаи, что привязываются люди ни с того, ни с сего, даже и жены к мужьям, не лучше Ивана Андреича, — или если [б она] была женщина идеально строгих понятий, или если б она имела любовника, — тогда не было бы ничего удивительного в ее желании удалиться от двора Владимира Борисовича. Но любовника у ней не было ни тогда, ни прежде. Было ли тогда сердце ее совершенно невинно, этого я не знаю, — или, если уж хотите полную правду, она была из тех людей, которые едва ли могут оставаться совершенно чисты сердцем среди гадкого общества: в ней не было ни детской наивности, которую сохраняют очень многие из нас навсегда, ни нежной, деликатной кротости, которая также не допустит дурных чувств в сердце, хотя бы бойкий ум и понимал зло; в ней не было сурового стоицизма, который также не редкость в женщинах. Вижу, что я говорю о ней нехорошо. Она извинит это, потому что знала всегда, что не принадлежит ни [к] одному из тех очень различных людей, которых я люблю. Она и [не] ждет от меня лестных для нее отзывов. Но я должен сказать, что она держала себя безукоризненно. Не только иметь любовника, — она даже не кокетничала. Это потому, что она была, — и осталась, — очень горда, она уважала себя; уважает и теперь, но не в том духе.

Или, если бы она хоть уважала мужа, — но за что ж бы стала уважать его женщина, женщина очень неглупая, более образованная, чем он, и несравненно более честная? — Честною женщиною я должен назвать ее.

Не любила, — не уважала мужа, — губернатор был гораздо лучше его, и, кроме того, губернатор, а не заседатель, — как же она хотела уехать в деревню?

Что сказать об этом? — Вы увидите, как она сама думала об этом.

Думала, — но про себя, не с мужем же было говорить такие вещи — и не с его матерью. Поэтому разговор с матерью любопытен разве с той стороны, как они обе не сказали друг другу ничего лишнего, хоть и договорились до ссоры.

Нечего рассказывать, чего не могли они высказать друг другу: тайна Прасковьи Ивановны и ее сына была тогда же видна всему городу. Расчет был очень обыкновенный: пусть губернатор волочится за Натальею Петровною; это очень хорошо для службы Ивана Андреича. Через год будут выборы. Дворяне жили очень хорошо с губернатором. Все тузы,

располагавшие голосами, видели в нем своего брата, богатого помещика, и были очень дружны. Он для них делал все; они не могли обидеться его просьбою за Ивана Андреича; а просьба будет: «господа, выберите его председателем гражданской палаты».

Это все так. Но вот что трудно понять: как же он и его мать полагали вести это дело? Смешно думать, но нельзя не думать, что они полагали вести дело на поцелуях ручки. Они рассчитывали на гордую твердость молодой женщины: «она не захочет забегать к нему потихоньку [будто бы] от мужа, вечер с ним, а после вечера опять к мужу, как делала землемерша». В этом они и не ошибались. Но как же они воображали выехать на поцелуях ручки в председатели? Что за невинность такая был Владимир Борисович? Дураком ли они его считали? 15-летним ли мальчишкою считали? Он был нисколько не похож на такого молодого и глупого теленка.

Этот расчет на силу благонравного кокетничанья нелеп до того, что почти невозможно верить ему. Но вы увидите, что муж и свекровь рассчитывали именно так. Одни слова их ничего не значили бы; но они доказали свою невинность поступками.

— Ты много забираешь себе в голову, Наташа. Владимир Борисович учтивый кавалер; обращает внимание на тебя как на молодую приятную даму, и больше ничего. Я не отнимаю у тебя ни ума, ни светской приятности; какому же образованному мужчине не бывает приятности в обществе молодых дам? Они должны держать себя так, как требует польза мужа. Если бы ты, Наташа, когда-нибудь подавала предлог сомневаться в строгости твоих правил, мать мужа твоего не стала бы говорить с тобою такими словами. Но ты не из числа легкомысленных молодых женщин, Наташа; потому я и рассуждаю с тобой по моей житейской опытности, будучи уверена, что из этого не может быть ничего, кроме хорошего для всех нас.

Они долго спорили: «я не хочу, чтобы в свете стали называть меня любовницей губернатора», говорила Наталья Петровна. Прасковья Ивановна возражала, что этого никогда не будет, что она, ее милая дочь, при своем уме и характере сумеет держать себя ласково с губернатором и, однако ж, не возбудить злословия.

Злословия! — Наталья Петровна боялась не злословия других, она боялась самой себя. Это самая любопытная черта дела. Если написать из этой истории роман, то нетрудно изобразить постепенное развитие чувства, возбуждавшего в ней опасение, очень подробно рассказать ее борьбу с самою собой; и, при некотором знании человеческого сердца, рассказ был бы, вероятно, довольно близок к действительной истории чувств и мыслей Натальи Петровны. Но это не роман.

— Почему ж это знать?

— Да, между прочим, можно видеть и по объему: не сотни страниц,— значит не роман; и даже не сотня, не полсотни, значит, и не повесть.

— Что ж это такое?

— Что бы ни было, но вы должны полагать, что выдуманный анекдот, которому придается вид действительного случая, для вашего развлечения. Поэтому не буду вдаваться в подробности, о которых не мог бы дать вам отчета, — я должен не прибавлять ничего к письму, которое показал вам.

— Оно важно. Его надобно поместить.

— Поместите. Можете даже сказать и то, что это письмо писано Натальею Петровною к одной из прежних подруг, родственник которой отдал вам его с ее согласия.

ПИСЬМО.

«Ты осуждаешь меня,***; и не можешь понять того, что я стану говорить тебе. В тебе нет властолюбия. Ты не можешь извинить меня. Как представишь себе привлекательность господства, если оно не привлекает тебя?.

Впрочем, это было не одно. Они с каждым днем становились мне более гадки. Ежеминутные попреки, и прямо, и намеками. Рассуждения о том, что мы небогатые люди. Каждое слово направлено все к этому.

Потом они даже стали теснить меня. Ты не поверишь, прислуге было показано, что она угодит им, делая мне неприятности. Если я возвращалась домой, когда они уже пообедали, — я убеждена, что часто они нарочно торопились [с] обедом, — я два часа не могла дождаться, чтобы подали мне. И потом, что̀ подавали мне! Кучер, лакей стали со мною грубы до несносности. Управляющий именьем перестал высылать мне деньги. Буквально говорю тебе, я испытала нужду. Я иногда была голодна. У меня не было денег на перчатки.

Ты осудишь меня, несмотря на это. Но характер мой не я дала себе. Ты перенесла бы. Я не могу.

Могла ли бы ты не презирать их? Могла ли бы ты не возненавидеть их? Я хотела мстить. — «Это дурно». Брось свою мораль. Мало ли что̀ дурно, но когда человек не может подавить в себе желания мстить? Не всем быть овечками, как ты. Если бы мы жили в Италии, в старину, я наняла бы бандита; но у нас умеют только воровать. Как я могла отомстить им? И вот, я взяла власть.

Целую тебя, моя овечка».

* * *

Да, через несколько месяцев, когда губернатор уж терял надежду, Наталья Петровна вдруг отвечала на его нежные речи:

— Чего вы добиваетесь от меня? Чтоб я была вашею любовницею?

— Нет.

— Если я была девушка или вдова, женились ли бы вы на мне?

Он стал уверять.

— Лжете. Или — можете доказать противное?

— Чем?

— Вы должны отделать для меня половину в вашей квартире. Я не могу носить вашу фамилию, — но я хочу быть губернаторшею. Если вы согласны на это, — я очень рада.

Город удивлялся, для кого губернатор стал отделывать будуар и другие такие комнаты, будто собирается жениться. На ком же? Ни на ком. А между тем ехали из Петербурга мебель, обои, — явились, наконец, три горничные, — обратились к ним: «Кому служить вы наняты?» — «Ничего нам не сказано». Тогда догадались, что губернатор, ездив за полгода перед тем в Петербург, сошелся там с одною француженкою, — сообразили и имя француженки; очень скандализировались этим целую неделю, — а через неделю ахнули: губернатор пригласил к себе обедать человек тридцать гостей; гости собрались; сидели, говорили. Пробило 4 часа. Подъехала карета; растворились двери, в зал вошла Наталья Петровна, сняла перчатки, положила веер на маленький стол у зеркала, — обернулась к прислуге и сказала: «подавайте кушать», — потом к гостям: «милости прошу, господа», — подала руку ближайшему из почетнейших гостей, — все пошли за ними в столовую, не веря своим глазам и ушам.

Через месяц председатель гражданской палаты объявил Ивану Андреичу, что просит его подать в отставку, потому что иначе губернатор даст предложение о предании его суду за взятки.

Через неделю он и его мать удалились в деревню, в которую не хотели отпустить Наталью Петровну.

* * *

— Это напоминает историю г-жи Монтеспан.

— Напоминает.

— Это переделка ее?

— Есть важная разница: г-жа Монтеспан не мстила мужу. И я не помню что-то, была ли у нее свекровь и участвовала ли в мерзком отказе мужа.

— И я не помню, была ли свекровь. Но остальное — все так, и ее характер, — то есть Натальи Петровны, — тот самый.

— Да.

— Сознайтесь же: это переделка истории г-жи Монтеспан.

— Нет.

— Это выдумка.

— Нет.

— Это скандал, если так.

— Нет.

— Что же это такое?

— А зачем вам знать?

Рождение профессии.

I.

Профессия в тучах была начата,
С мотором в четыреста сил,
Пред ней бы в страхе упал камчадал,
И скептик язык прикусил.

Врезаясь в небес циклонический лед,
В пахмурые Альпы сознанья,
Как нового племени — веха, встает
Линейного летчика званье.

Отныне он — птица-ремесленник (ястреб),
Его глазомер, оперенье
Прохладны и вольны, он больше не властен
Земли уважать тяготенье.

Восходят клиенты, тюки, сослуживцы,
Без риска, без песни, без грусти —
Он с ними взлетит равнодушней выстрела,
Скучней карабина — опустится.

Профессия качается в люльке богатой,
Ликуют родители — нянька поет,
И машет музейным своим экспонатом
Икар с профсоюзных отныне высот.

II.

Глубин воздушных ковы,
Клиентов недоверье —
Они сидят, как совы,
Захлопнутые дверью.

Но вот родится этика,
За ней идет героика,
Суха, как арифметика,
Быстра, как землеройка.

Клиенты овоздушены,
И летчики не те,
Не те глаза и уши
Горят на высоте...

Они изменники уже,
Они уже предатели —
Не по-земному свежи
Слова, рукопожатья их.

Ремесленной отметкой
Гордясь, как простотой,
Они вдруг стали предками
Людей — впервые мыслимых,
Живущих н а д землей.

III.

С годами все крепнет воздушная рать,
Поклонники птичьих ремесел
Спускаются землю свою повидать
К зиме лишь, в глубокую осень.

И здесь штурманами далеких морей,
Отвыкнув от улиц мычанья,
Они, как плакаты, в дыму фонарей
Терзаются вихрем молчанья.

Чудно бормотать, что для них города —
Ажурные доски — и ниткой
Протянуты воды — лесная орда
Не больше хохлатой кибитки.

Привыкнув к теплу металлических стен,
Раздвоив сознанье — сверяя
С воздушной цельностью — хрупкий размен
Всех чувств подножного рая,

Они костенеют, соблазн отводя,
Припомнив, как грудь самолета
Рвет пестрые поясы, шарфы дождя —
Иль пляшет заря в поворотах.

IV.

Их матери и жены
(Рыбачки моря вышнего)
Выходят ждать неслышно,
Заботой нагружены.

И ждут, как в волны, вперив
Глаза в простор упавший,
Блеснут ли вихрем перья
На птице запоздавшей.

Их дети лишь с крылатыми
Игрушками знакомы,
И, как ангар, покаты
Их легкие хоромы.

Хоромы разбазарены,
Что кельи мореплавов!
Любовницы одарены
Налево и направо.

Линейный летчик высится
В пересеченьях неба,
Как некогда — в ту высь лицом,
Колумб — всех Индий требуя.

V.

И вот уже в архив семей
Внесены деды-летчики,
Отцам на смену — у рулей
Встают сыны-молодчики.

Ворчат в креслах старики,
Глазами небо обегая,
Галлюцинируя с тоски,
Что к ним идет гроза нагая,

Швыряет смаху самолет —
— Эй, люди, — стой! не место страху!
Старик, помолодев, встает
И в кресло рушится сразмаху.

И кладбище пропеллеров
Висит меж небом и землею.
Как бы условный некий ров
С ненасыщаемой судьбою.

Профессия старится, как все,
Седеют сказки в профсоюзе,
Идут, как спицы в колесе,
Как колесо — в служебный узел.

Николай Тихонов

Дом.

Над стадионом Ленина
Погасли фонари,
Окрестности уверенно
Пустеют до зари.

Безбрежный дом при луне
Сам собой любуется,
Светом окон выжег снег
На Зверинской улице.

Грозен отданный годам
Скопидом фатальный,
Кафедральный чемодан,
Замок феодальный.

Днем полон, что литавры, он
Толпою шумовой,
Балконы, как метафоры,
Висят над головой.

Лишь ночь — в семейных прерьях
Дикарский бубен сна,
Храня, чадит поверьями
Квартирная страна.

Лишь кой-какой ремесленник
С отеками у глаз,
Под лампою невесело
Страдает на заказ.

Лишь кой-какой партийный,
Теряя сон и вес,
Тропою паутинной
В отчетный входит лес.

Колышет небо желтый шаг,
Идя с окном бок-о-бок —
Луна! я, может, старый враг
Всех комнатных коробок.

А сей ковчег — он просто слеп,
Хоть обломай все пальцы:
Наши линии судеб
Не пересекаются.

Я трижды выдумаю сам
Людей, чем изучать их
По лживым, комнатным кускам
По шороху, по платью,

По ветхой ночи столбовой
В безбрежьи кирпича...
Удар рассказа громовой,
Открыв окно, встречай.

Встречай и радуйся, что он,
Сын вымысла, стучит,
Как ты, в кирпичный небосклон
И рушит кирпичи.

Николай Тихонов

Шахтинский процесс.

Г. Крумин.

О чем свидетельствует Шахтинский процесс с точки зрения развития основных социально-политических процессов в нашей стране? Шахтинский процесс является ярким свидетельством того, что классовая борьба в нашей стране продолжается и что на 11-м году пролетарской диктатуры она снова даже несколько обостряется. Процесс свидетельствует, что внутренняя буржуазия — старая и новая — и социально близкие к ней слои не потеряли надежды на свержение советской власти и вели за последние годы все более активную работу в этом направлении. Шахтинский процесс является весьма ярким свидетельством того, что международная буржуазия в борьбе с советской властью ни на минуту не складывала оружия. В своих отношениях с Советским Союзом капиталистический мир переживал разные периоды, начиная от прямого военного столкновения, кончая признаниями в либерально-пацифистскую эру, начиная от теории прямой интервенции, как единственного способа борьбы с вырастающим социалистическим государством, кончая теориями о постепенном внутреннем перерождении советской власти, в результате какового советское государство приобщится к семье «культурных» капиталистических стран. Но все эти периоды пронизывает звериная ненависть капиталистов к строю пролетарской диктатуры. В борьбе с советами международная буржуазия гибко меняет методы, она настойчиво, с жертвами, строила и строит контрреволюционную организацию, которая, как спрут своими щупальцами, охватила основной район — Донбасс, и важнейшую отрасль хозяйства — каменноугольную. На судебном следствии один из руководителей московского центра контрреволюционной организации рассказывал о 40 тыс. руб., получаемых ежемесячно для контрреволюционной организации только в угольной промышленности. Буржуазия бросала из своих прибылей не малый куш на дело создания и укрепления контрреволюционной организации внутри Советского Союза, на дело развития вредительской работы. Ведь игра стоит свеч! В случае успеха буржуазии обеспечен возврат многомиллиардной собственности, национализированной советами, возврат под иго капиталистической эксплоатации 150-миллионного народа и — главное — падение советской власти, этого очага революционной заразы.

Мы знали и знаем, что в переходный период классы остаются, следовательно, имеет место и классовая борьба. Но, увлеченные строительством, мы подчас недостаточно учитывали в ежедневной практической работе формы и характер этой борьбы. Классовая борьба не развивается по прямой линии изживания смягчения, — она развивается зигзагообразно. На нынешней ступени развития вытесняемые социалистическим сектором частно-капиталистические элементы оказывают усиленное сопротивление, и налицо обострение классовой борьбы.

В нынешний период имеют даже место некая консолидация буржуазных взглядов и попытки наступления буржуазной идеологии на идеологию социалистического строительства. Шахтинский процесс свидетельствует, что корни классовой борьбы лежат глубже, чем, может быть, многим из нас казалось. Методы классовой борьбы оказываются значительно разнообразнее. Классовый враг сидит в наших органах глубже, чем думали многие из нас.

Внутри нашей страны капитализм имеет своих борцов в лице бывших владельцев и целого слоя квалифицированного инженерства. Сами эти инженеры весьма выразительно обозначили себя, как обер-офицеров капитала. Действительно, в лице прежде привилегированной верхушки квалифицированного инженерства капитализм имел своих обер-офицеров, служивших ему верой и правдой. При капитализме они выделялись своим высоким жалованьем, тантьемами. В ряде случаев они прямо врастали в класс капиталистов, имея до войны крупные сбережения и являясь акционерами предприятий. Их контрреволюционная деятельность в настоящем стимулировалась, между прочим, обещаниями хороших директорских местечек после возврата капиталистов. Среди того слоя лиц, который прошел перед судом, были и обыватели, корнями вросшие в капитализм, были и шкурники, пытавшиеся служить и капиталистам и советской власти, но были и идейные враги, беспощадные враги нового строя. Один из них — Горлецкий — весьма выпукло формулировал политическую цель, к которой стремились контрреволюционеры: диктатура пролетариата должна уступить место другой власти — власти «частного собственника — капиталиста, рабочего и крестьянина». Выраженная здесь мысль совершенно ясна: речь идет о свержении советской власти и о восстановлении политической власти капиталистов. С полным правом можно повторить характеристику, данную видным деятелем совета с'езда горнопромышленников Юга России, — Б. Соколовым, что вредительская организация является «передовым отрядом капитализма в Советском Союзе».

Буржуазная контрреволюционная организация об'единяла всяческие оттенки политических взглядов. Здесь мы встречаем и махровых черносотенцев — матерых мордобойцев, бывших октябристов и кадетов, сменовеховцев, а также и социал-демократов. Разве можно себе представить «передовой отряд капитализма», ведущий борьбу с властью рабочих, без социал-демократов? Конечно, нет. Таким образом, Шахтинский процесс лишний раз выявляет истинное лицо социал-демократии, как третьей буржуазной партии, являющейся серьезнейшей опорой капитализма.

Классовый враг создал в нашей стране стройную и сильную организацию. Было бы неправильно недооценивать ее силы. Вредительская организация опутала своей сетью целый ряд рудоуправлений в Донбассе, захватила в свои руки основные отделы в Донугле, выделила свой харьковский центр, собиравшийся достаточно регулярно и руководивший работой периферии. За последние годы организация оформила и свой московский центр, к которому перешли функции поддержания связи с заграницей и установление связей с другими отраслями промышленности. Организация имела также свой шифр. Мало того. В некоторых местах она захватила и общественные организации — так называемые инженерно-технические секции при профсоюзах.

Такова социально-политическая сторона, ярко вскрытая на Шахтинском процессе.

Судебное следствие, проходившее более месяца перед страной и всем миром, в условиях самой широкой гласности, неопровержимо доказало основные факты и утверждения, выдвинутые до процесса прокуратурой. Наличие широко разветвленной контрреволюционной организации вредителей никто не осмелится в настоящее время брать под сомнение. Неопровержимо доказано, что основной нерв, мозг этой организации находился за границей. Все нити тянутся к организациям бывших собственников и промышленников, обосновавшихся, главным образом, в Париже. Директивы приходили оттуда. Оттуда же притекали и денежные средства для поддержания членов организации и развертывания вредительской работы. Доказано наличие громадного саботажа и вредительства. Выявлены вопиющие безобразия в области импортного оборудования. С исчерпывающей полнотой вскрыты перед рабочими и крестьянами программа и методы работы контрреволюционной вредительской организации буржуазии.

Программа и методы вредительской организации претерпели на протяжении истекших лет определенное развитие. В начале, в первый период после установления советской власти, в самом конце 1920 и в 1921 годах мы имеет дело с директивами отдельных владельцев рудников. Наиболее дальнозоркие из них уже тогда, в целях сохранения ценных недр, давали директиву затопления шахт. Такие затопления, проведенные еще в 1921 году, и прошли перед судом. Интересы отдельных капиталистов или групп капиталистов подчас враждебно сталкивались между собой. На суде вскрылась история с восстановлением Пастуховской шахты за счет другой шахты — Берестовской, разрушенной и затопленной. Инженеры, ставленники той или другой группы капиталистов, боролись за овладение этими шахтами, чтобы проводить на них директивы своих хозяев. В данном конкретном случае победила сторона, которая провела директиву восстановления и оборудования Пастуховки за счет шахты Берестовской, лучшей и по качеству угля, и по оборудованию. Но это, повторяем, первоначальный период в жизни и развитии буржуазной контрреволюционной организации. С течением времени индивидуальные интересы отдельных капиталистов или групп капиталистов отходят на задний план и их место занимают обще-

классовые интересы буржуазии. Развитие, таким образом, совершается от индивидуальных директив отдельных собственников к общеклассовой программе буржуазной контрреволюции в нашей стране. В деятельность возникающей организации тем самым вносится стройность и единообразие. Следовательно, оценивая Шахтинский процесс и многообразную деятельность буржуазных вредителей, мы тем самым оцениваем политическую и социально-экономическую программу класса буржуазии. Это первое, что должно быть отмечено при анализе деятельности вредительской организации.

Второе положение, выдвигаемое нами, сводится к тому, что деятельность организации развивалась по линии усиления вредительской деятельности и обострения методов вредительства. Действия организации становятся все агрессивнее по мере того, как Советский Союз переходит от восстановления к реконструкции. И в этом нет ничего неожиданного. Ведь если рабочий класс проведет успешно страну и через реконструкцию, через период постройки нового технического базиса общества, тогда дело буржуазии будет проиграно окончательно. Поэтому по мере того, как советская власть с большим успехом заканчивает восстановление и переходит к полной реконструкции хозяйства, в частности — к созданию нового Донбасса, — буржуазия ставит в порядок дня взрыв и срыв социалистического строительства. Все слова о перерождении летят к чорту — они уступают место взрывной работе, которой во время интервенции соответствуют мероприятия по разрушению электростанций, приостановка водоотлива и т. д. За последние годы центр вредительской работы передвигается в область капитального строительства.

Третье обстоятельство, которое нужно иметь в виду при анализе программы и деятельности вредительской организации, заключается в том, что вредители в своей работе начинают руководствоваться более широким перспективным планом. Они проводят свою работу не только с точки зрения минуты, данной конкретной кон'юнктуры, но увязывают ее с более длительной стратегией империалистов в отношении Советского Союза. Работа вредительской организации в Советском Союзе увязывается с «перспективным планом» буржуазии, рассчитанным на новую военную интервенцию.

И, наконец, четвертое обстоятельство, долженствующее быть отмеченным, заключается в том, что от известной политической пассивности в начале, вытекавшей из надежды на быстрое падение советской власти, вредители приходят к ярко очерченным политическим задачам и целям. Вредительская организация за последний период своего существования является ярко выраженной политической организацией российской буржуазии. Основная установка вредителей заключается в свержении советской власти. А в условиях, когда борьба развертывается между государством трудящихся, где политическая власть принадлежит рабочему классу, и капиталистическими государствами, деятельность вредительской организации неизбежно принимает предательский, шпионский характер.

Эти четыре линии развития деятельности вредительской организации раскрывают перед нами истинное лицо буржуазной контрреволюции.

В развернутом и зрелом виде программа буржуазной контрреволюции состояла из следующих 7 пунктов: 1) сохранить в неприкосновенном виде более ценные недра и машины для эксплоатации в дальнейшем прежними владельцами или концессионерами; 2) противодействовать, елико возможно, восстановлению и развитию добычи; 3) довести рудничное хозяйство Донбасса до такого состояния, при котором советское правительство было бы вынуждено сдать рудники в концессию иностранцам или капитулировать перед иностранным капиталом; 4) срывать капитальное строительство и строительство нового Донбасса; 5) в случае войны, помогать врагам Советского Союза расстройством тыла, прекращая добычу и разрушая или затопляя рудники Донбасса, останавливая электростанции и водоотлив, добиваясь расстройства всего транспорта и т. д.; 6) вести пропаганду против советской власти; 7) добиться в результате всего этого падения советской власти и восстановления власти капиталистов.

Я не буду здесь подробно анализировать методы работы вредительской организации. Мне пришлось на этом подробнее остановиться в своем выступлении на процессе. Сейчас я освещу лишь совсем кратко узловые моменты.

Вредители ставили своей целью елико возможно тормозить восстановление. В интересах бывших хозяев они скрывали наиболее ценные пласты. В целях задержки добычи они затопляли шахты и портили механизмы. Они проводили, по выражению обвиняемого Нашивочникова, не признавшего своей вины, «форменный вандализм» в области механизации, в деле использования врубовых машин. Вредители стремились проводить механизацию таким образом, чтобы не допускать повышения производительности человеческого труда, следовательно, и понижения себестоимости. Вредители проводили механизацию навыворот, так, чтобы «два человека с врубовой машиной выработали даже меньше одного человека вручную» (из показаний обвиняемого Калныня). Вредители всемерно тормозили процесс восстановления. И какую поистине жалкую картину наблюдаем мы, когда на суде вредители делали попытку спрятаться за успехи восстановительного периода и, опираясь на них, умалить свою вину. Вредители ставили своей задачей не допускать использования преимуществ социалистического строительства, которые в основном и обусловили быстрый темп восстановления в Советском Союзе.

Эта многосторонняя деятельность вредителей была направлена на то, чтобы не допускать снижения себестоимости промышленной продукции. А ведь себестоимость промышленной продукции является фокусом, куда сходятся основные нити хозяйства. Успешное снижение себестоимости означает создание основных предпосылок для успешного капитального строительства и для ускорения темпа индустриализации. Успешное же снижение себестоимости промышленной продукции укрепляет классовый союз рабочих и крестьян. Вредители направляли свои усилия по линии себестоимо-

сти и тем самым ставили себе далеко идущую задачу — сорвать индустриализацию Советского Союза и рассорить крестьянство с рабочим классом. Во главе социалистической рационализации, являющейся основным путем снижения себестоимости, вредители ставили Колодубов. Колоритная фигура Колодуба, вышедшего из среды мещанства и сумевшего на невиданной эксплоатации труда рабочих сколотить себе капитал — эта фигура прошла перед судом весьма ярко. Колодуб явно не имеет никаких точек соприкосновения с социалистической рационализацией, «блюсти» интересы которой он был поставлен вредительской организацией.

За последние годы центр усилий вредителей направляется по линии капитального строительства. Их основной целью становится — с о р в а т ь с т р о и т е л ь с т в о н о в о г о Д о н б а с с а. И если вредителям удастся взять под свой контроль капитальное строительство в Донбассе, то тем самым они контролируют будущий об'ем производства, с одной стороны, и качество социалистического строительства, с другой. Тем самым они определяют успешность снижения себестоимости на целый ряд лет вперед. Цена же угля входит, как ценообразующий фактор, в продукцию всех отраслей народного хозяйства. Именно в виду такого громадного и определяющего значения капитального строительства вредители сосредоточили все свои усилия на овладении им, овладении той организацией, которая должна была руководить строительством нового Донбасса. По директивам капиталиста Прядкина из-за границы, Управление новым строительством Донугля должно было «быть квинт'эссенцией организации, каковой оно фактически и было». Как известно, заведующий Управлением нового строительства и руководитель харьковского центра вредительской организации были об'единены в одном лице. Такую структуру вредительской организации приходится признать весьма целесообразной.

В области капитального строительства вредители ставили себе диаметрально-противоположные задачи, чем советская власть. Они добивались возможной отсрочки приступа к новому строительству; они стремились растянуть это строительство во времени, проводить его наиболее неэкономно, так, чтобы не получилось снижения себестоимости; они ставили своей задачей разбросать средства на большее число строительных единиц, добиваясь максимального увязывания материальных и финансовых средств. Эти задачи они осуществляли многоразличными способами. В области проектирования, во главе которого точно так же стоял один из руководителей харьковского центра, вредительская организация создавала путаницу, всемерно растягивала составление проектов, по нескольку раз переделывала таковые и т. д. До чего рафинированными были действия вредителей, видно из того обстоятельства, что организация на одном из своих заседаний приняла специально постановление о том, чтобы замедлить ход проектирования и в Югостали, где проекты, оказывается, проходили несколько быстрее. Месторасположение новых шахт выбиралось самым преступным образом, без предварительных серьезных разведок. Строительство в ряде случаев начиналось без проекта. Оборудование выписывалось до подробной разра-

ботки проекта и т. д., и т. п. Цель вредительской организации заключалась в том, чтобы скомпрометировать в глазах широких народных масс диктатуру рабочего класса, как неспособную руководить созданием нового Донбасса и строительством новой технической базы вообще. Затяжкой в области капитального строительства вредители должны были добиться того, чтобы новые рудники пустить в разработку уже после падения советской власти.

Для деятельности вредительской организации весьма характерно стремление прислонить свою работу к политике советской власти. Вредительская организация, исходя из очередных директив советской власти, стремилась извратить их в ту или другую сторону, чтобы путем такого извращенного проведения в жизнь их срывать. Я покажу только на двух примерах, как вредители пытались прислониться к политике советской власти и извращенным проведением сорвать правильные директивы. Первый пример — из области мелкого шахтного строительства. Ведь директива о развитии добычи на мелких шахтах, данная в 1925/26 году, была совершенно правильная. Только путем развертывания мелких шахт можно было заполнить тот дефицит, который имел место в топливном балансе страны. Кроме того, нужно учесть и то обстоятельство, что развертывание работы на мелких шахтах, давая быстрый эффект, требует значительно меньшего вложения средств. Конечно, в центре внимания советской власти всегда были и остаются крупные каменноугольные шахты. Только крупные шахты и крупное шахтное строительство являются действительно прочной базой Донбасса. Добыча на мелких шахтах может и должна играть лишь вспомогательную роль. Вредители, однако, совершенно по иному подошли к мелкому шахтному строительству. Они пытались перенести центр тяжести на мелкие шахты. Ценные пласты и крупные шахты должны были оставаться к моменту возвращения старых хозяев. Обер-офицеры капитала знали, что старые хозяева мелкими шахтами не интересовались и что развитием мелкого шахтного строительства будет нанесен наименьший вред их интересам. Это — во-первых. Во-вторых, увлечением в области мелкого шахтного строительства вредители достигали ухудшения качества угля. Ведь мелкие шахты закладывались на тонких пластах, на пластах худшего качества и т. д. В-третьих, тем самым наносился вред всему народному хозяйству, которое вынуждалось потреблять уголь худшего качества. Тем самым ослаблялась позиция советской страны сравнительно со странами капитализма. В-четвертых, извращенным развитием добычи на мелких шахтах создавались препятствия на пути к снижению себестоимости. Ведь мелкие шахты могли конкурировать с крупными лишь в силу нерационального, хищнического своего хозяйства, лишь только при невиданной эксплоатации рабочей силы. И наконец, в-пятых, разработкой угля на мелких шахтах в настоящее время вредители думали устранить нежелательного конкурента в будущем, при возвращении власти старых хозяев. Таким образом, мелкое шахтное строительство и добыча на мелких шахтах из вспомогательной силы, помогающей советскому хозяйству изживать трудности

роста, должно было, по мысли вредительской организации, превратиться в силу враждебную, приводящую к подрыву каменноугольной промышленности, к подрыву советского хозяйства. Я не буду останавливаться на чрезвычайно красочной деятельности вредителей в области мелкого шахтного строительства, широко развернувшейся перед судом.

Вредители сделали также на суде попытку прислониться и к советской концессионной политике. Ведь и советская власть стремилась к концессиям, и поэтому соответственными действиями вредители, мол, наносили минимальный ущерб советскому хозяйству. Кое-кто из вредителей пытался даже указывать на приносимую этим советскому хозяйству пользу. Однако и здесь вредителям не удастся прислониться к советской политике. Ведь советская концессионная политика стремится к тому, чтобы развернуть концессии в помощь, в дополнение к государственной социалистической промышленности. Советская власть развивает концессии постольку, поскольку не хватает в стране внутренних капиталов и поскольку нужно ускорить темп развития. Во-вторых, концессии могли бы передать социалистическому государственному хозяйству опыт и технику передовых стран капитализма. В-третьих, советская власть развивает концессии постольку, поскольку командные высоты в хозяйстве и командные высоты в данной отрасли промышленности твердо остаются в государственных руках. Именно в силу концессий советская власть ставит своей задачей еще крепче забрать в государственные руки все ключи хозяйства, ибо советская власть ни на минуту не забывает, что концессии есть новая форма классовой борьбы. Абсолютно не таков подход и цели вредителей. Они выдвигают концессии вместо государственного хозяйства, в результате провала социалистического строительства. В концессиях они видят замену государственному социалистическому хозяйству. Они ратовали за передачу в концессии именно основных ключей хозяйства — тяжелой индустрии. В своей практической работе они стремились к тому, чтобы передать в концессии рудники с наиболее ценными пластами. Наконец, вредители с радостью ждали концессий, усматривая в них этап на пути к возврату капитализма. Действительно, нельзя себе представить существования советской власти при провале государственной социалистической промышленности и при отдаче в концессию основных ключей хозяйства и командных высот.

Маневр вредительской организации, направленный к тому, чтобы прислонить отдельные важные пункты своей программы к программе и политике советской власти, был неизбежно разоблачен. Но на этот весьма характерный прием в деятельности вредительской организации советские строители обязаны обратить все свое внимание. Ведь враг и на будущее время остается внутри наших организаций и впредь будет прибегать к тем же методам. Он и в дальнейшем будет пытаться проползти в щели ведомственных разногласий и использовать в своих целях споры между центром и местами, всячески раздувая эти разногласия и споры до пределов разногласий принципиальных. Поэтому ухо советского строителя должно быть весьма чутким. Оно обязано чутко улавливать классово-чуждые советскому

строительству ноты и нотки. Процесс учит нас тому, чтобы тщательно взвешивать каждый свой шаг, чтобы тщательно следить за исполнением директив, скрупулезно отмечая все те враждебные наросты, которые получаются в реальной жизни при проведении прекрасно сформулированных директив. За исполнением наших директив мы следить еще не научились. Шахтинский процесс требует, чтобы весь большевистский напор был обращен на действительно серьезную проверку исполнения. Проверка исполнения — вот чему мы обязаны научиться.

В чем основной политический и социально-экономический смысл деятельности вредительской организации? Основной смысл деятельности вредительской организации состоит в неустанной борьбе против социалистической индустриализации. А ведь индустриализация страны есть генеральный путь развития. С успешной социалистической индустриализацией связан рост и укрепление независимости и самостоятельности нашей страны. Поэтому тот, кто работает против индустриализации, — работает тем самым против независимости и самостоятельности страны, за ее закабаление и распродажу.

Вредительская организация всемерно боролась против социалистической индустриализации. Зависимость Советского Союза от капиталистического мира является наибольшей в области машиностроения. Именно в силу слабости внутреннего машиностроения, советская власть направила за ряд последних лет значительные усилия на этот участок фронта. Вредители же ставили своей задачей помешать укреплению советского машиностроения. Перед судом прошла печальная история с советской врубовой машиной: между ней и советской шахтой, оказывается, стояла вредительская организация. Вредительская организация не допускала советскую врубовую машину на советскую шахту. Она заранее решила опорочить ее, несмотря на удовлетворительную работу последней. В области угольной промышленности вредители стремились дезорганизацией капитального строительства довести ее, а следовательно и все хозяйство, — до кризиса. Таким образом, вредители стремились дезорганизовывать две основных отрасли тяжелой индустрии, а одновременно и основу всего хозяйства — угольную и металлическую промышленность. Вредительская организация тем самым подрывала обороноспособность Советского Союза. Такая деятельность вредителей неизбежно толкала Советскую Россию на аграрный путь развития, с неизбежностью превращала Советский Союз в аграрный придаток к капиталистическому Западу. А это как раз и лежит в основе знаменитого плана Дауэса, который только при этом условии лишается одного из важнейших внутренних своих противоречий. Таким образом, буржуазная контрреволюционная организация работала на дауэсизацию нашей страны. Деятельность ее направлялась против независимости и самостоятельности Советского Союза, за распродажу, за хозяйственное и политическое закабаление его. Деятельность буржуазной организации воочию доказывает широчайшим кругам народа, интеллигенции и специалистам, что независимость

и самостоятельность нашей страны органически сплелись с наличием Советской власти. Тот, кто идет против советской власти, идет одновременно и против независимости нашей страны. Нет никакой возможности оторвать эти два элемента друг от друга.

Шахтинский процесс с полной убедительностью вскрыл еще один чрезвычайно важный в хозяйственном и социально-культурном отношении момент. Процесс доказал, что знамя технического прогресса находится в руках вырастающего социализма. Блестящее же квалифицированное инженерство Донбасса работало в направлении задержки технического прогресса. Его ежедневно сверлила мысль о том, как бы задержать добычу, как бы не допустить снижения себестоимости и как бы испакостить строительство нового Донбасса. Профессиональное чувство каждого честного техника и инженера становится в полное противоречие с такой деятельностью буржуазной контрреволюционной организации. Шахтинский процесс, бесспорно, даст сильнейший толчок к тому, чтобы массы честного инженерства еще сильнее, еще быстрее подтянулись к социалистическому строительству, к диктатуре рабочих, на знамени которой написан технический прогресс и невиданный доселе расцвет производительных сил. Великий народный трибун — Лассаль — почти 70 лет тому назад говорил о союзе науки и народа, науки и рабочих — этих двух элементов, которые остались великими, свежими и способными к развитию. Лассаль предсказывал, что этот союз раздавит в своих железных об'ятиях все препятствия, стоящие на пути к культуре. Ныне союз между рабочим классом и наукой становится фактом. Рабочий класс и наука, научная техника, сливаются воедино в жизненном опыте, в жизненной практике, и нет силы, которая могла бы противостоять этому союзу.

Велики прегрешения вредителей перед Советским Союзом. Суд вынес им, однако, спокойный и даже мягкий приговор. Суд постановил о безусловном расстреле всей шпионской группы, осудив остальных инженеров на более или менее длительные сроки тюремной изоляции. Нужно признать, что эти меры социальной самозащиты социалистического государства являются вполне целесообразными. Этот приговор суда свидетельствует о силе и прочности диктатуры рабочего класса. Этот приговор стал возможен в условиях полного морального разложения отдельных членов вредительской организации. Они вынуждены были склонить свои головы перед успехами социалистического строительства. Последние слова всех подсудимых — это просьба о пощаде и о предоставлении им возможности дальнейшей работой хоть частично загладить свои преступления. Своим приговором пролетарский суд, с корнем вырывая буржуазную организацию, дает вместе с тем возможность отдельным инженерам использовать в будущем свои знания и свой накопленный опыт в практической работе на пользу всего народа.

Какие практические выводы диктует советскому строительству Шахтинский процесс? Шахтинский процесс заставляет со всей силой обратиться к тем условиям, которые делали возможной многолетнюю работу вредительской организации, оставаясь не выявленной для органов рабочего государ-

ства. Процесс со всей силой вынуждает работать в направлении всяческого изживания этих условий.

Основной практический урок, бесспорно, пролегает по линии мобилизации классовых сил — мобизации усилий широких масс рабочих и крестьян, мобилизации работы массовых организаций рабочего класса и крестьянства. Рабочий класс должен еще ближе стать к производству. Чувства хозяина должны быть в нем еще больше укреплены. Дело организации самокритики должно быть подвинуто вперед семимильными шагами. Органы, посредством которых широкие массы рабочих участвуют в хозяйственном строительстве, — производственные совещания и др. — должны быть всячески укрепляемы и развиваемы.

Шахтинский процесс выявил оторванность профсоюзных организаций от масс, чувствовавших неполадки в хозяйстве Донбасса и обращавших на них внимание своих организаций. Однако профессиональные союзы не сумели выявить эти настроения масс, не обращали на эти настроения должного внимания. Шахтинский процесс настоятельно требует дальнейшего решительного развертывания пролетарской демократии.

Бдительность наша к деятельности классового врага внутри страны, внутри наших организаций должна в несколько раз возрасти. Здоровая пролетарская недоверчивость в отношении к буржуазным специалистам, несколько приглушенная за ряд последних лет, должна быть снова усилена. Должен быть развернут массовый контроль над работой буржуазных специалистов. Все строители советского хозяйства обязаны каждый в своей работе помнить о новой полосе во взаимоотношениях капиталистического мира с Советским Союзом и о подготовке военной интервенции со стороны капиталистического мира. Строители советского хозяйства обязаны каждодневно помнить, что классовый враг употребляет и употребит все приемы, пустит в ход все, что есть самого подлого, чтобы сорвать столь ненавистное ему социалистическое строительство. С удвоенными, утроенными силами должна быть развернута дальнейшая борьба с бюрократизмом, прикрывающим и не дающим разглядеть действия классового врага.

Важнейший практический вывод из Шахтинского процесса должен быть сделан по линии создания новых советских кадров инженеров и техников. Дело создания собственных кадров специалистов неимоверно задержалось, отстало. Собственная техническая интеллигенция, вышедшая из рабочего класса, малочисленна и слаба. К тому же использование даже этой малочисленной технической интеллигенции поставлено из рук вон плохо. Шахтинский процесс заставляет принять в этом отношении ряд срочных мер, чтобы значительно более широким фронтом двинуться по пути создания новых советских кадров техников и инженеров.

Шахтинский процесс, далее, свидетельствует о неудовлетворительности коммунистического руководства работой специалистов. Коммунисты слишком часто являлись плохими комиссарами при специалистах. Между тем, на нынешнем уровне хозяйственного строительства коммунисты обя-

заны поставить перед собой задачу действительно овладеть техническо-производственной стороной дела.

В отношении старых специалистов важнейший практический вывод заключается в том, чтобы поднять на высшую ступень инженерную общественность, чтобы более энергично и быстро вырабатывать из них сознательных участников социалистического строительства. Ведь важнейшим фактом является то обстоятельство, что старые специалисты не сумели выявить и дать отпор многолетней деятельности вредителей. Мимо этого факта нельзя пройти. Важнейшим социально-культурным достижением первого десятилетия пролетарской диктатуры является то обстоятельство, что основная масса специалистов, технической интеллигенции от капитализма отошла и все теснее связывается с социалистическим строительством. Однако общественность среди них еще чрезмерно слаба. Сознательных участников социалистического строительства среди них еще мало. Больше сил и внимания должно быть обращено на работу инженерно-технических секций при профсоюзах.

Шахтинский процесс требует во всех этих направлениях ряда срочных и смелых шагов.

Н. Г. Чернышевский.

(К 100-летней годовщине со дня его рождения).

Ю. Стеклов.

Н. Г. Чернышевский родился 12/24 июля 1828 года в Саратове, в семье, с незапамятных времен принадлежавшей к духовенству. Семинарский курс он проходил дома, но уже в детстве проявил такие таланты, что родители и семинарские наставники надеялись в будущем увидеть в нем светилю православной церкви. Однако надежды их не оправдались. По окончании семинарского курса Чернышевский, решивший избрать ученую карьеру, убедил своих родителей отпустить его в университет. В 1846 году он уехал в Петербург, где через 4 года и кончил историко-филологический факультет. После этого он года два занимался педагогической деятельностью, главным образом в родном Саратове. Здесь он в 1853 году женился и вскоре после того окончательно переехал в Петербург, где начал писать в журналах, одновременно готовясь с профессуре. Свою магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», построенную на принципах фейербаховской философии, он защитил в 1855 году, но вследствие поднятой против него реакционными профессорами кампании ученой степени не получил (таковая дана была ему только через три года, когда он уже бросил мысль о профессуре). Но диссертация обратила на него внимание передовых кругов, и поэт Некрасов, издававший тогда вместе с И. Панаевым «Современник», предоставил свой журнал в качестве трибуны молодому ученому, быстро превратившему это издание в руководящий орган тогдашнего радикализма. Блестящая журналистская деятельность Чернышевского продолжалась около 7 лет и была насильственно оборвана его арестом, состоявшимся в июле 1862 года. Просидев около двух лет в Петропавловской крепости, Чернышевский, на основании подложных документов, был осужден на семь лет каторжных работ, по отбытии которых, в конце 1871 года, сослан в Вилюйск, где оставался еще около 12 лет. Только в 1883 году ему разрешено было возвратиться в Россию. Здесь он сначала проживал в Астрахани, а летом 1889 года получил право переехать в родной Саратов. Но долго прожить ему здесь не пришлось. Здоровье его было подорвано каторгой и ссылкой, и случайная простуда быстро положила

конец его существованию. 17 октября 1889 года Чернышевский скончался, и 20 октября был погребен.

Таковы простые и несложные данные его биографии. Но за ними скрываются богатейшая внутренняя жизнь, необыкновенно мощная и разносторонняя работа мысли, решительная общественная инициатива, сделавшая этого скромного на вид, но необычайно последовательного и революционно настроенного человека вождем передового политического движения своего времени.

Мировоззрение Чернышевского сложилось под влиянием бурных революционных событий 1848 г., заставших его на университетской скамье. Шумные выступления демократии против абсолютизма и первые вспышки пролетарского движения, направленного против самых основ буржуазного строя, не могли не поразить воображения пылкого юноши, который из своего захолустного провинциального городка вынес сочувствие к страждущим и ненависть к угнетению. Разгром революции и торжество реакции, с одной стороны, глубоко разочаровали молодого Чернышевского и поселили в его душе семена пессимизма, но, с другой стороны, они обострили его революционное настроение, закалили его характер и волю.

Одновременно с наблюдением развертывающихся перед ним грандиозных исторических событий Чернышевский усиленно работал над своим самообразованием, проводя дни и ночи напролет за письменным столом, изучая историю, философию и социалистические системы, внимание к которым привлечено было разыгравшейся тогда во Франции социальной драмой. Под влиянием научной работы, бесед с небольшим кругом единомышленных товарищей (как М. Михайлов, В. Лободовский, петрашевец Ханыков, учитель и переводчик Иринарх Введенский), а главное — наблюдения над действительной жизнью и ожесточенной классовой борьбой, происходившей у него на глазах, Чернышевский, приехавший в Петербург верующим человеком, отчасти даже монархически настроенным, постепенно начал менять свое миросозерцание, все определеннее склоняясь в сторону материализма, атеизма, крайнего политического радикализма и коммунизма.

Последний толчок его политическому самоопределению дала реакционная политика Николая I. Этот деспот, встреченный при своем вступлении на престол восстанием декабристов и всю жизнь проживший под страхом революции, после событий 1848 года окончательно потерял душевное равновесие и открыл такую эру реакционных репрессий, которая даже для долготерпеливого русского общества показалась чем-то неслыханным. Известна его жестокая расправа с участниками кружка Петрашевского, настроенными в общем довольно мирно и умеренно и подвергшимися суровейшим карам за оппозиционные разговоры в собственном кругу. Чернышевский, который через Ханыкова и отчасти Введенского косвенно связан был с кружком Петрашевского, находясь как бы на его периферии, был доведен этой бесчеловечной расправой до крайнего озлобления. Окончательно отрекшись от своих наивных мечтаний о дружественной народу «социальной монархии», Чернышевский поставил задачей своей жизни вести не-

устанную борьбу с самодержавием, а также со всеми формами политического и социального угнетения. И если до сих пор он мечтал просто о роли просветителя родной страны, то с этого момента он решил посвятить свои силы распространению в русском обществе крайних политических и социальных воззрений и подготовить широкое народное восстание против царизма, которое, по его мысли, должно было непосредственно передать власть в руки самих народных масс и временно доставить диктатуру наиболее крайней революционной партии, защищающей народные интересы.

Эту ганнибалову клятву, которую Чернышевский дал себе еще на студенческой скамье, он с честью выполнил до конца. На помощь ему пришло то общественное оживление, которое началось в России после разгрома самодержавия во время Крымской войны, а также то возрождение революционного движения в Европе, которое началось там в конце 50-х годов после ослабления реакции, порожденной революционными событиями 1848—1849 гг. После крымского поражения самодержавие принуждено было пойти на уступки. Сохранять попрежнему нетронутым крепостное право сделалось теперь невозможным, а так как крепостное право составляло краеугольный камень всего социального и политического здания тогдашней России, то с момента постановки на очередь вопроса об освобождении крестьян вся русская жизнь пришла в движение, все слои общества зашевелились, все классы его выступили на политическую арену. Началось то широкое общественное движение, которое получило название эпохи 60-х годов и на крайнем левом фланге которого встала новая общественная категория так называемой разночинной интеллигенции или разночинной демократии, настроенная чрезвычайно радикально и добивавшаяся коренного изменения существовавшего в России общественного и политического порядка.

Идеологом и идейным вождем этой социальной группы и стал Н. Г. Чернышевский. В своих многочисленных статьях, написанных на самые разнообразные темы, литературные, публицистические, исторические, экономические и т. д., Чернышевский и сформулировал взгляды и стремления этой новой социальной группы, начавшей с того времени играть выдающуюся роль в нашем общественном развитии.

В своей литературной деятельности Чернышевский проявил не только необычайную разносторонность, глубокую эрудицию и темперамент смелого бойца, но и глубокую оригинальность и силу мысли. Разумеется, эту оригинальность следует понимать относительно. Воззрения Чернышевского сложились преимущественно под влиянием западно-европейской мысли. В области философии он был учеником Фейербаха (отчасти Гегеля). В области истории на сформирование его взглядов оказали влияние работы французских историков Реставрации и Июльской монархии, как Гизо, О. Тьерри, Луи Блан. В области политической экономии его воззрения сложились под влиянием, во-первых, английской классической школы (Адама Смита, Рикардо, Мальтуса), а, во-вторых, социалистов и коммунистов утопического периода, преимущественно французских. Чернышевский сам считал своей главной задачей распространение среди русской публики тех результатов,

которые уже были достигнуты развитием передовой европейской мысли. Но он не ограничился одной популяризацией уже сделанных европейскими учеными мыслителями идейных завоеваний. В своих литературных произведениях он обнаружил чрезвычайную оригинальность и своеобразие, развитой критический и конструктивный дух, способность до конца развивать выставленные им исходные положения и в своем анализе углубляться до коренных причин событий и фактов. В этом отношении Чернышевский и в области философии, и в области истории, и в области политической экономии во многом пошел гораздо дальше своих учителей, значительно приблизившись к системе научного социализма, вырабатывавшейся в то время Марксом и Энгельсом. Неоднократно уже отмечалось, что умственное развитие всех этих людей шло по приблизительно одинаковому руслу и развивалось под влиянием тех же идейных и политических факторов, т. е. философских творений Гегеля и Фейербаха, произведений историков эпохи Реставрации и Июльской монархии, сочинений социалистов-утопистов и в первую голову наблюдений над фактической классовой борьбой, особенно в передовых странах тогдашней Европы — Англии и Франции.

Естественно, что окружавшие его условия, отсталость русского экономического и политического развития, бедность нашей общественной жизни, слабое развитие производительных сил в нашей стране, наконец, условия личной жизни Чернышевского, принужденного требованиями журнальной работы разбрасываться во все стороны, рано из'ятого из жизни и не успевшего написать ни одной цельной законченной работы, — все это помешало Чернышевскому развить свои взгляды до конца и создать такую выдержанную, систематически разработанную и цельную систему, как система Маркса и Энгельса. Но ведь кроме этих двух людей и в тогдашней Европе, даже в самых передовых ее странах, не много найдется мыслителей, равных Чернышевскому по широкому охвату тем, по вдумчивой их разработке и по глубине проникновения в скрытые причины исторического процесса. Даже для тогдашней Европы Чернышевский был чрезвычайно оригинальным и глубоким мыслителем, и не напрасно Маркс, который, как известно, был весьма строгим критиком, признавал Чернышевского «великим ученым» и единственным оригинальным экономистом того времени. Что Чернышевский не мог быть Марксом, т. е. не мог сыграть той роли, какую сыграл в истории основатель научного социализма, это само собою разумеется, но что из всех мыслителей домарксовой эпохи он ближе всех подошел к современному коммунизму, что только несчастные условия его жизни помешали ему разработать до конца свою систему и создать великие научные творения, на какие он был способен, это тоже не может подлежать никакому сомнению.

Во всяком случае, если Чернышевский и не был оригинальным мыслителем во всех отношениях, то по отношению к тогдашней России он явился в полном смысле слова основоположником и зачинателем, впервые популяризовавшим в русском обществе основные идеи современного миросозерцания и пустившим в оборот целую систему новых идей, впоследствии укоре-

нившихся и приобревших права гражданства. С этой точки зрения Чернышевский сыграл в истории нашего умственного и общественного развития, в частности в истории русского революционного движения, колоссальную роль, вдребезги разбив старые предрассудки, владевшие умами русских людей, и направив их мысль по новому руслу, с которого уже не могли своротить ее никакие усилия консерваторов и мракобесов. Во всех областях, каких он касался в своих литературных произведениях, и в философии, и в эстетике, и в политической экономии, и в истории, Чернышевский сыграл роль реформатора, точнее сказать — революционера, перевернувшего прежние представления и давшего им новое направление, которое после него могло изменяться в частностях, менять свою форму, но по существу оставалось все тем же, хотя и обогащалось каждый раз все новым содержанием и новыми достижениями.

Первой заслугой Чернышевского является внедрение в умы русского общества материалистических идей. До того здесь господствовали обрывки всяких идеалистических систем. Правда, отчасти Герцен, а еще больше Белинский в последние годы своей жизни уже пытались познакомить русскую читающую публику с некоторыми положениями фейербаховской философии. Но только Чернышевский действительно подорвал обаяние идеализма в России и возвел на трон материализм. Уже в первой своей работе «Эстетические отношения» он пытался подвести материалистический фундамент под эстетику и наметить методологические основы нового мировоззрения. Дальше он пытался проводить материалистические принципы в отдельных своих работах и, наконец, в 1860 году выступил со статьей «Антропологический принцип в философии», которая была в полном смысле слова философским манифестом новой общественной группы, революционной разночинной демократии. В ней он не просто излагал основы «реального гуманизма» Фейербаха, но, пополняя его положениями великих французских просветителей XVIII века и доводя до конца тезисы своего немецкого учителя, не всегда обнаруживавшего в этой области достаточную последовательность, набросал смелые контуры цельной и логически продуманной материалистической философии, не признающей оговорок, умолчаний и уклонений.

Разумеется, для Чернышевского, как и для французских философов XVIII века, материализм был не просто философской теорией, а орудием практической, в частности политической борьбы. Так это поняли и его враги, которые единодушно, не взирая на свои политические разногласия, выступили единым либеральным консервативным фронтом против философского учения Чернышевского и открыли против него бешеную кампанию, охватившую все тогдашние русские журналы вплоть до церковных. Но, как ни злобствовали его противники, Чернышевский добился своей цели. С этого момента обаяние идеалистической философии среди прогрессивных элементов русского общества было окончательно подорвано, идеализму нанесен был смертельный удар, после которого он не мог уже оправиться и вернуть себе былое значение. После Чернышевского материализм получает право

гражданства среди русских революционеров, становится, так сказать, общественным предрассудком, неискоренимым достижением, которого ни подорвать, ни ослабить не могут уже никакие усилия и ухищрения.

Чернышевский пошел дальше Фейербаха не только в области чистой философии. Как известно, до Маркса материалисты-философы оставались идеалистами в истолковании истории. Чернышевский и здесь сделал значительный шаг вперед. Правда, в этой более сложной области ему не всегда удавалось сводить концы с концами. В его философии истории замечаются иногда срывы, наблюдаются рецидивы исторического идеализма, попадаются отдельные промахи, сильно пробиваются элементы рационализма и рассудочного об'яснения исторических событий. В значительной мере это об'ясняется условиями его журнальной работы. Но, несмотря на эти промахи и пробелы, Чернышевский сумел доработаться до комплекса взглядов, сильно приближающихся к историческому материализму Маркса и Энгельса. На страницах «Красной нови» мы уже подробно указали, как далеко пошел Чернышевский в области материалистического об'яснения истории. Он установил, что в основе исторического процесса лежат экономические факторы, что исторический прогресс обусловливается развитием производительных сил, что в основе истории лежит борьба классов. В частности, он с особенным блеском применил материалистический метод к об'яснению истории Франции в первой половине XIX века. В ряде своих статей «Июльская монархия», «Кавеньяк», «Борьба партий во Франции» и т. д. Чернышевский дает историческим событиям толкование, весьма близко напоминающее соответствующие места в работах Маркса, при чем иногда употребляет даже такие термины, как Маркс. А между тем, как теперь может почитаться доказанным, Чернышевский до своего ареста не был знаком с появившимися тогда сочинениями Маркса, а это свидетельствует не только об оригинальности его мысли, но и о том, что ход его умственного развития совершался параллельно идейному развитию основателя научного социализма.

Не менее велико значение Чернышевского как экономиста. Правда, его главная экономическая работа «Примечания к Миллю», несмотря на обилие и глубину выраженных в ней критических мыслей, не отвечает нашим современным требованиям к ученому экономическому исследованию и построена по совершенно иному принципу, чем, например, экономические работы Маркса. Верно то, что Чернышевский мастерски вскрывает противоречия и промахи буржуазной политической экономии и подвергает учения вульгарных экономистов не менее резкой критике, чем Маркс. Там, где он сосредоточивает свое внимание на анализе существующего, он сплошь и рядом делает гениальные замечания и ловко вскрывает тайны капиталистической экономии. Но дело в том, что в своей основной работе (надо заметить при этом, неоконченной и писавшейся под цензурным арапником) Чернышевский ставил себе задачей не столько исследовать механизм и пружины существующего капиталистического порядка, сколько разоблачить его вредоносность и несоответствие интересам трудящихся масс, а попутно

с этим разоблачением набросать основы будущего коммунистического строя, основанного на плановом хозяйстве, учете потребностей и производительных сил общества и рациональной организации производства и распределения, способной удовлетворить нужды рабочего класса. Это придает основной работе Чернышевского отчасти утопический характер, но не отнимает от нее и ее огромного исторического значения.

Дело в том, что характер «Примечаний к Миллю» обусловлен был запросами тогдашнего исторического момента. Чернышевскому пришлось развернуть свою работу в критический момент русской истории, момент перехода от крепостнического режима к капитализму. Параллельно с вторжением капиталистических начал в русскую жизнь в нее вторгались и буржуазно-экономические учения, и при том в своей худшей разновидности, в форме так называемой вульгарной политической экономии. Экономическое невежество тогдашнего русского общества было поразительным. Достаточно вспомнить, с каким восторгом встречен был приезд в Россию известного вульгарного экономиста Молинари, явившегося поучать русскую публику истинам буржуазной политической экономии. И вот против вторжения этих учений и восстал Чернышевский. Говоря его собственными словами, «время требует слуги своего». Необходимо было показать девственному российскому сознанию, что та система, которая преподносится ему в виде какого-то идеала, на самом деле уже осуждена историей, что против нее уже ведется ожесточенная борьба, что против нее высказались лучшие умы на Западе, что она отвечает лишь интересам буржуазии (так называемого «среднего сословия»), что она враждебна интересам трудящихся масс, что она ведет к их обнищанию и разорению, к экспроприации мелких самостоятельных производителей, пролетаризации масс, к нищете и безработице. Необходимо было показать, что наряду с этой буржуазной политической экономией существует уже новая экономия рабочего класса или во всяком случае ее зародыши. Необходимо было, словом, подорвать в умах русской публики обаяние буржуазной политической экономии и показать ей, что буржуазный строй представляет только историческую, преходящую форму, на смену которой идет новая форма экономического уклада, основанная на принципе ассоциации, совместного труда и общественного потребления, словом, социалистический или коммунистический строй. И этой цели Чернышевский добился.

Своими статьями, как вышеназванными историческими, так и экономическими («Капитал и труд», «Экономическая деятельность и законодательство», «Примечания к Миллю» и т. д.), Чернышевский нанес смертельный удар традиционным экономическим представлениям. До Чернышевского социалистические и коммунистические учения насчитывали в России только единичных сторонников, при чем большинство из них разделяло взгляды утопического и соглашательского социализма Сен-Симона, Леру, Фурье, Луи Блана и т. д. Среди петрашевцев был, например, один только коммунист Спешнев. Чернышевский же популяризировал в умах широких кругов революционной молодежи идеи революционного социализма и

коммунизма. По общему своему миросозерцанию Чернышевский больше всего приближался к той школе коммунизма, которая в истории связана с именем Огюста Бланки и которая, как известно, была непосредственной предшественницей марксовского коммунизма. Впервые из сочинений Чернышевского русская читающая публика могла познакомиться с социализмом не как с набором филантропических мечтаний и сантиментальных порывов, а как с целостной системой политических взглядов, логически связанных и последовательно проведенных до своих крайних выводов. И если до Чернышевского социалистические воззрения имели у нас отдельных немногочисленных приверженцев, то после него они получили среди передовых элементов русского общества такое распространение, что, несмотря на все возвратные приступы реакции, на усилия буржуазной науки и печати и на полицейские преследования, они сохранили свое обаяние, охватили широкие круги и все более укоренялись до тех пор, пока на смену его взглядам не пришло учение Маркса, успех которого в нашей стране был в значительной мере подготовлен литературной деятельностью Чернышевского.

Но Чернышевский не был только отвлеченным теоретиком. Теория в его руках играла служебный характер. Она должна была осветить пути к практической деятельности. Как и все прочее, она должна была служить делу освобождения угнетенных и эксплоатируемых масс. Чернышевский не только развивал перед своей аудиторией общие философские и экономические принципы, но и старался откликаться на всякую злобу дня, на все текущие политические вопросы. Но все эти практические вопросы он освещал с точки зрения своей коммунистической теории.

В этом отношении чрезвычайно замечательной является его кампания в защиту крестьянства. Когда вопрос об отмене крепостного права был поставлен на очередь, Чернышевский на-время оставил все другие темы и сосредоточил все свое внимание на этом коренном вопросе русской жизни. Обе партии господствующего класса, крепостники и либералы, были широко представлены в правительственных кругах и в литературе. К их услугам был и аппарат государства, и богатство, и общественное влияние, и печать, бывшая тогда единственной более или менее открытой трибуной. Один только наиболее заинтересованный в предстоящей реформе класс, а именно многомиллионная крестьянская масса, где-то глухо шевелившаяся на задворках истории, лишена была права голоса. Выразить во всеуслышание заветные стремления этой массы, выступить в защиту ее попираемых интересов, разоблачить направленные против нее замыслы высших классов — вот какую задачу взял на себя Чернышевский. Несмотря на то, что одно время в печати было совершенно запрещено касаться крестьянского вопроса, а в те немногие моменты, когда это было дозволено, приходилось писать под бдительным надзором свирепой царской цензуры, Чернышевский сумел развернуть вокруг крестьянской реформы блестящую кампанию. Он один из немногих сумел сразу разгадать истинный характер этой реформы и постарался выяснить перед своей аудиторией ее действительное значение в надежде на то, что голос его так или иначе дойдет, быть может,

до широких народных масс. В то время как помещики собирались ограбить освобождаемых крестьян, сократить их наделы, наложить на них огромный выкуп, в который входил и выкуп личности крестьянина вопреки официальным лицемерным декларациям о том, что личность крепостного не подлежит выкупу, Чернышевский выдвинул прямо противоположную программу. Принужденный считаться с цензурными условиями, он высказывался как будто бы только за расширение фактического крестьянского землепользования на целую треть (в то время как помещики собирались сократить его на одну треть) и за установление низкого выкупа за предоставленные крестьянам земли. В действительности же он стоял за передачу крестьянам всей земли и при том без всякого выкупа. И эти неслыханно дерзкие для того времени мысли Чернышевский, используя целый ряд литературных ухищрений, прибегая к иносказаниям, намекам, примерным статистическим выкладкам, умудрился высказать в довольно недвусмысленной форме, так что они были понятны не только его читателю-другу, научившемуся читать между строк, но и врагам.

Эта блестящая литературная кампания Чернышевского, проведенная им в 1858 году на страницах «Современника», в сущности предрешила его участь. Помещичья партия сразу почуяла в Чернышевском смертельного и опасного врага и уже тогда поклялась его погубить. Известно, что при обыске у Чернышевского было найдено анонимное письмо какого-то озлобленного крепостника, который, угрожая Чернышевскому расправой, напоминал ему о его статьях по крестьянскому вопросу: «Вспомните, в какую цену вы оценили нашу землю»!

Беспощадной рукой срывая маску с правительства и с реакционных помещиков, Чернышевский с такой же силой бичевал либеральную дворянскую партию, которая по существу немногим отличалась от прямых сторонников крепостного права, которая также стремилась к ограблению крестьянства и к сосредоточению всего дела крестьянской реформы в дворянских и бюрократических руках. Чернышевский, не щадя себя и гордо идя навстречу своей гибели, можно сказать, бил в набат, выясняя своей демократической аудитории, что реформа, отданная в руки помещиков и бюрократов, принесет народу не свободу, а новые цепи, создаст новое крепостное право и приведет к окончательному разорению крестьянства. Он доказывал, что либералы столь же враждебны народу, как и крепостники, что они также отстаивают его политическое бесправие и также стремятся к его экономическому порабощению. Вместе с тем он старался дать понять передовым элементам общества, что действительного освобождения крестьянства можно добиться только путем народной революции, вооруженного восстания масс, направленного против самых основ существовавшего дворянского режима и в первую голову против царского самодержавия, которое Чернышевский считал главным врагом народных интересов и главной опорой его эксплоататоров.

Во всех своих статьях и многочисленных политических обозрениях, которые он вел с 1858 по 1862 г., Чернышевский старался доказать необ-

ходимость радикальной народной революции и дискредитировать соглашательские стремления, конституционные иллюзии, либеральную половинчатость, которые он считал столь же вредоносными для народных интересов, как и открытые зверства сторонников абсолютизма. Он утверждал, что деспотизм находит свою опору именно в тех соглашательских элементах, которые готовы итти с ним на сделки, на компромиссы, которые боятся народных эксцессов больше, чем проявления тирании сверху, которые сбивают с толку массы своими надеждами на возможность добиться серьезных преобразований при сохранении самодержавия и монархии. Поэтому для Чернышевского не было злейших врагов, чем половинчатые либералы, чем соглашатели всякого толка, смягчающие напор революции на существующий режим, парализующие все революционные порывы и этим способствующие сохранению основ старого строя. И, как известно, критике половинчатого либерализма и соглашательства посвящена значительная часть работ Чернышевского.

Ход крестьянской реформы окончательно укрепил революционные воззрения Чернышевского и показал ему, что только на пути возбуждения массовой народной революции возможно добиться освобождения трудящихся. Эти взгляды он и старался выяснить перед своими молодыми последователями. В общем развитая Чернышевским программа революции в России сводилась к следующему. Несмотря на обычно присущий массам (за исключением авангарда рабочего класса) политический индифферентизм, они способны приходить в движение, когда затронуты их заветные стремления, когда задеты их насущные материальные интересы. Партия, достойная названия революционно-социалистической, должна понять эти интересы и суметь опереться на них, ибо без поддержки масс, без активного участия их невозможен успех революции. Положение, создавшееся в России в результате крестьянской реформы, казалось, давало основание надеяться на возможность и даже неизбежность серьезных волнений в стране. Недовольная реформами крестьянская масса глухо волновалась, и этому волнению отвечало брожение в армии и среди городского простонародья, в частности революционной интеллигенции. В то время многие допускали возможность широкого военно-крестьянского восстания в России, возможность новой пугачевщины, страшившей одних и наполнявшей надеждами сердца других. По опыту европейских революций Чернышевский знал, что стихийное движение масс, лишенных сознательного руководства, не имеющих собственных вождей, рискует закончиться разгромом и даже в случае временного торжества может закончиться не в пользу народа, может быть захвачено и использовано враждебными народу силами. Придавая громадное значение государству, как организованной силе общества, Чернышевский считал необходимым, в интересах народной революции, захват власти крайней революционной партией, защищающей народные интересы и способной в деле этой защиты итти до конца, не останавливаясь перед применением красного террора к противникам революции, перед лишением их всех политических прав, перед насильственной

экспроприацией собственников земли и орудий производства. И ему казалось, что при всей слабости революционных элементов тогдашней России они все-таки окажутся способными возглавить предстоящее восстание крестьянских масс и, захватив власть и опираясь на победоносные массы, повести страну быстрыми шагами к социалистическому преобразованию.

Чернышевский, признававший громадное значение политической свободы, как почвы, на которой возможно вести просвещение и организацию революционных сил, на худой конец согласился бы и на замену царского самодержавия более или менее демократической конституцией с сохранением буржуазных отношений собственности, как на временный этап и исходный пункт для дальнейшего развития. Но, ввиду слабости русской буржуазии, ввиду глубокого кризиса, переживавшегося тогда страной, ввиду полного, как казалось, политического и морального банкротства помещичье-дворянского класса, ввиду ожидавшегося выступления на историческую арену трудящихся масс, Чернышевский допускал, что ход событий может принять и иное направление. При той основной роли, какую должны были сыграть трудящиеся массы в ожидавшейся революции, при слабости крупно-собственнических элементов, способных оказать социализму серьезное сопротивление, Чернышевский допускал и не мог не допускать ту мысль, что русская революция не пойдет по обычному пути европейских буржуазных революций, а при известных условиях создаст благоприятные условия для *сокращения капиталистического этапа развития* и для ускорения перехода общества к высшим формам коллективной жизни — к коммунизму. В этом отношении Чернышевский возлагал большие надежды на сохранившиеся в России остатки *общинного землевладения*.

Не следует, однако, думать, что Чернышевский относился к общине так, как это делали впоследствии многие народники. Он отнюдь ее не идеализировал и считал ее результатом медленности исторического развития России. Но вместе с тем он полагал, что раз ее остатки сохранились в России вплоть до радикальной народной революции, то *при известных условиях* она сможет послужить исходным пунктом некапиталистического развития и ускоренного движения в социалистическом направлении. Однако он полагал, что такую роль община сможет сыграть лишь при определенных исторических условиях, а именно в том случае, если одновременно с русской крестьянской революцией вспыхнет пролетарская революция в передовых капиталистических странах, которая отдаст там власть в руки рабочего класса. И Чернышевскому рисовалась следующая картина. В России, после радикального политического переворота, у власти стала крайняя социалистическая партия. В то же время в Западной Европе власть перешла в руки *пролетариата*, приступившего к социалистическому переустройству общества. Если этот победоносный европейский пролетариат придет на помощь отсталой России, если он окажет ей политическую и техническую помощь, то, опираясь на нее, используя опыт и достижения передового пролетариата западных стран, Россия, несмотря на свою экономическую отсталость, сумеет сравнительно быстро пройти промежуточный

этап между режимом частной собственности и коммунизмом. Именно эту мысль Чернышевский и развил в знаменитой статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения».

История не оправдала этого предвидения, которое, впрочем, у Чернышевского вовсе не носило абсолютного и категорического характера, а формулировано было в чрезвычайно условных выражениях. Развитие России пошло по иному пути, и социальная революция явилась в ней не результатом крестьянской революции, поддержанной победоносной пролетарской революцией на Западе, а результатом восстания, созданного развитием промышленности русского пролетариата, опиравшегося на крестьянские массы. Таким образом теперь легко критиковать это построение Чернышевского и приписывать ему утопические черты. Но, во-первых, не следует забывать, что основное зерно конструкции Чернышевского все-таки оказалось верным (слабость русской буржуазии, отсутствие опоры у помещиков, непосредственный или почти непосредственный переход от царизма к «истинно-народному правлению», установление революционной диктатуры, ускоряющей социалистическое строительство, и т. д.). А, во-вторых, не следует забывать, что когда Марксу пришлось давать ответ на вопрос, в свое время стоявший перед Чернышевским, то он дал на него приблизительно такой же ответ, как и великий русский мыслитель. В известном письме в редакцию «Отечественных записок» по поводу статьи Михайловского Маркс, прямо ссылаясь на «замечательные статьи» Чернышевского, которого он здесь и в послесловии ко второму изданию «Капитала» называет «великим русским ученым и критиком», по существу признает правильность взгляда Чернышевского, когда говорит: «я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать итти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, какой когда-либо предоставляла история какому-либо народу для избежания всех злоключений капиталистического строя».

А в предисловии к русскому изданию «Коммунистического манифеста» 1882 года, подписанном Марксом и Энгельсом, выражается, в сущности, та же мысль Чернышевского относительно возможной роли общины в случае совпадения революции в России и на Западе. А именно там сказано: «если русская революция послужит сигналом к рабочей революции на Западе, так что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Вот какие блестящие перспективы рисовались перед Чернышевским в начале 60-х годов. Величественная картина пробуждающейся страны, так долго спавшей непробудным сном и вдруг выпрямляющейся во весь рост и готовой открыть новую страницу в истории человечества, не могла не увлекать его при всей его склонности к пессимизму. Во всяком случае, будучи человеком долга прежде всего, Чернышевский при малейших шансах революции считал своей моральной обязанностью сделать все зависящее от него для ее приближения и принять в ней самое активное участие. Он хорошо знал, что у русского народа очень мало преданных ему, а главное созна-

тельных вождей, готовых итти с ним до конца и не позволить авантюристам из буржуазных партий совратить народное движение в глухой тупик. И он полагал, что всякий сознательный человек обязан примкнуть к народному движению для того, чтобы предохранить трудящиеся массы от неизбежного обмана и использования их социально-враждебными им силами. И действительно, когда для Чернышевского и других представителей крайнего политического радикализма того времени окончательно выяснился антинародный характер крестьянской реформы, Чернышевский не счел возможным остаться в стороне и решил активно вмешаться в ход событий.

Ситуация казалась в этот момент чрезвычайно революционной. Банкротство самодержавия во время Крымской войны, оживление революционного движения в Западной Европе, брожение среди русского крестьянства, отчасти в армии и среди молодежи — все это позволяло, казалось бы, рассчитывать на несомненную победу. Появились первые ласточки надвигавшейся революции, нелегальные прокламации, революционные кружки; началась пропаганда среди рабочих, зашевелились студенты, стали заводиться подпольные типографии. Время было такое, что могли закружиться не только горячие головы.

При цензурных условиях того времени высказывать революционные взгляды можно было с чрезвычайным трудом. Правда, Чернышевский в этом отношении обнаружил невиданное до тех пор и после того мастерство. С необыкновенной ловкостью он обходил цензурные рогатки и под носом царских аргусов проводил в своих статьях самые крайние философские и политические идеи. Однако все это приходилось делать намеками, иносказаниями, не договаривая, не ставя точек над i. Понятен поэтому восторг Чернышевского и его ближайших друзей, когда в Петербурге неожиданно появился молодой московский журналист В. Костомаров, привезший рекомендации от поэта Плещеева, некогда привлекавшегося к делу Петрашевского, и сообщил, что в Москве у него имеется тайный станок, на котором он готов печатать революционные листки.

И вот в кругу Чернышевского возникла мысль выпустить серию революционных прокламаций по всем общественным группам, способным по тогдашнему мнению принять активное участие в предстоявшей революции. Таким образом были намечены воззвания к бывшим помещичьим крестьянам, к раскольникам, к солдатам и к революционной молодежи. Из этой серии задуманных названий появились только прокламация к молодому поколению, составленная Шелгуновым и Михайловым, и воззвание к солдатам, написанное Шелгуновым (в измененной редакции). Была ли Чернышевским написана прокламация к раскольникам, до сих пор точно не установлено. Что же касается составленного им воззвания к барским крестьянам и первого воззвания Шелгунова к солдатам, которые были переданы В. Костомарову для напечатания, то они в свет не появились, а в рукописи переданы были в руки III отделения. Арестованный по делу о печатании в Москве нелегальных произведений, Костомаров струсил и выдал все, что знал. Но, не ограничившись простым предательством, этот презренный дегенерат для

спасения своей шкуры вошел в соглашение с III отделением и по его приказу подделал несколько документов, которые должны были послужить уликами против Чернышевского. Это, впрочем, произошло уже после ареста последнего.

Правительство давно уже косилось на Чернышевского. Его резкие статьи, будившие в читателях чувство протеста и пропагандировавшие крайние политические воззрения, давно уже обращали на себя внимание не только сочувствующей публики, но и политических противников, в частности политической полиции. Убедившись в том, что самая придирчивая и строгая цензура не в состоянии полностью обезвредить писания Чернышевского, и что они даже в искаженном цензурою виде оказывают на публику самое революционизирующее действие, правительство решило тем или иным путем положить конец его литературной деятельности. Но в первое время, когда царизм после крымской неудачи и ввиду брожения крестьянских масс чувствовал себя еще неуверенным и неокрепшим, наложить руку на человека, открыто не нарушающего законов и пишущего с разрешения цензуры, было несовсем удобно. Нужно было выждать подходящий момент, нужно было дождаться того, чтобы против крамольного писателя ополчилась «благомыслящая» часть общества, нужно было выбрать подходящую обстановку для расправы с признанным вождем передовой общественной группы. И это время скоро наступило.

Правительство не просто считало Чернышевского наиболее влиятельным и опасным литератором, враждебным существующему порядку, но и приписывало ему руководящую роль во всех проявлениях начавшегося тогда революционного движения. Его считали не только автором выходивших тогда революционных прокламаций, но и вдохновителем студенческих волнений, охвативших осенью 1861 года ряд университетских городов. Словом, на него смотрели как на главу русской революции, как на зачинщика всех оппозиционных выступлений и, надо полагать, как на будущего главу революционного правительства в случае успеха народного восстания.

На самом деле все это было в сильнейшей степени преувеличено. Безусловно, Чернышевский был наиболее влиятельным идейным вождем революционной демократии. Действительно, он был основоположником материализма и коммунизма в России. На самом деле Чернышевский был в курсе всех революционных событий и предприятий того времени, а зачастую и вдохновителем таковых. Наиболее видные тогда революционные деятели находились или под влиянием его литературных произведений, или даже под его личным влиянием, будучи связаны с ним знакомством и дружбой, как, например, деятели первого общества «Земля и воля». Но, взваливая на Чернышевского ответственность за все неприятные правительству проявления революционного брожения в стране, политическая полиция сознательно раздувала его значение и вела его к гибели.

Конечно, правительство рано или поздно расправилось бы с Чернышевским. Но расправа была ускорена подстрекательствами и доносами из среды так называемого «общества». Чернышевского ненавидели не только

реакционеры, но и либералы, не только правящие круги, но и умеренные «прогрессисты». Характерно, что вражда последних к Чернышевскому проявилась с первого же его публичного выступления. Уже его магистерская диссертация вызвала взрыв негодования среди партизанов чистой эстетики, чистого искусства и т. д. Тургенев, Дружинин, Л. Толстой, Григорович восстали на проповедника материалистических начал, на «разрушителя эстетики». А когда он перешел к темам политического характера, когда он начал проповедывать крайнюю революционную тактику и открыл обличительную кампанию против либералов, ненависть эта возросла. Даже Герцен, стоявший тогда на умеренной позиции, был недоволен слишком радикальными выступлениями «свистунов» и напал на них в своем «Колоколе». В самой же России против Чернышевского велась ожесточенная кампания клевет и доносов, во главе которой стоял редактор «Русского вестника» Катков, но к которой присоединились и либеральные журналы вроде «Отечественных записок» и т. п. С особенной силой эта кампания вспыхнула после опубликования основной философской статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии», и замечательно, что именно в это время III отделение установило за Чернышевским секретный надзор. А в 1861 году, когда в воздухе запахло революцией, когда появились наиболее резкие политические и экономические статьи Чернышевского, в III отделение начали поступать доносы на Чернышевского, требовавшие его ареста и выставлявшие его самым опасным врагом монархии и собственнических классов, причем эти доносы исходили как от консерваторов, так и от либералов.

Теперь, когда «общество», можно сказать, выдало Чернышевского правительству с головой, недоставало только более или менее приличного предлога, чтобы заткнуть крамольному писателю рот. Майские пожары в Петербурге создали подходящую атмосферу. Если действительно эти пожары носили политический характер, то вернее всего они были устроены представителями крайней помещичьей партии, желавшей сорвать дело реформ. Но полиция использовала это бедствие для того, чтобы свалить ответственность за него на революционеров, поляков и студентов.

В этой удушливой атмосфере всеобщей паники и озлобления правительство почувствовало свои руки развязанными. Началось учреждение военно-судных комиссий, введение полевых судов для поджигателей (которые, впрочем, раскрыты не были), а, главное, началась расправа с демократической оппозицией. Оба радикальные журнала того времени, «Современник» и «Русское слово», были приостановлены на 8 месяцев. Правительство несомненно уже тогда решило арестовать Чернышевского. Внешним же поводом к его аресту послужила записка Герцена, посланная через Ветошникова из Лондона Н. Серно-Соловьевичу и захваченная при обыске Ветошникова на границе. В этой записке Герцен заявлял о своей готовности издавать за границей закрытые издания, в том числе и «Современник» Чернышевского, и спрашивал мнения Серно-Соловьевича по этому поводу. Правда, записка была адресована вовсе не Чернышевскому, правда, Чер-

нышевский вовсе не выразил своего согласия на предложение Герцена, тем не менее правительство сочло этот повод подходящим, и Чернышевский был схвачен и посажен в Алексеевский равелин.

Теперь началась страдная полоса его жизни, о которой мы подробно распространяться не станем. Никаких улик против Чернышевского в момент его ареста у правительства не было. Чернышевский был слишком осторожным и конспиративным человеком, он слишком хорошо знал, что полиция ищет повода к его погублению, и никаких доказательств своих преступных действий обыск у него ей не доставил. За отсутствием улик решено было их сфабриковать с помощью предателя Костомарова. На страницах «Красной нови» мы уже рассказывали о той гнусной интриге, которая с благословения Александра II задумана и проведена была в недрах III отделения против Чернышевского. Холопский сенат, удовольствовавшись явно липовыми уликами, счел возможным осудить Чернышевского на 14-летнюю каторжную работу, при чем не постыдился включить в число его преступлений его открытую литературную деятельность, протекавшую с разрешения и одобрения цензуры. Александр II, довольный гибелью своего самого заклятого и опасного врага, доставил себе удовольствие проявить «гуманность» и сократить этот срок наполовину.

4 мая 1864 года приговор был окончательно об'явлен Чернышевскому, 19 мая на Мытной площади в Петербурге состоялся обряд гражданской казни Чернышевского с выставлением его у позорного столба и преломлением шпаги над головой, а на следующий день Чернышевский под усиленной охраной был отправлен в Сибирь.

Но и здесь беззакония по отношению к Чернышевскому не прекратились. Правительство не применяло к нему манифестов, продержало его лишних 3 года в каторжной тюрьме, а когда в конце 1871 года оно решило, наконец, его выпустить на поселение, то отправило его в захолустный городишко Якутской области Вилюйск, где снова, вопреки прямому смыслу закона, заключило его в острог. Этот произвол переполнил чашу горечи страдальца, который, впрочем, все время каторги и ссылки нес свой крест с гордо поднятой головой, с презрением к врагам, не унижаясь никакими просьбами, игнорируя чинимые над ним насилия. Но, как ни был тверд Прометей русской мысли, в удручающей обстановке полярной ночи, отсутствия минимальных культурных удобств, полного одиночества, оторванности от любимой семьи и от не менее любимого литературного дела, великий мыслитель постепенно таял в физическом и духовном отношении. Он продолжал еще много писать, но теперь почти все написанное уничтожал из опасения обыска (от того периода сохранился, к счастью, его роман «Пролог», правда, в неполном виде, и кое-какие рассказы). В этой убийственной обстановке, посеявшей в его организме зародыши неизлечимой болезни, Чернышевский принужден был провести почти 12 лет, и только в 1883 году самодержавие, в лице нового царя, уже не питавшего к Чернышевскому чисто личной ненависти, которую проявлял к нему «царь-освободитель», решило выпустить из когтей свою жертву.

Чернышевский, вернувшись в Россию, поселился в Астрахани, где в новой ссылке прожил еще 6 лет. Но это была уже тень прежнего Чернышевского. Это был уже не смелый мыслитель, пролагавший новые пути и вдохновлявший целое поколение. Это был замученный больной старик, нервный, с трясущимися руками, как бы придавленный тяжелой участью, выпавшей на его долю. Однако до конца он сохранил гордую непреклонность своих старых революционных убеждений, свою ненависть к компромиссам, свою вражду к деспотизму, свою веру в грядущее освобождение труда. Но некому было высказать своих мыслей, не с кем было поделиться своими чувствами, ибо правительство строго воспретило ему литературную деятельность, и он принужден был ограничиваться переводами для добывания хлеба. К несчастью Чернышевского, он вернулся в Россию после разгрома партии «Народной воли», в разгар политической реакции Александра III, когда революционное движение, казалось, окончательно замерло и не виднелось никакого просвета среди темного мрака, окутавшего русскую жизнь. В этой удушливой атмосфере протекли последние годы Чернышевского.

Только летом 1889 года, вследствие усиленных ходатайств его сыновей, Чернышевскому разрешено было переехать в родной Саратов. Но здесь ему не пришлось долго прожить. 11 октября 1889 года Чернышевский простудился, 17-го скончался, а 20-го был погребен.

Смерть Чернышевского дала толчок к проявлению симпатий к нему со стороны передовых элементов русского общества. Как ни был силен полицейский гнет, нависший тогда над страной, тем не менее смерть выдающегося мыслителя, вождя шестидесятников, зачинателя нового периода революционного движения в России не могла пройти бесследно. В целом ряде городов состоялись студенческие демонстрации, а в одной из них, именно в Петербурге, приняли участие и представители начавших тогда организовываться рабочих кружков. Эти немногочисленные в то время сознательные пролетарии предвещали нарождение мощного рабочего движения, которое должно было претворить в жизнь идеи Чернышевского и его заветы. Сам Чернышевский, к сожалению, не дожил до расцвета русского рабочего движения: он только предугадывал, предвещал его неизбежное возникновение и умер с твердой верой в то, что рано или поздно трудящиеся массы свергнут иго самовластья и на развалинах царизма и капитализма начнут строить новое общество, основанное на принципах солидарности и братства.

Чернышевский после сибирской ссылки.

Н. Чернышевская-Быстрова.

I.

28 сентября 1883 года государственный преступник Н. Чернышевский, на 20-м году его ссылки, был привезен из Вилюйска в Иркутск, и здесь ему было об'явлено о высочайшем разрешении переселиться в Европейскую Россию.

В тот же день он пустился в далекий путь, сопровождаемый двумя жандармами. Освобождение Чернышевского было обставлено такой тайной, что не только родные не были во-время уведомлены о его приезде, но даже попутные жандармские управления не предупреждались о проезде освобожденного государственного преступника, и на станциях не прописывали его фамилии. Все это делалось по приказанию свыше — во избежание огласки. Правительство опасалось, что «ввиду особенной важности самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его освобождению, а также возможности появления в Астрахани по приезде Чернышевского лиц политически неблагонамеренных... личность его может послужить средством к осуществлению их преступных целей» [1]).

Между тем, родные, узнав от гр. Толстого еще в июне 1883 г. об успешном результате своих хлопот по освобождению Чернышевского, находились в напряженном ожидании близкого свидания. Жена Чернышевского, Ольга Сократовна, обратилась к Плеве с просьбой о разрешении ей встретить мужа «по приезде его в пределы Европейской России, чтобы вместе с ним совершить остальной путь до назначенного ему места пребывания», а также просила о разрешении Чернышевскому остановиться хотя бы на несколько дней в Саратове для свидания с детьми и родственниками. Первая просьба осталась без ответа, на вторую же Плеве ответил через Н. А. Новосельского, что разрешение Чернышевскому увидеться с ближайшими родственниками в Саратове будет дано, «хотя ввиду вероятной непродолжительности остановки Чернышевского в Саратове едва ли возможно будет дать

---

[1]) Чернышевский после Сибири. По данным архива департамента полиции. «Былое» 1917 г., № 4 (окт.).

этому свиданию форму несколько-дневного пребывания. Старики Пыпины, конечно, удовлетворятся и кратковременным посещением племянника, что же касается его жены и детей, то, по моему мнению, для них было бы наиболее удобным встретиться с возвращенным в самой Астрахани» [1]).

8 октября 1883 г. сыновья Чернышевского, наводившие постоянные справки в департаменте полиции о положении дела, получили долгожданную весть. Ольга Сократовна сейчас же написала в Саратов престарелой А. Г. Пыпиной (тетке мужа): «Сообщаю Вам радостное известие, дорогая наша общая мамичька. Едет. Уже в Иркутске. Крепко Вас целую. Смотрите же, не хворайте. Встретьте его бодрой старушкой. Я от радости совсем с ума сошла; и так не помнила, что делаю и что надобно еще делать, а теперь — и подавно! Вот так бы и полетела к нему навстречу!.. Вот и расплакась... Ничего не вижу. Ваша О. Чернышевская».

Вскоре после этого Ольга Сократовна выехала в Саратов.

Наконец, 22 октября, Николай Гаврилович прибыл на почтовых в Саратов, и здесь, на квартире жандармского полковника, произошла его встреча с Ольгой Сократовной после 17-летней разлуки [2]). В последнюю минуту Чернышевскому было разрешено увидеться и с Пыпиными, но он сам отклонил эту возможность. Впоследствии, в своих письмах к дяде и тетке (Н. Д. и А. Г. Пыпиным), он об'яснял свой отказ опасением навлечь на них неприятности со стороны полиции. Можно думать, что и нервы, напряженные и без того до крайности, требовали пощады... Из Пыпиных Николая Гавриловича увидела в этот день только его двоюродная сестра Варвара Николаевна. Обе они, — она и Ольга Сократовна, — оставили по письму, где передают под свежим впечатлением подробности свидания.

«Вчера вечером, милая Еничка, — писала Варвара Николаевна сестре в Петербург, — испытали и радость, и горе, видели Н. Г., тяжело было помириться с тем, что его не привезли прямо к нам, и ночью же повезли дальше, впрочем он сам этого желал, по крайней мере полковник предлагал ему даже пробыть день, т. е. сегодня, здесь, но он отклонил это и сказал, что как ехал весь путь, так же желает ехать до места, говорил, что не чувствует утомления; мне он показался лучше, нежели можно было ожидать, — как будто потолстел, а может быть это просто от загара и ветра лицо припухло. Я еще не сказала, каким образом устроили свидание. Вчера вечером, часов в шесть, явилась горничная, спросила О. С. и подала ей записку; О. С., прочитавши торопливо и в страшном волнении, начала одеваться, т. е. надевать шубу, калоши и пр. и на мои вопросы шепнула: «Приехал, молчите». Отправилась. Своим я об'яснила, что за О. С. прислала какая-то знакомая, и она, может быть, и ночует у нее. Часа через два та же горничная является с запиской ко мне — если я желаю, могу приехать. Я тотчас поехала, также не сказавши своим, в чем дело, но после они говорили, что они тотчас решили, что Н. Г. здесь. У него мы пробыли

---

[1]) Письмо В. К. Плеве к Н. А. Новосельскому от 9 окт. 1883 г.

[2]) Считая с 1866 г., когда О. С. приезжала в Сибирь навестить мужа.

часа два. Хотя нам и предлагали пробыть до утра, но О. С. решила лучше уехать. Н. Г. не удерживал, но только сказал, что если мы не останемся, то он едет тотчас дальше, и просил послать за лошадьми. Много расспрашивал меня о всех, — оказывается, он ничего не знал о нашей семье, кто, где и как мы живем. Меня все утешал, что еще увидимся в более приятной обстановке. До свидания, целую всех, мы с О. С. всю ночь не спали. О. С. думает завтра ехать; к счастью, идет пароход (правильные отправки прекратились); судя по погоде, можно надеяться, что пароход дойдет до места без затруднения» [1]).

Маскируя свое чувство радости описанием мелочно житейского и лишь под конец одной фразой передавая всю огромность переживания, — так же сбивчиво рассказывала Ольга Сократовна о свидании с мужем А. Н. Пыпину:

«В субботу 22-го в шесть час. вечера мы с Варенькой (проездом через Саратов на почтовых) повидались с Николаем Гавриловичем, милый Сашенька. Тебе не дала знать телеграммой потому, что он сам очень торопился поскорее прибыть на место, так как в настоящее время нужно дорожить каждым часом. Погода стоит хорошая, сухая и довольно теплая. А он таки порядочно едет обдерганный. Само собою разумеется, все побросал там и едет налегке, на перекладных (делает 230 и 240 верст в день). Скачет день и ночь, казался не очень утомленным и уверял, что так и есть на самом деле.

Движения его довольно порывисты, несколько взволнован, но довольно весел. Мы с Варенькой просидели у него (он останавливался у жандармского полковника) до 10 час. вечера. Тотчас после нашего от'езда с Варенькой он пожелал сам тотчас же ехать далее. Никак не могла уговорить его остаться до 5 час. утра. Спешил, страшно спешил. «Покуда, говорит, сухо, да тепло, голубочка, нужно доехать». Пароходом-то бы скорее, да и удобнее, да пароходы-то прекратили свои рейсы. Вот завтра идет последний пароход (на котором я и поеду). Думаю, что прибуду на место ранее его несколькими часами (если меня только не захватит ледоход). Вот видишь — потому я не дала тебе телеграммы. А на почтовых скакать страшное неудобство, да потом бы и не желал этого. Говорит, увидимся с ним [2]) весною, или на рождество. Тогда могут приехать с ним и дети наши с тобою. Не думает долго оставаться в Астрахани, хочет писать просьбу к государю [3]) о перемещении его на родину. Вот это самая главная причина, что он так торопится. Думает, что просьба его будет уважена. Так вот ты и погоди ехать с детьми на свидание.

Сегодня купила ему черную пару, т. е. сюртук, жилет и брюки, за 25 руб. Ведь он должен представляться губернатору.

---

[1]) Письмо В. Н. Пыпиной к Е. Н. Пыпиной от 23 октября 1883 г. (Музейный архив).

[2]) Т. е. С. Н. Пыпиным.

[3]) Это, очевидно, собственные ее мысли, приписанные ею отцу. А может быть, и действительно было сказано, что-нибудь подобное для ее успокоения, но это передано не вполне точно. *Мих. Чернышевский.*

Потом белья куплено (у него решительно ничего нет с собою) на 35 руб. 75 коп. Только самое необходимое купила. Разумеется, подумала и о теплом халате (стоит он 14 руб.), а валеные сапоги не купила, думая купить здесь, но они не понадобились, так как на нем есть отличные сапоги (необыкновенного фасона). Простых сапог нет. Придется купить в Астрахани. Денег у меня осталось немного, но на первое время думаю хватит, т. е. до присылки денег нашими детьми. Торопи их выслать поскорее прямо на мое имя до востребования на почте (так как не знаю еще, где поместимся с ним). На почту буду ходить каждый день. Пишите почаще. Я встретила его молодцом; но что чувствовала тогда — того и не перескажешь. А Варенька страшно разрыдалась [1]). Насилу уняли ее. А это на него могло подействовать не хорошо. Я все время старалась быть веселой. П у с т ь люди опять говорят, что я бесчувственная. Делаю так потому, ч т о так нужно. На мои глаза Н. Г. пополнел. А может быть это от дороги. Посмотрим потом. Велел тебе кланяться и благодарить за любовь ко мне» [2]).

Только через неделю, когда волнение улеглось, В. Н. Пыпина смогла дать уже более связный рассказ о свидании с горячо-любимым братом:

«Милая Еничка, понятно, как должно было огорчить вас известие, что Н. Г. не мог повидаться с нашими; еще хорошо, что мне удалось увидеть его. Это случилось так, что О. С. заговорила с Н. Г. о том, что мы будем горевать, узнавши, что он проехал Саратов, а мы не повидались с ним; полковник предложил О. С. написать записку, чтобы я приехала, и та же горничная, которая приезжала за О. С., явилась и за мной; а своим я не сказала, куда иду, потому что О. С. упомянула в записке, что нужно молчать, но так как я и днем никуда не хожу, чтобы не знали куда и зачем, то наши догадались, что, вероятно, приехал Н. Г., и мы отправились на пароход, но оказалось, что Н. Г. ехал сухим путем и находился в квартире жандармского полковника; он принимал нас как гостей, явился чай и фрукты, а потом все убеждал нас остаться ужинать, говорил, что он никак не отпустит Н. Г. без ужина. Вероятно, в инструкции жандармам предписывается быть такими любезными и внимательными. Когда он заметил мне, что я не так твердо и спокойно выдержала свидание, как О. С., то я ему отвечала, что уже потому нельзя было оставаться спокойной, что мне горько за семью, которая лишена свидания, что моя больная мать будет горевать, не свидевшись с Н. Г. — Он тотчас заявил готовность ехать к нам; ему сказано, что он может дозволить свидание с близкими без огласки; если бы он знал, что не рискует встретить у нас посторонних, то приехал бы с Н. Г. к нам, вместо того чтобы вызывать к себе О. С., как я уже писала. — Н. Г. отклонил поездку к нам, а также предложение пробыть в Саратове следующий день, и просил послать за лошадьми, даже не хотел ночевать. Меня успокаивал тем, — и маменьке тоже просил передать, — что он надеется скоро полу-

[1]) Впоследствии О. С. рассказывала, что Варенька плакала и кричала: «Николя! что они с тобой сделали! Что они с тобой сделали». *Н. Ч.-Б.*

[2]) Письмо О. С. Чернышевской от 24 октября 1883 г.

чить разрешение приехать в Саратов. На мое замечание, что напрасно окружили такой тайной его проезд через Саратов, сказал, что начальство имеет основание бояться манифестаций. Правда, здесь ходят слухи, будто бы несколько молодых людей высланы из Саратова за то, что они подготовляли встречу Н. Г., но я никак не могу верить этому, мало ли выдумывали пустяков только потому, что нужно же о чем-нибудь поговорить. Оставшись со мной, Н. Г. начал меня спрашивать, не ссорится ли с нами О. С., он знает, что это бывало прежде, у ней такой, говорит, недоверчивый характер; странное дело любовь — вот я уже старик, а попрежнему люблю ее сильно. Потом несколько раз в течение нашего свидания говорил, что чувствует себя виноватым перед нашей семьей; он снова и снова повторял это; я сказала ему, что напрасно он думает так, я даже не могу понять, в чем он может упрекать себя в отношении нас; а вот, говорит, в чем — что так уходил в свои одни книги, что не видел, что кругом меня делалось, мог быть вам полезен и ничего не сделал» [1]).

Еще раньше, на другой день после встречи с Николаем Гавриловичем, В. Н. Пыпина отправила А. Н. Пыпину телеграмму следующего содержания: «Виделись. Здоров. Завтра выезжаю на место. Варвара». Взволнованная рука перепутала все, что хотела передать, и только с получением подробных писем петербургским родным все стало ясно. Получив телеграмму, сыновья Чернышевского сейчас же поехали в Астрахань, прибыли туда с большими трудностями, вследствие прекращения навигации, и 1 ноября произошла встреча отца с детьми.

В семье у нас никогда не было разговора о подробностях этого свидания. Есть чувства, которым прилично только молчание. Но раз, в моем присутствии, осматривая Музей имени Чернышевского, проф. Б. М. С-ов обратился к моему отцу [2]) с вопросом: — «Ну, как же вы встретились тогда? Плакали?» — «Были слезы», кратко отвечал всегда сдержанный в проявлении своих чувств отец — и сейчас же перешел к другим предметам разговора.

По приезде в Астрахань, сыновьям Чернышевского не так-то легко было отыскать отца. «Приехали мы в 1 час дня, а отыскали папашу только в 5 часов, — рассказывал Михаил Николаевич. — Отправился я прямо в жандармское управление. «Можно видеть полковника?» — Как о вас доложить? — «Такой-то...» — Вас просят притти в 6 часов. — «А теперь можно видеть полковника?» — Они обедают-с. Я написал на карточке, что прошу извинения за беспокойство и просил бы только сообщить адрес. Отправили со мной жандарма к приставу в участок.—«Дома нет, через полтора часа пожалуйте». — Вспомнил, что в Астрахани живет Тимофей и Пелагея [3]) саратовские. Адрес Варенька [4]) сказала. Отыскал.

---

[1]) Письмо В. Н. Пыпиной к Е. Н. Пыпиной от 30 октября 1883 г.

[2]) М. Н. Чернышевскому, младшему сыну писателя.

[3]) Бывшие крепостные Н. Д. Пыпина.

[4]) В. Н. Пыпина.

«Где мамаша?» — Да вот, в Смирновских номерах остановилась. — Отправился отыскивать Смирновские номера. — «Где тут Чернышевские?»— Были, да выехали... Почтовая улица, а дом чей — неизвестно, только знают, что купца, который керосином торгует.

Прошли всю Почтовую улицу — не нашли сначала. Отправляемся опять в участок.

«Можно видеть пристава?» — Спать легли.

«Фу ты, чорт возьми!» — Пошли назад. Зашли в ламповый магазин. — «Кто тут у вас керосином торгует?» — Такие-то.

«А на Почтовой улице у кого есть дом?»

— Да вот у такого-то — Хачикова. Пошли. Нашли. Ищите и обрящете» [1]).

В. Г. Короленко в «Отошедших» пишет со слов своего брата, близко знавшего Чернышевского в Астрахани, что последний «из холодов Якутска приехал в знойную Астрахань здоровым».

Свидетельства родных Н. Г. подтверждают это мнение. «Папаша по-моему молодец молодцом», — пишет М. Н. Чернышевский на другой день после свидания с ним. — «Папашу мы нашли более бодрым и здоровым, чем можно было думать — седин, например, есть только в бороде, в голове не видно никакой... Вообще я думал, что он изменился гораздо более», — вторит ему брат [2]). «О моем здоровье вы все имеете представления менее хорошие, чем действительное его состояние», — замечает и сам Чернышевский в письме к Пыпину [3]). Конечно, этот приподнятый тон первых отзывов о внешнем виде Чернышевского не отвечал печальной действительности: писатель вернулся из ссылки морально сохранившимся до последней черточки, но совершенно больным физически. Уже в первых письмах из Астрахани Ольга Сократовна рассказывает, что купила мужу теплые сапоги, «бархатные на меху. Они собственно дамские, но Папаше понравились, и он с удовольствием носит их» [4]). Этого требовал застарелый ревматизм, заставлявший Чернышевского и в Сибири летом носить валенки. Сибирский стол тоже так отразился на здоровье Чернышевского, что только через несколько месяцев по возвращении из ссылки он научился «есть по-человечески», как выразился он сам в разговоре со старшим сыном. «Нервная впечатлительность в усиленной степени», подмеченная А. Н. Чернышевским в отце, также давала себя чувствовать и тяжело действовала на окружающих. Так, например, Ольга Сократовна жаловалась на «причуды» Николая Гавриловича, к которым никак не могла привыкнуть. Причуды эти состояли в следующем: по привычке, усвоенной еще в ссылке, когда, быть может, обычным и уже не замечаемым слушателем являлся приставленный к нему в вилюйском остроге жандарм, Чернышевский в первое время в Астрахани пел и читал наизусть отрывки стихов, оставаясь наедине в своей комнате. Из его сибирских пи-

---

[1]) Письмо М. Н. Чернышевского к А. Н. Пыпину от 2 ноября 1883 г.

[2]) Письма А. Н. Чернышевского к А. Н. и Е. Н. Пыпиным от 4 ноября 1883 г.

[3]) От 14 ноября 1883 г.

[4]) Письмо к М. Н. Чернышевскому от 12 ноября 1883 г.

сем известно, что он ночи проводил без сна, за работой: он писал статьи и романы, которые сжигал, запомнив их «от первой строки до последней». Приехав из Сибири, он, по привычке, хотел продолжать этот образ жизни, и продолжал бы, если бы Ольга Сократовна не восстала против этого со всем пылом свойственного ей «материнского» чувства опекания мужа.

Так приходилось им сживаться друг с другом заново после двадцатилетней разлуки.

Три дня, по прибытии в Астрахань, прожили они в номерах Смирнова, затем перешли на квартиру в дом Хачикова на Почтовой улице. Обставлена квартира была крайне скудно. «Только и могла что купить — кровать... Старый диван, стол без ноги и два стула дал хозяин. Вот и вся наша меблировка... Н. Г. третий день бегает занять где-нибудь денег, но ни у кого их нет... Я совсем потеряла голову», — писала Ольга Сократовна своему другу Вареньке [1]).

Кое-как внешний быт был налажен, пришли деньги от А. Н. Пыпина, и квартира стала «чистенькая, уютная и светлая»...

Гораздо тяжелее переживалась вынужденная замкнутость образа жизни, какой вели первое время Чернышевские. «Живем чисто в ссылке. Ни мы ни у кого не бываем, ни у нас никто», — жаловалась Ольга Сократовна. Как известно, Николай Гаврилович, по возвращении из ссылки, должен был жить под надзором. Начальник Астраханского жандармского управления Головин получил в этом деле следующую инструкцию от губернатора: «Иметь трех агентов, из них одного из чиновников, находящихся в распоряжении полицеймейстера, и двоих из непривиллегированного сословия. Первого поместить, по возможности, если не в одном доме с Чернышевским, то в соседстве с его квартирою с тем, чтобы он имел негласное наблюдение за образом жизни Чернышевского, его поступками, занятиями и знакомствами, а также следил за лицами, его посещающими. На обязанности же последних возложить надзор за Чернышевским во время навигации на пароходных пристанях, для предупреждения могущих быть попыток к его побегу». Надзор был негласный и стоил 125 руб. в месяц [2]).

Чернышевскому скоро стало известно, что переписка его распечатывается. Это заставило его быть особенно сдержанным в письмах. Вот почему нельзя ожидать даже от писем Николая Гавриловича к самому близкому его брату и другу А. Н. Пыпину, что они свободно откроют доступ к самым интимным переживаниям писателя. Несравненно более ценными для выяснения его миросозерцания на закате жизни были бы не дошедшие до нас беседы, длившиеся, по свидетельству А. Н. Пыпина, сплошь целыми днями во время приездов Пыпина в Астрахань...

Несмотря на всю предосторожность, предпринятую полицией во избежание огласки в деле освобождения Чернышевского, факт возвращения по-

---

[1]) 1 ноября 1883 г.

[2]) Чернышевский после Сибири (по данным архива департамента полиции), — «Былое» 1917 г., № 4 (окт.).

следнего из Сибири стал достоянием широкой гласности, и учащаяся молодежь прислала Чернышевскому свое приветствие.

В январе 1884 года Чернышевским была получена телеграмма: «Пьем здоровье лучшего друга студентов. — Московские студенты» [1]).

Еще раньше, письмом от 30 октября 1883 г., Чернышевского приветствовал старый товарищ по «Современнику» М. А. Филиппов. «Приветствует Чернышевского, как бывшего коллегу по литературе, с возвращением по милости монарха в Россию и обещает выслать Чернышевскому издаваемый им журнал», — докладывала о письме Филиппова шпионская слежка [2]).

Конечно, ни студенты, ни М. А. Филиппов не могли рассчитывать хотя бы на уведомление о получении Чернышевским их приветствий.

Из старых друзей Николая Гавриловича по «Современнику» был жив еще М. А. Антонович, разделивший с ним последний день пребывания на свободе [3]). Чернышевский долго не решался упомянуть его имени в своей переписке после ссылки и даже первое время в письмах к сыну Михаилу отрекался от знакомства с ним. М. А. Антонович принял должное участие в хлопотах по доставлению Николаю Гавриловичу переводной работы по возвращении из ссылки. Он же прислал Чернышевскому в 1888 г. ценные материалы для биографии Добролюбова, — все, что он мог отыскать «в растерзанных и разбросанных остатках» кабинета Чернышевского в доме Есаулова в 1862 г. Близкий друг и единомышленник Чернышевского и Добролюбова, М. А. Антонович не мог сдержать горячего порыва, пробужденного в нем воспоминаниями о славных 60-х годах: «...даже при письменном сообщении с Вами, — писал он Чернышевскому, посылая материалы по Добролюбову, — во мне подымается целый рой горячих чувств и задушевных мыслей, так что я решительно теряюсь и не знаю, с чего начать и что писать. Скажу Вам только одно. Те чувства глубокого уважения, горячей привязанности и искренней признательности к Вам, которые переполнили мое сердце, как только я узнал Вас, — сохраняются во мне постоянно и неизменно во всей их прежней юношеской силе. Они составляют лучшее и единственное утешение в моей горькой жизни; они — единственная святыня,

---

[1]) «Несмотря на принятые меры, — доносила шпионская слежка, — авторы этой телеграммы обнаружены не были» (Чернышевский после Сибири, — «Былое» 1917 г., № 4).

Напомним, что в это время реакция наложила свою руку и на университеты: они были лишены последних остатков автономии, в среде студентов были уничтожены всякие зачатки корпоративных организаций, и при малейшей попытке протеста они отдавались в солдаты. Пить за здоровье Чернышевского, таким образом, было равносильно революционному выступлению.

[2]) М. А. Филиппов (1828—1886), известный публицист и юрист, обратил на себя внимание обширной статьей в «Современнике» 1859 г.: «Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство». Был сотрудником «С-ка» с 1859 по 1861 г. Известен еще, как автор запрещенного романа «Скорбящие». В 1882—1883 гг. был издателем журнала «Век». О нем см. Полное собрание сочинений Чернышевского, т. VIII, стр. 234.

Кроме данных слежки, сведений о письме Филиппова, как и самого письма, не сохранилось.

[3]) Как известно, М. А. Антонович вместе с д-ром П. И. Боковым оказались невольными свидетелями ареста Чернышевского в доме Есаулова 7 июля 1862 г.

сохранившаяся чистою и неприкосновенною среди всех житейских треволнений и невзгод» [1]).

Наконец, в 1889 г. Чернышевскому выразил такой же горячий привет еще один его крупный единомышленник: В. В. Стасов, знаменитый музыкальный критик, сторонник эстетической теории Чернышевского.

И М. А. Антоновичу и В. В. Стасову Чернышевский мог ответить лишь кратким выражением чувств уважения и благодарности, высказав их общими фразами в письмах к А. Н. Пыпину.

II.

Первой мыслью Чернышевского в Астрахани было: «с утра до ночи работать, т. е. писать» [2]). Единственным его багажем, привезенным из Сибири, были огромнейшие литературные планы. Мечтая осуществить издания «огромного сборника всех порядочных повестей и романов таких писателей, которые не могут надеяться на распродажу своих произведений», «антологии большого размера», «бесчисленных романов», журнальных статей и пр., Чернышевский полагал, что, с освобождением из Сибири, ему будет предоставлено и право литературной деятельности. Здесь сразу же его надежды потерпели крушение.

Прошел целый год, прежде чем выяснилось положение дела, благодаря хлопотам А. В. Захарьина, который добился разрешения для Чернышевского печатать свои произведения, и то с условием, чтобы они появлялись под псевдонимом и проходили предварительную цензуру [3]).

И после этого Чернышевскому пришлось пережить длительный ряд разочарований при соприкосновении с журнальным миром.

Правительственная реакция 80-х годов, вдохновляемая К. П. Победоносцевым, наложила свою тяжелую руку на печать: в 1882 году были изданы дополнительные временные правила к существовавшим еще с 1865 г.; этими мерами правительство пыталось окончательно задушить голос общественного мнения. Органы печати, временно приостановленные после трех предостережений, могли выходить вновь лишь под предварительной цензурой, при чем для газет устанавливалось требование представлять каждый номер цензору не позже 11 час. вечера, что по техническим условиям работы являлось почти не осуществимым. Вследствие этого должны были прекратить свое существование «Голос» Краевского и «Страна» Полонского. Кроме того, был учрежден особый ареопаг из 4 министров: министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра юстиции и обер-прокурора святейшего синода, которым предоставлялось право не только навсегда прекращать издание журнала или газеты с «вредным» направлением, но и лишать навсегда редактора ее права издавать какие бы то ни было органы печати. Таким способом были прекращены «Отечественные записки» в 1884 г.

[1]) Письмо от 3 августа 1888 г.

[2]) Письмо к А. Н. Пыпину от 28 октября 1883 г.

[3]) Об этом см. подробно в Сарат. сборнике 1926 г.

и некоторые другие журналы. В это трудное время выжили лишь немногие органы печати, как «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Русские ведомости», но и их существование висело на волоске и участие в их работе писателя, имя которого 20 лет было под запретом, при всем уважении к его литературно-общественным заслугам, не могло не внушать им серьезного опасения.

Отсюда понятно, в какое затруднение был поставлен А. Н. Пыпин, редактор «Вестника Европы», когда Чернышевский обратился к нему по возвращении из Сибири с просьбой о выяснении вопроса относительно возможности ему печататься и даже о помещении в распространенной газете об'явления о подготовке им полного собрания своих сочинений.

В переписке было трудно обсуждать подобного рода вопросы, и Пыпин предпринимает поездку в Астрахань, где и выясняет Чернышевскому положение дел. Вместе с тем едет в Астрахань и старинный знакомый Пыпиных и Чернышевских А. В. Захарьин, располагавший большими связями в правительственных сферах и не имевший никакого отношения к литературе. После совместного обсуждения дела Захарьин берет на себя хлопоты перед департаментом полиции о возобновлении Чернышевскому права заниматься литературной деятельностью. В 1884 году Чернышевский получает это право, с ограничением в виде псевдонима и предварительной цензуры.

И вот Чернышевский вступает в сношения с журнальным миром. А. Н. Пыпин, М. А. Антонович и А. В. Захарьин хлопочут о помещении его статей в «Вестнике Европы».

Последний помещает маленькую компилятивно-переводную статейку «Столетие газеты Таймс» и затем отказывается от сотрудничества Чернышевского. Захарьин, через М. М. Ковалевского, завязывает знакомство с издателем-редактором «Русских ведомостей» В. М. Соболевским и добивается помещения в его газете статьи Чернышевского «Характер человеческого знания». У В. М. Соболевского же Захарьин видится с редактором «Русской мысли» Гольцевым и налаживает отношения Чернышевского с «Русской мыслью», которая принимает на свои страницы другую статью Чернышевского: «О происхождении теории благотворности борьбы за жизнь». Но обе статьи проходят под прикрытием редакционных примечаний. Кроме статьи, «Русская мысль» напечатала еще часть собранных Чернышевским материалов для биографии Добролюбова. На этом сотрудничество Чернышевского в этих двух органах и остановилось. Несмотря на уважение и симпатию, какими были проникнуты взаимоотношения Чернышевского и редакторов «Русской мысли» В. А. Гольцева и В. М. Лаврова, «Русская мысль» затруднилась предоставить Чернышевскому то широкое поле действия, о котором он писал Гольцеву.

В переписке Чернышевского — автора «Эстетических отношений» и Гольцева — теоретика чистого искусства — не могла не сказаться глубокая идеологическая рознь, отделявшая вообще 60-е годы от 80-х.

В. Г. Короленко в своих воспоминаниях сравнивает Чернышевского с легендарным богатырем, заснувшим волшебным сном на целое столетие и

пробудившимся тогда, когда вся окружающая действительность изменила свою физиономию до неузнаваемости.

Действительно, выхваченный жестокой рукой из самого разгара общественных событий и перенесенный в тишь и запустение ссылки на 20 лет, что нашел бывший вождь «Современника» у себя на родине? Морально-публицистическая оценка общественных явлений в литературе уступала место эстетико-философской после ликвидации народнической идеологии, изжившей себя к 80-м годам. Героические задачи служения народу и пафос общественной борьбы сменились идеей личного самоусовершенствования, воплотившейся в толстовство с его лозунгом «непротивления злу насилием» и культом «малых дел», к которым призывала «Неделя». Героем дня был «средний человек», но литература уже не думала о том, чтобы открыть ему путь к счастью через просвещение, а подвергала скорбной критике его отрицательные стороны. Все это было чуждо Чернышевскому, — мыслителю-революционеру, поклоннику гражданской музы Некрасова, «просветителю» и бывшему литературному критику Толстого, Островского, Тургенева.

Литературная деятельность Чернышевского в Астрахани началась с переводов. Это единственное, что мог выхлопотать для него в 1883 г. Пыпин через Л. Ф. Пантелеева и М. А. Антоновича. Первой книгой, переведенной Чернышевским в 1883 г., была «Sprachvergleichung» (Сравнительное языкознание) Шрадера; за ней последовали «Энергия в природе» Карпентера и «Основные начала» (First Principles) Спенсера.

Из переводных статей этого времени следует отметить небольшую компилятивно-переводную статейку «Столетие газеты Таймс» и такую же небольшую, не дошедшую до нас, — «О бассейне реки Конго». Все они печатались без имени автора. Капитальным же переводным трудом Чернышевского с 1885 по 1889 г. явилась «Всеобщая история» Г. Вебера, которую он довел до половины 12-го тома, под псевдонимом «Андреев».

«Всеобщая история» Вебера, как научный труд известного немецкого историка, не удовлетворяла Чернышевского: противонаучных элементов в нем он видел два. Первое — влияние на Вебера трансцендентальной философии, второе — пристрастие к своей нации. Считая книгу все же «честной и добросовестной», Чернышевский не бросал перевода, но находил необходимым переделывать текст Вебера, чтобы сделать его понятнее и интереснее для русского читающего общества.

Хотя в смысле об'ема и нужно признать за переводом Вебера доминирующее место в ряду литературных работ Чернышевского после ссылки (всего им было переведено свыше 600 печатных листов этого труда), — но сам Чернышевский меньше всего придавал значения этой громоздкой механической работе. Главную роль в его жизни играли интересы научные, а единственным смыслом научной деятельности он считал просвещение широких масс, содействие к ознакомлению их с теми понятиями, усвоение и проведение в жизнь которых способствовало бы умственному, нравственному и экономическому преуспеянию трудящихся. Насколько он остался верен

своим прежним задачам «просветителя» и после ссылки, свидетельствует его записка, переданная им в Астрахани, как автограф, на память, молодому учителю уездного училища Н. Ф. Скорикову.

«Просвещенные люди какого-нибудь народа, имеющего просвещенных людей, — писал в ней Чернышевский, — видят, — масса их народа имеет дурные привычки, вредящие ей; они желают добра своему народу, чувствуют себя обязанными действовать на пользу ему и находят, что важнейшая причина неудовлетворительности его настоящего положения состоит в дурных привычках его массы. Они чувствуют себя обязанными действовать для устранения этой главной причины его страданий.

Спрашивается теперь: какой характер должна иметь та их деятельность на пользу народа, которая, по их справедливому мнению, составляет их патриотическую обязанность?

Масса их народа имеет дурные привычки. Для его блага надобно, чтобы дурные привычки заменились хорошими. Почему же она до сих пор держится своих дурных привычек, почему не заменились они у нее хорошими? Она или не знает хорошего, или не имеет возможности усвоить его себе; чаще всего эти препятствия существуют вместе. Стало быть, просвещенные люди, желающие блага своему народу, должны знакомить его с хорошим и заботиться о доставлении ему средств приобрести это хорошее» [1]).

Высказывая эти взгляды не в письме, а в частной записке, — что для нас особенно важно, — Чернышевский был совершенно лишен возможности проводить их в жизнь. Часто в письмах из Астрахани он замечает с горечью А. Н. Пыпину, что его уделом являются лишь «безжизненные» статьи. Потому он отклоняет предложения Пыпина писать характеристику русской жизни и литературы 60-х годов и выбирает темы более отвлеченные, большею частью из области естествознания и натурфилософии. Здесь, уничтожая страницу за страницей «за сухость, безжизненность» и отдаленность от насущных интересов русской жизни, Чернышевский все же дал ряд статей, которые вошли в качестве приложений к переводу «Всеобщей истории» Вебера под общим названием «Очерков научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории человечества».

Таковы были статьи: «О расах», «О классификации людей по языку», «О различиях между народами по национальному характеру», «Общий характер элементов, производящих прогресс», «Климаты. Астрономический закон распределения солнечной теплоты», «Очерк научных понятий о возникновении человеческой жизни и о ходе развития человечества в доисторические времена». Несмотря на отвлеченность тем, и в этих очерках между строк проглядывает подлинное лицо социалиста-просветителя, когда, например, он, выступая против «пустых выдумок ученых, бывших прислужниками рабовладельцев», указывает мимоходом на то, что освобожденные рабы с течением времени становятся полезными гражданами (в статье «О расах»), или высказывает мысли о том, что «гибок, богат и при всех своих несовер-

---

[1]) См. «Исторический вестник» 1905 г., кн. V, стр. 494—495

шенствах прекрасен язык каждого народа, умственная жизнь которого достигла высокого развития» («О классификации людей по языку»), или напоминает о том, что «человек никогда не может утратить влечения улучшать свою жизнь, и если у каких-нибудь людей мы не замечаем этого стремления, мы лишь не умеем разгадать мыслей, скрываемых ими от нас по каким-нибудь соображениям, чаще всего по мнению, что бесполезно говорить о том, чего нельзя сделать» («О различиях между народами»). Из отдельных статей научного характера, написанных Чернышевским в Астрахани, отметим «Характер человеческого знания» (1885), в которых Чернышевский выступал против метафизики в натурфилософии, и статью «О происхождении теории благотворности борьбы за жизнь», которая явилась изложением взглядов Чернышевского на дарвинизм [1]). Этим исчерпывается круг опубликованных в разное время научных статей Чернышевского 1883—1889 гг. Но кроме них, в бумагах Николая Гавриловича, купленных М. Н. Чернышевским у Е. Г. Зеленской в 1905 г., обнаружилось целое собрание неоконченных его рукописей 80-х годов историко-философского и естественно-научного характера под заглавием «Мои начатые и брошенные статьи». Хронологию их можно восстановить только с приблизительной точностью, руководствуясь данными переписки Чернышевского с Пыпиным и В. А. Гольцевым в 80-е годы. Самой крупной из этих статей является «Очерк борьбы пап с императорами», задуманный еще в Сибири и написанный в Астрахани в 1888 г. После него идет «Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории. Влияние климата», в двух вариантах. В остальных отрывках, большею частью лишенных названия, Чернышевский отводит большое место критике дарвинизма и разным вопросам всеобщей истории человечества. Сохранилось всего 9 таких неоконченных статей без названия [2]). Особняком в ряду их стоит «Биография кардинала Мазарини до его вступления в министерство», подготовленная Чернышевским к печати в качестве приложения к XII тому перевода Вебера и не увидевшая свет вследствие неожиданной кончины автора.

Натурфилософские воззрения Чернышевского были изложены им еще в недошедших до нас статьях: в предисловии к переведенной им книге Карпентера «Энергия в природе» и в предисловии и в послесловии к им же переведенному сочинению Спенсера «Основные начала». О первом из них мы знаем только, что оно явилось «осмеянием бедняги автора за его антропоморфическую философию», и вследствие этого не могло появиться в издании перевода Карпентера, которым заведывал М. А. Антонович [3]). Второе, как известно по письмам Чернышевского к Пыпину, было им написано и брошено.

---

[1]) Статья «Характер человеческого знания» была напечатана в «Русских ведомостях» в 1885 г., №№ 63 и 64, а «О происхождении теории благотворности борьбы за жизнь» — в «Русской мысли» в 1888 г., сент., за подписью «Старый трансформист».

[2]) В настоящее время они подготовлены нами к печати, под заглавием «Неизданные статьи Н. Г. Чернышевского 1885—1889 гг.».

[3]) Об этом см. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, 1908 г., кн. II, стр. 98.

Следующее место в ряду произведений Чернышевского, написанных после ссылки, занимают его «Литературные воспоминания». С самого же начала переписки с Чернышевским А. Н. Пыпин просил его прислать воспоминания о поэтах и писателях 60-х годов, имея в виду их значение для будущих биографий того или другого писателя. Чернышевский откликнулся на предложения брата, и результатом их оказался целый ряд мемуаров-исследований, посвященных близким сподвижникам Чернышевского по славной деятельности 60-х годов: Некрасову, Добролюбову, Тургеневу; к ним примкнули воспоминания о Н. И. Костомарове и Ф. М. Достоевском. Кроме воспоминаний о Некрасове, Чернышевский дал ряд критических заметок к стихотворениям поэта издания 1879 г., куда также вошел мемуарный элемент [1]).

Из переписки Чернышевского известно, что им были написаны еще «Воспоминания о поэтах и беллетристах 50-х годов», но он уничтожил их, чувствуя, что они не понравятся Пыпину, — вероятно, за излишне-полемический тон. К воспоминаниям же следует отнести и «Мысли о будущности Саратова», написанные Чернышевским по всей вероятности в конце 1889 года в Саратове, — здесь он в полубеллетристической форме, вероятно рассчитанной на фельетон «Русских ведомостей», излагал мысли о топографии Саратова (осталось незаконченным).

Вопрос о занятии беллетристикой сильно занимал Чернышевского еще в Сибири. «Я пишу все романы и романы. Десятки их написаны мною... Пишу и рву. Беречь рукописи не нужно: остается в памяти все, что раз было написано. И как я услышу от тебя, что могу печатать, буду посылать листов по 20 печатного счета в месяц» [2]).

Об одном из этих романов идет речь в письме к Пыпину, написанном через неделю по приезде в Астрахань: «...труд пойдет у меня быстро, потому что будет состоять только в машинальном повторении готового рассказа, который был уже написан мною и помнится мне наизусть сплошь целыми страницами. О том, как твердо и подробно помню я его, можешь судить по тому факту, что первую главу я рассказывал Саше в продолжение более нежели двух часов... Рассказ имеет громадный размер: тома полтора «Вестника Европы» или «Отечественных записок»...».

Повидимому, здесь Чернышевский имел в виду свою повесть «Вечера у княгини Старобельской», которую он начал писать в 1884 г., именуя ее в письмах «повестью из английской жизни».

В художественном отношении повесть не отличается особенными достоинствами, но интересна, как материал для ознакомления с личностью автора. В письме к К. Т. Солдатенкову Чернышевский указывает на автобиографическое значение повести: в главном ее герое, под именем П. С. Вязовского, Чернышевский вывел себя. «Разумеется, — добавляет он, — я

---

[1]) Впоследствии Пыпин широко использовал воспоминания и заметки о Некрасове в своей книге «Некрасов». Они же дали богатый материал для биографических статей о Чернышевском Е. А. Ляцкого в «Современнике» и «Современном мире» 1911 г.

[2]) Письмо к А. Н. Пыпину из Сибири.

для забавности рассказа несколько преувеличиваю мои смешные и уродливые качества» [1]).

Из беллетристики Чернышевского этих лет назовем еще рассказы автобиографического характера: «Бабушкины рассказы» и «Наше счастье», дошедшие до нас в отрывках. Рассказы о далеких временах из жизни предков, переданные Чернышевскому его бабушкой, Пелагеей Ивановной Голубевой в годы его детства, глубоко запали ему в душу. Еще в крепости, в 1862 г., в своей Автобиографии, он коснулся немудреного быта своих далеких прадедов. В сибирских письмах к жене, задержанных в свое время III отделением, Чернышевский возвращался к тем же воспоминаниям. Теперь, в Астрахани, под влиянием А. Н. Пыпина, напомнившего о прежнем интересе к забытой старине, Чернышевский начал было обрабатывать ее в беллетристической форме, в третий раз повторяя те же два сюжета: о переселении прадеда-священника в новый приход и о взятии его женой на воспитание ребенка богатого вельможи. Работа осталась не доведенной до конца.

Выступил Чернышевский и в роли поэта: еще в Сибири, в 1870—1875 гг., им были написаны две поэмы: «Гимн Деве неба» и «Из Видвесты»; в 80-х годах он с поразительной точностью повторил их на память, отсылая для напечатания в «Русскую мысль». По словам К. М. Федорова, бывшего секретаря Чернышевского, последним было написано еще стихотворение под заглавием «Песнь невесты царя царей», подвергшееся уничтожению от руки автора. В поэме «Гимн Деве неба», как и в других, Чернышевский явился выразителем натуралистической поэтики 50-х годов, призывавшей к обновлению поэтических форм, и, следовательно, идеологом революционного созидания [2]).

Наконец, необходимо отметить, что в Астрахани Чернышевским была начата большая редакционная работа: пересмотр своих старых статей в «Современнике», — чему много способствовала присылка писателю полного комплекта журнала с года его основания страстным поклонником его, присяжным поверенным А. В. Михайловым. Как видно из переписки, Чернышевский собирался присоединить к этим своим статьям примечания и подготовить их для нового издания. Этот большой труд остался не доведенным до конца. Но сохранились следы его, во-первых, в виде списка статей Чернышевского, составленного им самим [3]), а, во-вторых, в виде выписок из старых журналов, сделанных для Чернышевского его молодыми помощниками. Так, были выписаны «Изобличительные письма» и «Юридические заметки профессора Крылова» из «Русского вестника» 1857 г. и вместе с ними часть статьи «Полемические красоты» самого Чернышевского. Сохранилась также переписанная рукою М. П. Краснова, служившего переписчиком у Чер-

---

[1]) См. письмо к К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888 г.— Повесть напечатана после смерти Чернышевского в т. X Полного собрания его сочинений.

[2]) См. статью В. Гиппиуса «Чернышевский - стиховед», — Саратовский сборник 1926 г.

[3]) Этим списком потом М. Н. Чернышевский руководился при издании Полного собрания сочинений своего отца в 1906 г.

нышевского, статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» с поправками автора [1]).

Переработал также Чернышевский, как известно, и свою диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», присоединив к ней предисловие. Последнее послужило во вред своевременному изданию этой книги, вследствие упоминания в нем имени Фейербаха.

Таким же возвратом к прежним литературным работам Чернышевского было собирание материалов для биографии Н. А. Добролюбова, на которое Чернышевский был вдохновлен все тем же А. Н. Пыпиным [2]). Первоначально Николай Гаврилович думал написать, по совету Пыпина, небольшую биографию своего знаменитого друга, по его письмам к родным, но работа так увлекла его, что скоро должна была принять огромные размеры и из биографии превратиться в двухтомное собрание материалов для нее. Смерть помешала Чернышевскому закончить этот труд, и только I том его был издан уже Пыпиным после смерти Чернышевского, в 1890 г.

Помимо сводки литературных работ Чернышевского в Астрахани, переписка его 1883—1889 гг. дает материал для ознакомления с теми литературными замыслами, которые зрели в его уме, не успев вылиться на бумагу. Таков его план создания «Энциклопедического словаря» по образцу немецкого Conversation Lexicon'а Брокгауза. Мы знаем, что Чернышевский стремился сделать науку доступной широким массам, и эта мысль никогда не покидала его. Когда он узнал, что Суворин издает уже задуманный им лексикон, он все же не до конца отказался от плана работы в этой области. После этого он пишет жене, что думает издать «Небольшую популярную энциклопедию». Но последняя так и не была написана им ввиду близкой смерти.

Заслуживают большого внимания также неосуществившиеся планы Чернышевского составить «Труды по истории русской журналистики» в годы его участия в ней. Вероятно, представляло бы большой общественный интерес и предисловие к сочинениям Марка Вовчка «в виде обзора движения идей в беллетристике того времени (1860—1875 гг.)», которого Чернышевскому не пришлось написать ввиду отказа со стороны К. Т. Солдатенкова издать сочинения Марка Вовчка. Думал он написать еще «Историю некоторых отделов литературы 1840—1865 гг.» (в 1888 г.), которая также осталась не написанной. «Материалы для биографии Некрасова» и книга о Добролюбове — тоже входили в планы Чернышевского этого времени, оставшиеся невыполненными. Есть еще упоминания в письмах Чернышевского о том, что он хотел написать предисловия к Воспоминаниям А. Я. Головачевой-Панаевой и к переводу книги Летурно «Эволюция морали», сделанному Б. А. Марковичем. Оба не были написаны: первое потому, что Солдатенков отказался печатать отдельной книжкой мемуары Головачевой-Панаевой, второе —

[1]) С этого экземпляра статья печаталась в Полном собрании сочинений Николая Гавриловича 1906 г.

[2]) Как известно, собирание Чернышевским материалов о Добролюбове началось еще в 1862 году.

потому, что Чернышевский, прочитав перевод Марковича, нашел, что его работа достаточно хороша, и в предисловии не нуждается.

Не удосужился Чернышевский написать и задуманную им было рецензию на сборник «Воспитание, нравственность, право», изданный В. А. Гольцевым в 1887 г.

К числу отброшенных в сторону планов следует отнести «Ученый разбор сочинений Стасюлевича по всеобщей истории», которым Чернышевский хотел «наказать» издателя «Вестника Европы» за помещение на страницах его журнала насмешливого отзыва о «переодеваньи» Вебера в переводе г. Андреева [1]). А. Н. Пыпин раз'яснил Стасюлевичу, кто скрывается под этим псевдонимом, и тот просил передать Чернышевскому его извинение.

III.

День Чернышевского в Астрахани, по свидетельству его секретаря, К. М. Федорова, обыкновенно начинался следующим образом: «В 7 часов утра он уже был на ногах, пил чай, и в это же время или читал корректуру, или же просматривал подлинник перевода (он переводил историю Вебера), затем с 8 часов до 1 часу дня переводил, диктуя своей «пишущей машине», как он меня, шутя, называл, за скорое писание под диктовку; в 1 час дня мы, т. е. супруги Чернышевские и я, обедали. Страдая давнишним недугом, катарром желудка, он во время обеда ел очень мало и питался исключительно молоком и легкой кашицей. После обеда, который продолжался не более минут 30—40, Чернышевский прочитывал газеты и журналы, а с 3-х до 6 часов вечера, т. е. до вечернего чая, продолжалась работа. И если «пишущая», т. е. я, и «диктующая» машины — Чернышевский — не уставали, то занятия затягивались далеко за полночь. В особенности это почти всегда бывало перед окончанием перевода каждого тома истории Вебера».

Работа Чернышевского не ограничивалась тем временем, какое он проводил со своими помощниками. По свидетельству другого его секретаря, М. П. Краснова, последний, возвращаясь из театра, «всегда видел в его окне свет. В это время он пробегал наши рукописи, просматривал корректуры, приводил в систему материалы для биографии Добролюбова, читал и проч. Часто утром его приходилось заставать видимо утомленным в большинстве случаев от долгой ночной работы».

---

[1]) См. «Вестник Европы» 1888 г., кн. XI, обложка.— Напомним, что это был не единственный отзыв в таком роде о переводе Вебера Чернышевским. Псевдоним, выбранный Чернышевским («Андреев»), ввел в заблуждение чуть ли не все журналы. С появлением в свет первых томов перевода, «Исторический вестник», «Наблюдатель», «Русское богатство» стали отпускать шуточки по поводу «Андреева», который должен был бы пояснить себя хоть какими-нибудь инициалами. Перевод находили «тяжелым», а вступительные статьи переводчика поверхностными. Вдруг рецензии сразу изменили тон по отношению к переводчику: перевод оказался «образцовым», предисловия и вступительные очерки — «прекрасными и весьма остроумными»... Невольно напрашивается на сравнение ходячий анекдот о Льве Толстом, предложившем в одну редакцию рассказ под псевдонимом и удостоенном похвалы редактора лишь после обнаружения имени автора.

Ольгу Сократовну чрезвычайно тревожили ночные занятия мужа, и она принимала по отношению к нему, как к ребенку, меры заботливой нянюшки.

В 1888 году летом у Чернышевских жила хорошая их знакомая, Антонина Александровна Чернышевская, бывшая тогда молоденькой девушкой. Она рассказывала, что Ольга Сократовна поставила кушетку, на которой А. А. должна была спать, прямо у дверей кабинета Николая Гавриловича. Обязанность молодой девушки была — наблюдать, чтобы в дверной щелке кабинета не было света. Николай Гаврилович терпеливо подчинялся этим требованиям, хотя случалось, что его дверь внизу оказывалась заложенной каким-нибудь ковриком [1])...

Заботилась Ольга Сократовна и о том, чтобы гулял Николай Гаврилович. Правда, прогулки в знойной Астрахани днем бывали нестерпимы, когда город тонул в пыли, подымаемой сухим горячим ветром. Даже окно в комнате Николая Гавриловича невозможно было открыть летом из-за пыли, и он предпочитал сидеть дома. Если же выходил на прогулку, то как ребенок радовался окружавшему его миру и сейчас же входил с ним в живое и тесное общение. Он приносил домой с улицы голодных кошек, кормил сахаром детей.

«Если при нем в это время бывали деньги, то он их раздавал просителям.

...Во время прогулок он заходил иногда к мастеровым, рабочим, знакомиться с их бытом, с положением труда, с его доходностью. Знакомства с ними он заводил, пользуясь каждым удобным случаем»,—вспоминает М. П. Краснов. На улице с Николаем Гавриловичем случались и оригинальные сцены. Так, однажды, встретились ему персидский мулла и еврейский раввин, в живописных костюмах, оживленно разговаривавшие между собою. Николай Гаврилович, привлеченный их беседой, принял участие в ней и заговорил с одним из них по-персидски, а с другим — по-еврейски. На прощание мулла сказал Чернышевскому: «Ты — великий перс», а раввин — в свою очередь: «Ты — великий еврей» [2]).

С внешней стороны жизнь Чернышевского в Астрахани протекала не так спокойно, как можно думать, судя по его благодушным отзывам о ней в переписке. Летом 1885 года у него был сделан полицией обыск, вследствие доноса неизвестного лица, будто Чернышевский занимается писанием «возмутительных сочинений». Сам Николай Гаврилович рассказывал Пыпиным в Саратове, по приезде из Астрахани, еще об одном случае такого же рода.

В один прекрасный день является полицейский с запиской и говорит, что «пристав просит вас пожаловать завтра к 9 часам утра в участок». — Хорошо.

---

[1]) Чтобы не беспокоить Ольгу Сократовну скрипом своего кресла, Чернышевский сам обшил кожею его ножки.

[2]) Было рассказано мне посетившим Музей в 1925 г. Д. В. Левашевым, передавшим это со слов Г. А. Ларина, знавшего Чернышевского в Астрахани. *Н. Ч.-Б.*

Приходит. Пристав был занят и говорит:

— Извините, я не могу еще с вами говорить, пока сядьте сюда к окну и почитайте газету.

Николай Гаврилович взял газету, стал читать. Пристав покончил разговор со своими посетителями, затем позвонил и велел позвать еще кого-то. Входит молодой человек. Пристав ему тихонько и говорит:

— Ну, расскажите о Чернышевском, какие у него собрания бывают.

Николай Гаврилович услышал свое имя и прислушался.

— Как же, — отвечает молодой человек, — у него и собрания бывают, и речи противоправительственные на этих собраниях говорятся.

— И вы там бывали?

— Как же, бывал!

Тогда пристав его потихоньку спрашивает, указывая на Николая Гавриловича:

— Ну, а этот господин вам не знаком?

Тот взглянул:

— Нет, такого я что-то не знаю.

Тут пристав как рассердится:

— Ах ты, мерзавец! Как ты смеешь говорить про человека, когда ты его не знаешь?

Перед Николаем Гавриловичем извинился и сказал, что он свободен [1]).

После Николаю Гавриловичу было предложено привлечь доносчика к ответственности, но он отказался.

Еще об одном неприятном инциденте с Чернышевским в Астрахани передает Ольга Сократовна в письме к М. Н. Чернышевскому от 25 февраля 1886 г.:

«Перешли мы на новую квартиру вследствие того, что к нам забрались мазурики. Я страшно перепугалась и тотчас же начала искать другую квартиру. Да и холодная та была. В столовой за сундуком и за шкафом образовались ледяные сосульки, и ковер примерзал к полу. А так сама по себе квартира была веселая и красивая. Жаль было с нею расставаться, да делать нечего. Совсем почти была за городом. С полчаса не могли докричаться хозяйского дворника и городового. А последний недалеко от нас на углу стоит. Да вдобавок еще среди белого дня (в 2 часа пополудни). Переполох был страшный. Папашу один было совсем удушил. Хорошо, что я еще была дома (собиралась итти в город за покупками), да Сусанна [2]) была у меня. А то бог знает, что могло бы выйти! Один с заднего крыльца пришел с просительным письмом, а другой — с переднего. С заднего кухарка понесла мне письмо; а парадное крыльцо отворил сам Папаша. Зная, что товарищ его расправляется с кухаркой, этот бросился на Папашу. Откуда у меня только сила явилась, сама не понимаю. И если бы не Папаша мешал, то я бы сразу

---

[1]) Об этом инциденте рассказывает со слов Н. Г. Чернышевского его двоюродная сестра Ек. Ник. Пыпина. *Н. Ч.-Б.*

[2]) С. Б. Суклясова, знакомая молодая девушка. *Н. Ч.-Б.*

вытолкала его за дверь. Он же кстати был пьян. Сусанна побежала за дворником. Уж что было — так ты и представить себе не можешь! Главное, оба чуть ли не из дворян. Один — высланный сюда студент, а другой сын отставного аудитора. Один убежал (студент), а другого я отправила в участок. Папаша, разумеется, по своей доброте смотрел на них не как на жуликов, а как на бедняков. Это пьяные-то рожи! Удивительный он у нас чудак!..»

Было ли это нападение действительно попыткой ограбить Чернышевского или являлось замаскированным обыском, подстроенным полицией, неизвестно.

Астраханский климат чрезвычайно тяжело отзывался на здоровьи Николая Гавриловича и Ольги Сократовны. Последняя беспрестанно просила сына, М. Н. Чернышевского, похлопотать о переводе отца в другой город. Еще в 1885 году А. Н. Пыпин и М. Н. Чернышевский подали прошение на высочайшее имя о разрешении Чернышевскому жить в Петербурге, где он мог бы пользоваться книгами для своих научных работ. На это департамент полиции ответил отказом. В 1889 году М. Н. Чернышевский возобновил хлопоты о переводе отца хотя бы в Саратов. Разрешение было дано. В июне 1889 года Чернышевский приехал на родину.

«Никаких знакомств, кроме деловых, необходимых, я не хочу заводить в Саратове. Но там есть несколько порядочных библиотек (при учебных заведениях и у частных людей); в этих библиотеках мне придется бывать беспрестанно — на две минуты, на пять минут, но каждый день в двух, трех, пожалуй и четырех», — писал Николай Гаврилович жене перед от'ездом в Саратов. В это время он усиленно работал над «Материалами для биографии Добролюбова» и переводил XII том Вебера. В Саратове, однако, ему не пришлось много поработать, и главной причиною этого было значительное ухудшение здоровья, чему способствовали внешние осложнения жизни, вызванные психическим заболеванием старшего сына.

Отец сильно простудился, ездивши со своими статьями на железную дорогу во время сильнейшего холодного дождя (даже во время грозы), и вот в настоящее время кашляет страшнейшим образом», — писала Ольга Сократовна детям 11 сентября. С этого времени физические силы Николая Гавриловича стали быстро клониться к упадку, хотя он и боролся до последней минуты с недомоганиями, овладевавшими понемногу всем организмом. 26 сентября был уже бред и обмороки при t^0 в 40 градусов. Немного оправившись от болезни, Чернышевский снова принялся за работу. Через две недели опять повторился приступ болезни. «Силы совсем нет, а от всякого ухаживания Николай Гаврилович отказывается и, как только почувствует крошечку полегче, садится за работу и диктует, пока книга не упадет из рук», — писала В. Н. Пыпина брату Сергею Николаевичу 15 октября. Так, за переводом Вебера, и застигла смерть Чернышевского. 17 октября 1889 года он закрыл глаза навеки, после тяжелой агонии.

«Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; даже дорога словно серым пеплом усы-

пана. Сердце мучительно надрывается под гнетом загадочной, неизмеримой тоски...»,—писал М. Е. Салтыков-Щедрин, уходя из мира в том же 1889 году[1]). Этих безнадежных слов не мог повторить за ним Чернышевский. «Деятельность на пользу народа» завещал он молодым поколениям. Если не сломили духа великого шестидесятника страшные испытания ссылки, то не могли угасить его и тяжелые годы в Астрахани, он остался до конца своих дней образцом моральной силы и стойкости убеждений.

---

[1]) «Забытые слова». Соч. М. Е. Салтыкова, Спб. 1890 г., т. IX.

Из воспоминаний.

С. Елпатьевский.

Перед манифестом.

Тяжело, грузно начала подниматься, вставать горбом когда-то покорная плоская равнинная Россия. В особенности последние три года перед манифестом.

Погромыхивала деревня, и красные языки все чаще и ярче вспыхивали над помещичьими усадьбами, пока не слились в широкую «иллюминацию», как выразился в Первой Думе Герценштейн. Стачки и забастовки становились буднями в рабочей жизни. Развертываясь на экономической почве, они своей частотой, новой и небывалой организованностью становились огромным политическим фактом и все учащались и расширялись, пока не вылились в огромную всероссийскую забастовку 1905 года.

Я продолжал каждую зиму ездить месяца на два в Петербург, и это расширение и ускорение темпа оппозиционного движения особенно ярко вставало передо мной. Петербург был шумен и говорлив. В стенах высших учебных заведений шли митинги, куда приходили и не студенты. В Петербург сходились известия о политических резолюциях, требующих конституции и ограничения самодержавия, из общественных учреждений, долго бывших немыми. Легальные и полулегальные с'езды неизменно принимали политическую окраску. Еще при Плеве почти открыто происходили заседания Союза Освобождения. А потом банкеты... Вся Россия... Отдельные ручейки, боковые течения слились в один поток, пробили одно русло, подмывавшее фундамент русского самодержавия. Россия об'единялась в своей оппозиции правительству, и правительство изолировалось.

Россия кипела котлом, а власть долго занималась только тем, что подкладывала дров в костер под котел и упорно завинчивала отдушины. И даже когда Россия стала вздрагивать и зашаталась почва под ногами самодержавия, в правительстве не нашлось истинно-государственных людей, которые учли бы и поняли совершавшееся в России и даже в интересах власти приняли бы определенные не обманные меры. Начавшиеся уступки были неумные и всегда запоздалые, — все эти «министерства доверия» Святополка-Мирского, законосовещательная Булыгинская Дума, уступки крестья-

нам, попытки, разрешения, или, вернее, умягчения, рабочего вопроса вроде комиссии Шидловского и т. д. и т. д.

Власть стала нервничать, металась в поисках опоры, пробовала опираться на Зубатовых, гапоновщину, Азефов. Провокация и шпионаж все разрастались из года в год. Реакция продолжалась, газеты закрывались. Подкупались юркие охочие литераторы, втискивались в редакции «свои люди», бывали случаи возникновения литературных органов прямыми шпионами (Гурович).

Помню один случай. Было нашумевшее в печати дело генерала Ковалева, где-то в глуши Кавказа приказавшего солдатам выпороть врача, чем-то ему не угодившего. Возбуждено было расследование, но в защиту генерала Ковалева поднялись дружественные заступники, несколько высших генералов, в том числе и Куропаткин, и дело расследования кончилось, до суда не дошло. Тогда я написал статью: «Мы требуем суда», где, не стесняясь в выражениях, писал о Ковалеве и о генералах, защищавших Ковалева [1]). Статья произвела некоторую сенсацию. Вскоре в газетах появилось известие о возобновлении расследования и о предании Ковалева суду. До суда дело не дошло, газеты известили, что Ковалев застрелился.

Повидимому, статья взбудоражила военные сферы. Не помню по какому делу мне пришлось быть в канцелярии петербургского градоначальника. Из кабинета вышел полковник и обратился ко мне:

— Вы господин Елпатьевский? Это вы написали статью о Ковалеве?

Он долго рассматривал меня и начал было говорить:

— Как же это вы?..

Но его спешно позвали в кабинет, и я так и не знаю, что он хотел мне сказать.

Когда я вспоминаю эти три года перед об'явлением царского манифеста, то, что происходило тогда в России, представляется мне теперь кинематографической лентой, где быстро меняются картины, где пробегают, быстро скрываются отдельные фигуры. Казалось, так долго сидевшая смирно на месте Россия вдруг сдвинулась с места. И чем дальше, тем больше нарастало движение, тем больше ускорялся темп его.



Огромную роль в нарастании противоправительственного движения и в ускорении этого движения сыграла японская война. Я не говорю уже об интеллигенции и вообще о культурных людях. Еще задолго до войны в общество проникали слухи о концессиях на Ялу, о роли темных людей, разных Безобразовых и Алексеевых, широко известна была беспутная подготовка к войне и самое ведение войны, неспособные и не очень чистые Рен-

[1]) Мне не удалось поместить статью в тогдашнюю оппозиционную газету, название ее я забыл. Редактор, профессор Ходский, в недоумении говорил: «Кто же это — «мы»?». И, несмотря на настояния других членов редакции, возвратил мне рукопись, и я принужден был отдать ее в «Русь».

ненкампф, Меллер-Закомельский. К авантюре японской войны сразу образовалось враждебное отношение.

Для низов, для широких слоев городского и сельского населения война встала недоуменным вопросом. Мне приходилось слышать обывательские разговоры в Крыму. Где-то далеко, за концом Сибири есть маленький остров, где живут маленькие люди японцы. Почему пришлось воевать с японцами, никому не известно. Конечно, огромная русская лапа прихлопнет этих маленьких людишек с их маленьким островом, но по какому случаю самая эта война? Почему поезда за поездами бесконечно едут войска на этот край света?

Что Россия победит, в этой обывательской среде не сомневались. Помню, шел я в горы из Ялты с молодым нижегородским купцом Блиновым. Дело было в начале японской войны, у меня уже имелись сведения о безобразии всей подготовки к войне, и в разговоре я высказал, что еще вопрос, выйдем ли мы победителями из этой войны. Мой спутник оборотился ко мне и, дрожа всем телом, с побелевшим лицом и злыми глазами, угрожающе выкрикивал:

— Сергей Яковлевич! Не говорите мне таких слов!.. Не могу я этого перенести. Я уважаю вас, но... — он захлебнулся и не докончил.

И я думаю, если бы он не был много обязан мне, он бросился бы с кулаками на меня в эту минуту.

Можно думать, что такой патриотизм и такая привычная вера в мощь России была не у одного моего нижегородского знакомого. И тем страшнее и непереноснее был удар по этому обывательскому чувству, когда последовали Мукден, Цусима, когда маленькая Япония разгромила русскую армию и флот. Обывательской мысли был нанесен удар в самом коренном вопросе их отношения к государственной власти, — оказалось, что эта власть не может исполнять даже свою основную задачу, защиту страны от внешних врагов.

Повторяю, я не говорю уже о настроении петербургской интеллигенции. Первый раз в жизни мне пришлось услыхать о поражении России, как о желательном исходе японской войны. Это, однако, быстро сделалось довольно распространенным мнением и было уже настолько заметным явлением в петербургской жизни, что на нем с изумлением остановился приехавший тогда в Россию парижский адвокат Альфред Бейль, с которым я познакомился и имел деловой разговор [1]).

---

[1]) Я собирался на два зимних месяца поехать в Палестину, поехать с паломниками и с моей горничной, очень религиозной женщиной, всю жизнь мечтавшей о поездке ко гробу господню и собиравшейся, как она призналась мне, остаться там навсегда, доживать свою старость. Я тоже давно стремился посетить библейские места и, между прочим, меня интересовала судьба еврейских колоний в Палестине. Мои петербургские друзья познакомили меня с Альфредом Бейлем, одним из директоров парижского комитета, ведавшего делом устройства евреев-эмигрантов в Палестине. Он охотно обещал дать мне рекомендательные письма и облегчить мне ознакомление с еврейскими колониями.

Тотчас после делового разговора он задал мне вопрос:

— Об'ясните мне, пожалуйста... Мне приходится встречать здесь в Петербурге мнение очень интеллигентных людей, что желательно поражение России в теперешней войне с Японией. Я не понимаю...

Я пытался об'яснить ему всю сложность тогдашнего момента русской жизни, но, повидимому, не мог сделать это понятным французу.

Он продолжал говорить:

— Я не понимаю... Мы, все французы, к каким бы партиям ни принадлежали, когда дело идет о войне, о защите отечества, мы делаемся одним целым — Францией... И мы никогда не пойдем на поражение.

И для меня это было новым явлением. Я помню турецкую кампанию 1877 года, когда я участвовал в ней на Кавказе в качестве помощника врача. Помнил воодушевление, вызванное сербской войной, куда добровольцами шли революционеры, помнил, как Гаршин добровольцем рядовым солдатом пошел в дунайскую армию сражаться с турками, и не помнил ни одного голоса, проповедывавшего поражение русской армии, как желательный исход войны.

* * *

И было 9 января, вставшее ярким и страшным пятном на фоне тогдашней жизни. Ужасом веяло тогда от Петербурга. Помню бледные лица, растерянные глаза, дрожащие волнующиеся голоса у людей, собравшихся поздним вечером накануне шествия рабочих к царю, когда собрание спешно выбирало делегацию к Святополку-Мирскому и к Витте, чтобы предотвратить ужасы завтрашнего дня. Делегация ничего не добилась, и страшный день наступил. Помню отдельные моменты шествия рабочих, помню красные пятна на снегу Адмиралтейской площади, помню сутолоку в Публичной библиотеке, где металась в ужасе интеллигенция. Ужасом веяло от полутемного в этот вечер Невского, где носились конные фигуры казаков и драгун, вскакивавших на тротуары, чтобы разгонять отдельные немногочисленные группы пешеходов.

Днем мне пришлось итти из центра на Петербургскую сторону; я получил известие, что мой племянник В. Курбатов, гимназист старших классов, шедший вместе с рабочими, был тяжело ранен в руку у Троицкого моста. Вечером я не попал в Вольно-экономическое общество, где, говорили мне, выступал из публики Гапон — я вместе с В. А. Мякотиным писал прокламацию-воззвание к войскам.

Поздно ночью ушел из квартиры Мякотина, а через два часа после моего ухода явилась полиция с обыском, кончившимся ничем, так как сестра Мякотина успела проглотить нашу прокламацию. Не появилась и моя статья, написанная в ту ночь — негде было поместить ее.

И по существу не нужно было ни статей, ни прокламаций. 9 января явилось громовой прокламацией, облетевшей всю Россию, нашедшей отклик во всей России, взволновавшей не только рабочие слои, ответившие на 9 января забастовками в самых глухих углах, но и широкие слои всей низовой России.

9 января явилось огромным историческим фактом. 9 января на улицах Петербурга было ликвидировано складывавшееся веками отношение к царю, к престолу, как к центру, конечной инстанции, куда народ может приходить с своими нуждами.

В далеких местах смутно знали, с какой петицией шли, о чем просили петербургские рабочие, но знали и крепко усвоили одно — что рабочие шли не бунтовать, безоружные, что они шли по старому, древнему, с иконами, с царским портретом, и знали, что царь не допустил к себе, а велел расстрелять этих рабочих, свой народ.

Пироговские с'езды врачей. Холерный с'езд в Москве 21—23 марта 1905 года.

Характерным показателем тогдашнего общественного настроения являлся холерный с'езд в 1905 году.

Пироговские с'езды интересны и другим. Именно в них ярко сказались особенности русской медицины — ее общественный характер в противоположность индивидуальной и государственно-административной постановке медицинского дела в Западной Европе, о чем мне приходилось уже упоминать раньше.

Русская земская медицина и русский земский врач представляли собой оригинальное явление, не имевшее аналогии в Западной Европе. Земский врач являлся не только врачем, но и общественным деятелем, носителем культуры в деревне, участником чуть ли не во всех областях общественной жизни в деревне.

Я беру один пример [1]). Не говоря уже об огромной созидательной собственно медицинской работе, благодаря чему маленькая сначала амбулатория выросла в широко поставленное медицинское учреждение, удовлетворявшее разнообразные нужды населения, земский врач Повалишина организовала участковые санитарные попечительства из крестьян, плодотворно работавшие 12 лет, устроила по деревням летние детские ясли, организовала библиотеки, литературные вечера в деревнях и всякие чтения, передвижную гигиеническую выставку, произвела обследование учеников всех школ участка. Она же устраивала спектакли в деревнях, при чем врач исполнял роль сценариуса и декоратора, а фельдшерица — роль режиссера. Ей же, Повалишиной, пришлось наладить почтовое сообщение с ближайшей станцией, она же, по просьбе агронома, приютила у себя склад сельскохозяйственных машин и семян и вместе с медицинским персоналом — работая, конечно, безвозмездно — четыре года продавала плуги, — до 1 000 штук — веялки, сортировки, отпускала семена ржи, овса, клевера, вики, благодаря чему прошло

[1]) В. Н. Повалишина. 30 лет культурной работы участкового врача в деревне. Издание Пятницкого волостного профилактического совещания 1925 года.

Повалишина работала в глухом углу Московской губ., где население было бедное, и до появления Повалишиной и образования земского медицинского участка население вымирало. Свои записки Повалишина писала за месяц до смерти.

травосеяние в деревнях и, как упоминает Повалишина, похоронена была соха в деревнях.

Такими земскими врачами, такими Повалишиными, строилась русская земская медицина. Благодаря им русская медицина приняла своеобразный облик, выросла в широкую организацию общественной медицины.

И можно понять удивление западно-европейских людей, когда им приходилось знакомиться с особенностями постановки земского медицинского дела в России.

Перечисляя выставленные в русском павильоне Дрезденской гигиенической выставки (1911 год) земские издания по санитарной статистике из 19 земских губерний, автор каталога, известный немецкий статистик, говорит:

«...Эта коллекция представляет поучительный пример, указывающий, что медицинская статистика получила в русском самоуправлении развитие, как ни в каком другом из европейских административных управлений. Отсюда делается также само собой понятным тот беспримерный интерес, который был обнаружен к статистическому отделу выставки именно со стороны русских санитарных врачей в противоположность их немецким коллегам».

В другом месте тот же известный статистик говорит о санитарных таблицах П. И. Куркина: «...которые возбудили во мне интерес в такой мере, что ради них я усвоил себе нужные для перевода познания русского языка».

Вот такие земские врачи и создали Пироговские с'езды. В первое время с'езды носили преимущественно научный, так сказать профессорский, характер, но очень скоро земский врач заполонил с'езды и придал им тот своеобразный характер, какой они носили до последнего времени. Научная ценность работ с'езда не понизилась, но те вопросы государственного и общественного характера, с которыми неизбежно встречался врач, как общественный деятель, постепенно занимали все большее и большее место и значение в работах с'ездов. И так как лучшие, важнейшие начинания земско-медицинского дела неизбежно упирались в инертное или враждебное отношение правительства, — резолюции и постановления с'ездов постепенно принимали все более оппозиционный характер, пока не вылились в чисто-революционные требования.

Почти за два года до первой революции 9 Пироговский с'езд в Петербурге (от 3 до 11 января 1904 года) выносит постановление о необходимости распространения на всю Россию земских учреждений, о необходимости коренной реформы земской начальной школы с передачей общественным учреждениям педагогической и хозяйственной части, постановляет, что казенная винная монополия не препятствует, а содействует развитию алкоголизма в России. И было еще одно характерное постановление: так как большинство ходатайств Пироговских с'ездов оставалось без ответа и удовлетворения, — не обращаться больше к правительству. И правление Пироговских с'ездов с тех пор непосредственно оповещало о своих постановлениях только земские и городские самоуправления.

Пироговский холерный с'езд 21—23 марта 1905 года явился уже чисто-революционным с'ездом. Была принята резолюция с теми общими требова-

ниями, которые выставлялись тогда в революционных организациях. Наряду с требованиями по рабочему и аграрному вопросам была характерная фраза:

«...Поэтому Пироговский с'езд заявляет о необходимости врачам сорганизоваться для энергичной борьбы рука об руку с трудящимися массами против бюрократического строя для полного его устранения и за созыв Учредительного Собрания» [1]).

Вторая резолюция предлагала считать непозволительным и недопустимым участие врача в созданных правительством санитарно-исполнительных комиссиях.

Правительство, как и во многих случаях, тогда чувствовало себя неуверенным и, повидимому, не знало, что делать с с'ездом. Когда же открылся с'езд и началось заседание, стало известно о запрещении с'езда. С'езд не подчинился, заседание продолжалось и благополучно закончилось ночью. А потом было получено из Петербурга разрешение на с'езд и даже после нашего [2]) разговора с тогдашним градоначальником Волковым было разрешено перенести заседания с'езда из тесных университетских аудиторий в большой зал консерватории на Большой Никитской.

На с'езд собралось 1 635 врачей со всех концов России. Настроение было бурное, напряженное и, мне кажется, характерное для переживавшегося тогда момента. И по тому, как отзывался с'езд на отдельные фразы, как принимались резолюции, я чувствовал, что свое настроение люди принесли из своих углов, что резолюции являлись выражением общей воли, формулировали то, что несли люди на с'езд.

Первая резолюция принята была единогласно, вторая собрала только три несогласных голоса.

Было постановлено широко распространить резолюции с'езда, и в ответ последовал длинный ряд приветствий с'езду и одобрение его постановлений со стороны провинциальных врачей, и не только от врачей, но и от других обществ, от кружка русских женщин и т. д.

Насколько повышено было настроение с'ехавшихся врачей, показывает уже далеко ушедшая от холеры резолюция, принятая с'ездом по поводу болезни Максима Горького, находившегося тогда в Петропавловской крепости:

«...Мы, врачи Пироговского с'езда, заявляем, что мы не можем равнодушно смотреть, как на наших глазах погибает лучший сын нашей родины, давно сделавшийся великим гражданином всего мира, и требуем немедленного прекращения дела М. Горького и немедленного освобождения его от всякого преследования»...

* * *

В Ялте было тихо и смирно. Не было банкетов, не было собраний. Велась пропаганда среди извозчиков, ялтинских рабочих, но пока не вы-

[1]) По цензурным условиям фраза была смягчена, хотя смысл остался. Не помню в точности, но в принятой резолюции фраза была ярче и точнее.

[2]) Председателями с'езда были избраны известный саратовский врач Ченыкаев и я. Мне пришлось председательствовать и вместе с президиумом об'ясняться с Волковым.

являлась ничем на поверхности ялтинской жизни, и только после об'явления манифеста вскрылись результаты этой пропаганды. И, тем не менее, настроение Ялты резко менялось. Приходили с севера газеты, полные всем тем, чем волновалась Россия, приезжали с севера люди с другими лицами, с другими настроениями, с другими разговорами. Даже люди бархатного сезона. Петербургский купец, мало знакомый мне, после разговора о своей болезни, вынимает скомканный листочек «Освобождения» и подает мне, провинциалу.

Появляются в Ялте странные молодые люди. После короткого разговора о здоровьи признаются, что они пришли ко мне как к писателю и просят сказать свое мнение об их писаниях. Какие-то калики перехожие, люди из низов. Помню особенно хорошо одного. Загорелый, коротко остриженный с порывистыми движениями и быстрой речью. Он сразу вынул пачку своих писаний и как-то сурово просил прочитать. Из коротких слов его я узнал, что он сын деревенского мельника, повидимому, очень зажиточного крестьянина, ушел из дому, порвал с семьей, пошел бродить по России и как-то докатился до Ялты. Он был не беллетрист, а публицист, его статьи, всегда гневные, обрушивались на власть, на богатеев. Для меня было ясно, что он не распропагандированный человек и, очевидно, собственными усилиями добивался решения вопросов, которые волновали его.

Была в голове его еще большая путаница, и рядом с сильными местами были немощные блуждания, много дидактики, недодуманных дум. Помню одну рукопись, где писавший яростно нападал на проституток за то, что они продают свое тело. Когда в следующее свидание я сказал несколько слов о проституции, как о социальном явлении, и предложил ему подумать, — не следует ли, если уж искать виновных, переложить вину с женщин на мужчин, — мой собеседник посмотрел на меня широко открытыми глазами, быстро вошел в мою мысль и, кажется, очень сконфузился.

Население юга России и Крыма в особенности никогда не отличалось крепкими верноподданническими чувствами. Не говоря уже о коренном татарском населении, при мне еще время от времени эмигрировавшем в Турцию, политика угнетения правительством инородцев и иноверцев: армян, грузин, штундистов, баптистов, — этих инородцев и иноверцев очень много было в Крыму, — не воспитывало в них дружелюбных чувств к тогдашней власти.

Правительственные горести и неудачи не возбуждали в них печальных чувств, противоправительственные люди находили часто, хотя и не активное, сочувствие.

Помню радость, которая была в Ялте при известии об убийстве Плеве. С веселыми лицами, с радостными улыбками передавали его друг другу люди, которых раньше я считал далекими от политики. Помню одну сцену: я выходил из городского сада, впереди меня встретились два пожилых человека, солидные люди в котелках, и, при мне обменявшись известиями о смерти Плеве, они горячо пожали друг другу руки и расцеловались.

Должно быть, людям, массам нужен человек, на котором сосредоточить свою любовь, также как человек, в которого вложить свою ненависть. Таким ненавидимым был, повидимому, Плеве.

Такую же радость я наблюдал в более глухом углу, чем Ялта, в Балаклаве по случаю убийства Столыпина. Поздно вечером ко мне приехал в лодочке — я жил по другую сторону бухты — покойный шлиссельбуржец Тригони с только что полученным известием о смерти Столыпина. Я поехал с ним. Набережная была полна народу, взволнованного и совсем не опечаленного известием, и я сам слышал, как обыватель, купец, отправляясь в гостиницу, говорил своим знакомым:

— Ну, по такому случаю сегодня я вас угощаю.

Манифест.

Гулким звоном прозвенел на всю Россию царский манифест 17 октября 1905 года.

В Ялте манифест явился совершенной неожиданностью. Рано утром, 18 октября, проживавшая в то время в Ялте Екатерина Павловна Пешкова сообщила мне по телефону о получении манифеста. На мои недоуменные вопросы она взволнованно передавала мне отдельные пункты манифеста и настойчиво повторяла:

— Все, все, все... полная уступка...

Я бросился на набережную. На ступеньках «Поплавка», против гостиницы «Марино» стоял редактор местной газеты Первухин — худой, бледный и, напрягая свой слабый голос, читал по гранкам собравшейся толпе, запрудившей улицу, текст полученного манифеста.

В тот же день у меня на квартире собрались несколько ялтинцев — тот же Первухин, санитарный врач Розанов, присяжный поверенный Приселков и бывший ассистент Московского университета, живший в Ялте, из-за туберкулеза семьи, Ярцев и, кажется, д-р Альтшулер. Мы наскоро составили воззвание к публике, раз'яснявшее манифест и имевшее целью сорганизовать движение и не допустить погромных выступлений, возможности чего боялись мы... В тот же день состоялись на площади митинг и потом огромная для Ялты демонстрация, в которой участвовало по приблизительному подсчету около 10 тысяч человек, т. е. почти половина населения Ялты. Настроение было праздничное, радостное и, вместе с тем, торжественное. Демонстрация прошла по улицам Ялты и несла на креслах выступавшего на митинге оратора Юрьева и ораторшу, фамилию которой я забыл.

Так же торжественно, не омраченно радостно, встречена была весть о манифесте и в других местах Крыма. В Алупке было сначала недоразумение — с каким флагом, красным ли революционным или государственным должна итти демонстрация. — Решили связать оба флага: один — как символ единства России, другой — как знамя братства народов и знамя новой жизни. С таким флагом и ходила демонстрация. Русские ходили к татарам, к мечети, татары приходили к русским, обменивались поздравлениями и поже-

лаииями, речами. Было пожелание послать приветственную телеграмму Гапону, борцу за счастье народа [1]), и тут же собрали на телеграмму 34 руб. 79 коп. А потом было пожелание послать приветственную телеграмму царю. Предложение встречено было недружелюбно и вызвало страстные реплики, но, в конце концов, собрание решило, что всякий может поступать по своей совести, и тут же собрано было немного меньше, чем Гапону — 26 руб. с копейками.

Была идиллия, больше не повторявшаяся. Люди разоделись в праздничные одежды, были веселы и радостны.

На другой же день поползли темные слухи о выступлении против демонстрации части жителей слободок. Был назначен митинг вечером, уже на открытом воздухе, в городском курзале, и говорили, что как раз в это время пойдет по набережной мимо курзала процессия с иконами, собирающаяся, будто бы, разогнать митинг и бить участников митинга...

Здесь можно было воочию наблюдать, можно сказать, ощупывать, как возникало черносотенное движение. Днем ко мне позвонил, по телефону, исправник Гвоздевич с просьбой притти в полицейское управление и говорил, что ему нужна моя помощь для предотвращения большого бедствия. Я ответил, что занят и не могу притти, но исправник упорно звонил по телефону.

— Мы здесь ждем вас с ротмистром (жандармским), оба умоляем вас приехать. — И потом прибавил: — Если хотите, мы приедем к вам.

Таким тоном исправник никогда не говорил со мной. Мы всегда были далеки и не часто встречались. Я не хотел итти один и делать из свидания частный разговор, я позвонил к Ярцеву и Приселкову, уважаемым людям в городе [2]).

Было около двух часов дня, жандармский ротмистр и Гвоздевич ждали нас. С первых же слов дело выяснилось. Исправник заговорил, что нужно предотвратить общими силами большое несчастье, угрожающее Ялте, так как значительная часть населения Ялты решила устроить верноподданническую демонстрацию, именно во время митинга в курзале, что может произойти столкновение, и что он пригласил меня затем, чтобы просить отложить наш митинг на другое время. Мы не успели обменяться мнениями, как вошел в кабинет полицейский и позвал Гвоздевича в другую комнату. Исправник вышел, бросивши нам фразу:

— Вот видите, пришли.

Он тотчас же вернулся и пригласил нас пойти вместе с ним. В соседней комнате стояли два депутата «от православного населения», как подчеркивали они, — один высокий, худой, с иконописным лицом, черноволосый, с длинной бородой, другой маленький, юркий, с злыми глазами. Старший степенно говорил, что они просят у господина начальника разрешения

---

[1]) Так описывалось алупкинское торжество в ялтинской газете, так рассказывали о нем мои знакомые.

[2]) Приселков — присяжный поверенный, тяжелый туберкулезный больной. По моему категорическому требованию, он переселился из Баку в Ялту, и прожил там долгие годы — до смерти от одного острого заболевания. После Февральской революции играл крупную роль в общественной жизни Ялты, в земском и городском самоуправлении.

взять иконы с собой, так как они, православные люди, хотят итти по городу как следует с иконами, а младший выскакивал из-под локтя длинного товарища и злым голосом шипел:

— Жидовку как икону на кресле по городу носили... Николе Чудотворцу глаза гвоздем выкололи...

Мы втроем не дослушали ни большого, ни маленького депутата. Скоро возвратился и Гвоздевич.

— Вот вы сами видели! — заговорил он.

Я ясно видел, что приход депутации был приурочен к нашему появлению, и сказал Гвоздевичу, что мы видели одно: что депутаты пришли к нему, к исправнику, за разрешением, и, следовательно, проще всего не нам отменять митинг, а ему отложить православную демонстрацию на другое время.

Мы трое категорически заявили, что митинг состоится, и пускай он, Гвоздевич, решит, на кого ляжет ответственность за возможное столкновение. Я прибавил, что по городу ходят упорные слухи об участии полиции в организации этой демонстрации с иконами. Когда Гвоздевич стал отрицать этот факт и заговорил о том, что он любит Ялту и что заботится только о спокойствии граждан, я сказал, что слухи все-таки упорные, и посоветовал ему, если он желает рассеять их, явиться на митинг и об'ясниться с народом.

Митинг состоялся. Битком набитый зал тревожно гудел. Я сказал несколько вступительных слов и дал слово явившемуся Гвоздевичу, который стал об'ясняться в любви к Ялте, говорил, что он думает только о спокойствии и благоденствии Ялты и что слухи, распускаемые насчет полиции и ее противодействии манифесту, ложные слухи. Были отдельные возгласы, но речь была выслушана спокойно.

Я знал, что в широких слоях Ялты и среди собравшихся на митинге людей были еще другие слухи — будто бы офицеры ливадийского гарнизона раздают револьверы черной сотне. Поэтому, увидевши в соседней с эстрадой комнате явившегося посмотреть на митинг командира ливадийского гарнизона полковника Шелковникова, передал ему этот слух. Полковник стал уверять меня честным словом, что он ручается, что его офицеры не раздавали револьверов и вообще не вмешиваются в политические дела. С Шелковниковым я раза два встречался в знакомых домах, слышал о нем, как о порядочном человеке и чуждом политике, и поверил ему, но стал настаивать, чтобы он вышел на эстраду и сам опровергнул злой слух.

Он долго сопротивлялся:

— Как же это я, военный, выйду на митинг?..

Но когда я заговорил, что настроение в городе повышенное, что злые слухи быстро распространяются и что возможны столкновения с офицерами, он уступил. Его голос звучал простотой и искренностью, и, должно быть ни в ком раньше он не вызывал враждебных чувств, ему поверили, и слышавшиеся раньше возгласы о револьверах прекратились [1]).

[1]) По наведенным мною справкам, слух о револьверах оказался ложным. Шелковников скоро после манифеста вышел в отставку, и его заменил известный генерал Думбадзе.

Только что полковник кончил, как раздалось с Набережной совсем близко пение «Спаси, господи, люди твоя». Помню, как сразу замолчал и насторожился зал. Пение скоро затихло, маленькая жалкая процессия прошла мимо, и митинг продолжался.

Петербург 1905—1907 годов.

Дальше оставаться в Ялте я не мог. Меня потянуло к центру, где вершились дела России, и, наскоро собравшись, я с женой отправился в Петербург. Я знал, что вскоре после моего от'езда начались репрессии; выступавшие на митингах ораторы должны были скрыться и бежать. А потом началось долгое царствование Думбадзе с обысками, высылками неблагонадежных людей. Высылали учащуюся молодежь, высылали, случалось, больных лежачих, которые умирали в пути, и, конечно, в первую голову евреев, неблагонадежных, в глазах Думбадзе, уже потому, что они — евреи. Высылали и коренных ялтинцев, из моих знакомых высланы были доктора: Розанов и Зевакин; был выслан товарищ городского головы Н. М. Иванов, не повинный ни в какой политике, старый человек. Думбадзе собирался выслать Качалова, крупного чиновника, заведующего всеми удельными имениями Южного берега, и только спешная поездка в Петербург жены Качалова, использовавшего там свои связи, остановила высылку. На местах считали, что за время царствования Думбадзе было выслано с Южного берега около 900 чел.

Поездка в Петербург было дело сложное и не очень легкое. До Москвы мы добрались, все время не очень уверенные, что доедем, с длинными остановками, но все-таки добрались сравнительно легко, а когда в Москве мы прямо с Курского вокзала переехали на Николаевский, вокзал оказался пустой и темный. Никто не знал, будут ли поезда в Петербург. Немногочисленные пассажиры сидели со своими чемоданами и решали вопрос, — ехать ли домой или ждать, — некоторые уезжали. Касса была закрыта, на перроне бродили одинокие фигуры. Мне указали, наконец, на бродившего вдали около стены человека в штатском, оказавшегося начальником станции, видимо хоронившегося от публики. На мой вопрос он ответил, что и сам еще не знает, пойдет ли поезд, что заседает комитет, который скоро вынесет решение. Прошло с полчаса или час, и поезд, как-то неожиданно, без звонков подошел к перрону. Нас предупредили, что, может быть, довезут только до ст. Бологое, но раздумывать было некогда, и все, кто не уехал, забрались в поезд. В конце концов благополучно, даже без особого опоздания, мы приехали в Петербург.

Петербург не улегся еще от приподнятого настроения огромной сентябрьско-октябрьской забастовки. Шли еще заседания совета рабочих депутатов. Скоро в Москве вспыхнуло декабрьское восстание. Вместо банкетов шли митинги. Из общей оппозиционной массы, из союзов и союза союзов выделялись партии, далеко отходившие друг от друга в программах и тактике. Движение захватило и неорганизованных людей, можно сказать, весь Петербург волновался и так или иначе определял свое отношение к событиям.

Швейцар дома, где я снял меблированную комнату, молодой парень, оказавшийся земляком, владимирцем, узнавши по конвертам, которые я получал из редакции, что я — писатель, вел со мной длинные разговоры насчет нового порядка жизни и, конечно, насчет своей владимирской земли. Раз он привел ко мне своего приятеля городового, стоявшего на посту как раз против нашего дома. Городовой пришел посоветоваться со мной, сведущим человеком, как с ними, городовыми, будет. И опять-таки, будет ли настоящее решение насчет земли. «Кабы у меня земля-то была, да разве стал бы вот тут таким делом заниматься», говорил он. Заходил и еще раз, сообщал, за какими домами шпики наблюдают, по секрету признался, что у них, городовых, разговоры идут — забастовку об'явить. Чтобы жалованье настоящее положили, — не всякому охота гривенники с извозчиков, да с разных людей собирать. И что против народа они итти не согласны.

Даже в черносотенных чайных, которые стали тогда возникать в Петербурге, в первое время, пока черносотенство не получило официального государственно-полицейского штампа, велись странные разговоры. Один из сотрудников «Русского богатства», помнится, петербургский рабочий Тимофеев, одно время специально занимался ознакомлением с настроением публики в различных чайных и часто рассказывал нам в редакции о своих наблюдениях. Собирались люди старого уклада, давних навыков мысли, и одно время любимой темой для разговора были такие соображения: царя надо, и непременно самодержавного, чтобы полный хозяин был в государстве, — только его надо выбирать миром, всем народом, как Михаила Федоровича выбирали на царство. Слышались и другие такие же «самодержавные» разговоры, между прочим — закон установить: царям чтобы на немках не жениться, хороших девиц в России много, выбирай любую...

Тогдашний Петербург до созыва I Государственной думы был необыкновенно люден и шумен. Приходилось встречать старых знакомых из дальних углов, из Уфы, из Сибири, которые давно не выезжали из своих мест. Получалось впечатление, что вся провинция—более заметные люди ее— двинулась в Петербург, что людям не сиделось уже дома в своих углах. Выглянули из подполья на свет божий и революционные партии — эсдеки и эсеры, чтобы, впрочем, скоро снова уйти в подполье, или устроить штаб-квартиру в Финляндии, — в Куоккале, в Териоках и других местах.

Приехали эмигранты из-за границы. Русанов стал сразу принимать участие в «Русском богатстве», каторжанин Шишко, которого мы устроили около себя, недолго прожил и скоро уехал за границу. Постепенно стали появляться живые мертвецы из Шлиссельбурга. Помню мое волнение, когда я неожиданно на четверге «Русского богатства» встретил Н. А. Морозова, которого я знал тридцать лет назад, когда он, молодой изящный юноша, был у меня в Москве в моей студенческой квартире вместе с Львом Тихомировым после процесса 193. Часто бывали в «Русском богатстве» и другие шлиссельбуржцы — Попов, Лукашевич, Новорусский, Герман Лопатин.

По-другому выглядело «Русское богатство». Там были большие перемены. Умер Н. К. Михайловский, ушел Иванчин-Писарев, и М. П. Сажин взял

в свои крепкие руки беспорядочное, запущенное хозяйство «Русского богатства». Наиболее активную роль в редакции играли, кроме Анненского, Короленко, Мякотин, Пешехонов, только что возвратившийся из Псковской губернии, куда был выслан, и Горнфельд. Деятельное участие принимали Крюков и Петрищев. Появились новые сотрудники из рабочих и крестьян. Кроме постоянного сотрудника Под'ячева, стали присылать хорошие беллетристические рассказы крестьяне.

«Русское богатство», даже при образовании народно-социалистической партии, куда вошло большинство редакции, охотно помещало статьи эсеров и эсдеков. Писали эсеры Сталинский и Русанов, помню очень интересную статью об одесской организации моряков эсдека Адамовича.

Четверги «Русского богатства» сделались многолюдные и разнообразные по составу, «Русское богатство» сделалось сборным пунктом для разных левых людей. Одно время эсеры устроились в нем, как в своей квартире. Я помню, как в редакционной комнате в определенные часы заседал Марк Натансон и конспиративно принимал многочисленных посетителей. Случалось, и ночевали на редакционном диване люди без пристанища, как Герман Лопатин. Происходили собрания на литературные и политические темы. Помню собрание по поводу бойкота I Государственной думы, что широко обсуждалось тогда в Петербурге в революционных партиях. Большинство собравшихся высказывалось за бойкот, и я был чуть не один, отстаивавший необходимость участия в I Государственной думе.

* * *

Сильно поднялся тираж газет. Резко изменился и газетный тон. Брошен был старый эзоповский язык, боявшийся слова «конституция» и только изредка говоривший об «увенчании здания». Конфисковывались и снова возникали газеты, говорившие революционным языком. В особенности необузданы были сатирические журналы, там совсем не по-эзоповски говорилось о царе, и рисунки не служили к укреплению престижа царя.

Проснулась громадная ненасытная жажда печатного слова в деревнях, и, я думаю, это время нужно считать началом проникновения газет в деревню. Кое-где в деревнях складывались три-четыре двора и выписывали московскую или петербургскую газету. На глухих станциях черноземных губерний при под'емах, где замедлялся ход поезда, к поездам выходили из деревень целые толпы больших и малых людей с криком «газет, газет!», рвавших друг у друга пачки газет, летевших из окон поезда. Этот крик-вопль и теперь стоит в моих ушах. Так продолжалось по крайней мере два года — до разгона I Государственной думы.

Расли как грибы после дождя издательства, рассчитанные на крестьянскую и рабочую публику. Выпускались и расходились брошюры в неимоверном для прежней России количестве.

Я бросил медицину, целиком ушел в литературу, и от беллетристики перешел к публицистике. У нас образовалось, так сказать, семейное издательство. Организатором был мой родственник П. Е. Кулаков, писали кроме

меня, редактора издательства, мой сын и дочь и племянник В. Ф. Загорский. Из посторонних ближайшее участие принимал только Бойков, бывший ссыльный, перешедший к тому времени из народовольцев к марксизму, и одну брошюру, не помню заглавия, написал по моему настоянию лидер трудовиков в I Государственной думе Аникин.

Не нужно было денег, чтобы вести в то время издательство — такой огромный спрос был на печатное слово и так быстро расходились брошюры. Первая наша брошюра, написанная мной, — «Земля и свобода», выпущенная в 50 тыс. экземпляров, — разошлась в два месяца, и я имел высокое удовлетворение, когда узнал от крестьян депутатов из глухих углов Украины, что они еще у себя в деревнях прочитали мою брошюру.

Совершенно исключительным успехом пользовался изданный нами «Народный календарь». Он был совершенно новым календарем по замыслу, не имевшим примера в прошлом. Компактный, набранный мелким шрифтом, он был, в сущности, целой книгой, в которой давался большой материал: целый ряд статей по вопросам, встававшим тогда перед страной, по вопросам конституции, Государственной думы, по рабочему и аграрному вопросам. Стоил он 20 коп. Я не помню, в каком количестве экземпляров расходился календарь по деревням, но среди рабочих и не только Москвы и Петербурга — успех был огромный. Я помню, из Урала приехала целая делегация из трех рабочих специально закупать для уральских заводов «Народный календарь». Для начала они купили 6 тысяч экземпляров, постоянно выписывали и еще, и так как им сделана была большая скидка, то путешествие в Петербург этих рабочих, как говорили они, окупалось полностью.

«Народный календарь» просуществовал около 4 лет, ежегодно обновляясь, он постоянно конфисковывался, но большую часть издания удавалось спрятать и разослать по деревням до конфискации, так что издание его все-таки окупалось. Так продолжалось, пока все наше издательство не было прикончено постоянными конфискациями. Написанная моей дочерью «История крестьянской войны в Германии» была целиком конфискована, конфискованы были написанные моим племянником Загорским брошюра по религиозным вопросам, брошюра «Что берет государство с крестьянства и что дает ему» и «История революционного движения в Англии».

И, конечно, как большинство тогдашних авторов брошюр, мы судились Петербургской судебной палатой. Судился и Кулаков. Два раза судился я; первый раз был оправдан, а второй раз за брошюру «Земля и свобода» был приговорен на год в крепость. На год же крепости был присужден и В. Ф. Загорский, не помню за какую из своих брошюр. Это было значительно позже, после разгона I Государственной думы, когда власть снова окрепла и получила уверенность в длительности своего существования.

Первая Государственная дума.

Настроение России перед открытием Первой Государственной думы было не виданное раньше и не повторявшееся потом. Страна переживала первую свою революцию.

Ни революций, ни гражданских войн, как Западная Европа, Россия никогда не переживала. Она всегда просила и ждала и никогда не требовала и не брала. Если исключить стихийные народные восстания и подвиг декабристов, Россия всегда подавала прошения и моления, писала слезницы, ходила-ходатайствовала ходаками и ходатаями и никогда не билась за то, что ей нужно было, не дралась с властью.

Власть иногда давала. Не часто и не много, но давала. Большие реформы 60-х годов не дали того, что они могли дать именно потому, что они были д а н ы, а не в з я т ы. Даровому коню в зубы не смотрят, получившие рады, что получили, и ждут, что им дадут еще, и не крепко держатся за то, за что не проливали кровь, не клали свои головы. А давший может и взять. Потому так легко после 60-х годов власть сжимала земство, ломала суд, пыталась на освобожденный народ снова надеть крепостное ярмо.

Революция 1905 года важна не только, быть может, и не столько добытыми результатами, сколько изменившейся психологией России. Манифест был не дан, а взят, вырван. Первый раз Россия билась с правительством и победила его. Первый раз люди почувствовали себя не только верноподданными, но и гражданами, хотящими и могущими осуществлять свои хотения. И от всего этого поднялось в людях торжественно-радостное, необычное для русских людей победное настроение.

Оно было общее. И общность психологии широких слоев населения было характерной чертой революции 1905 года. Царствования Александра III и Николая II, как я уже говорил выше, были временем ухода народа от власти, все нарастающего изолирования правительства. К тому времени, когда созрела революция 1905 года, около правительства оставалась незначительная для многомиллионной России кучка бюрократии и высшего дворянства, притом людей, отстаивавших существующую власть постольку, поскольку она отстаивала их интересы, их имущества и привилегии, среди которых не часто встречались люди, искренне убежденные, что монархия нужна не только для них, но и для государства, для всего народа. А вся масса России, начиная от интеллигенции, общественные деятели, представители промышленного мира и кончая рабочими и крестьянством, уже ушли от власти и составили, можно сказать, огромный, всероссийский противоправительственный союз.

Эта общность психологического настроения яркой полосой вставала в тогдашнем общественном движении. В уличной толпе, на митингах, в железнодорожных вагонах, на волжских пароходах менее чувствовалась, чем обычно, отделенность сюртука от пиджака, от поддевки и косоворотки.

Поднялся, как никогда, удельный вес интеллигенции. Он учтен был властью и теми, кто был за власть — тогда были убиты Герценштейн и Иоллос, тогда устраивались погромы интеллигенции, как в Саратовской губ. Учтен он был и в народе. Вышедшие из подполья эсеры и эсдеки, принимавшие активное участие в рабочем и крестьянском движении в большинстве случаев были типичные интеллигенты, молодежь из высших учебных заведе-

ний. В огромных забастовках, таких как железнодорожная и почтово-телеграфная, участвовали и пиджаки, и рабочие блузы.

Поднялся огромный спрос на интеллигенцию. Земско-медицинский персонал, агрономы и техники, люди третьего элемента, кооператоры явились на местах, если не вождями, то истолкователями происходивших событий. Если ко мне ходили швейцар и городовой — захаживали и другие люди посоветоваться — то из глухих деревень; когда не оказывалось на месте подходящего человека, посылали ходаков в ближайший город разыскать и привести нужного, до зарезу нужного, «оратели», который раз'яснил бы деревне «о новых обстоятельствах». В лесу, в укромных оврагах устраивались сходки с приезжими ораторями, которых крестьяне укрывали, а случалось, и отбивали от полиции.

Явилась, так сказать, мода на интеллигенцию. Умный, наблюдательный иваново-вознесенский рабочий рассказывал мне, что у них в Иваново-Вознесенске в то время работницы одевались «под курсисток» — непременно блузка, кожаный пояс, часики или, по крайней мере, цепочка от часов, — а рабочие одели кепки и соломенные шляпки вместо картузов. Я сам с великим удивлением увидел тогда в Харькове на извозчичьих головах студенческие фуражки.

Помню один случай в Нижнем-Новгороде незадолго перед открытием Государственной думы. Я был на одном из огромных волжских пароходов и наблюдал, как большой бородатый матрос наклонился над открытым трюмом и строго выговаривал ругавшимся скверными словами сидевшим там матросам. Ругательства тотчас же прекратились. В данном случае это не было желанием уберечь господские уши от нехороших мужицких слов, — я забрался на пароход рано, пассажиров еще не было и на корме около трюма было пусто. И тогда я понял то смутное, недоуменное, что я чувствовал эти несколько дней, проведенных тогда в Нижнем. Там меньше ругались подлыми русскими ругательствами. На Нижнем базаре, на пароходных пристанях, где всегда стоном стояли в воздухе многоэтажные, изощренные, особенно поганые ругательства, было тише, скромнее, я бы сказал, приличнее, чище.

Это торжественно-радостное, победное настроение вошло в Государственную думу. Туда вошли старые ходатайства и новые требования. Туда вошел и гнев.

* * *

Все трепетно ждали открытия Государственной думы. При огромном возбуждении, при непотухшем зареве горевших помещичьих усадеб открылась она.

Помню отдельные моменты. Как ехали по Неве депутаты после приема у царя в Зимнем дворце в Таврический дворец, как махали платками и кричали «Амнистия!» из-за решеток «Крестов» проезжавшим мимо депутатам. Помню и первый возглас «Амнистия!», сказанный Петрункевичем в первом заседании Думы. Помню настроение и в зале заседания, и в огромных кулуа-

рах Таврического дворца, переполненном радостно и торжественно настроенной публикой.

Было странно наблюдать депутатов, этих людей из всех концов России, крестьянских депутатов из Польши в национальных костюмах, и украинцев, и кавказцев, и татар, и киргиз, и сибиряков, эту разноплеменную толпу, первый раз встретившуюся не в войсках и не в ссылке и каторге, привезшей с мест свои жалобы, свои пожелания.

По своему составу и по своей психологии это была единственная, не повторявшаяся потом Дума. Более однотонная в значительной мере с общей психологией. Вследствие об'явленного и проведенного бойкота чисто-революционные партии прошли в Думу в незначительном количестве, были слабо представлены в ней. Несмотря на разделение Думы на левое крыло — трудовиков, на центр — кадетской партии и незначительное правое крыло, в ней не было того резкого размежевания, как в последующих Думах.

В чисто-политических вопросах находился общий язык у трудовиков с кадетами. На правой стороне не появлялось еще зловещих фигур Замысловского и Маркова, и лидером оказался, имею основания думать, к его собственному удивлению, граф Гейден, — тот граф Гейден, который с таким достоинством, как председатель, вел бурные заседания Вольно-экономического общества, который встречал суровыми окриками полицейских чинов, пытавшихся врываться на заседания Вольно-экономического общества. Я довольно близко знал его, — по рекомендации Н. Ф. Анненского, он бывал у меня в доме, когда приезжал в Ялту. Он был независимый человек и чистый по своей прошлой деятельности, но он был за эволюцию, а не революцию и вставал в Думе в защиту эволюции, когда слышал революционные речи.

I Государственную думу в то время любили называть Думой народного гнева. Гнев и качественно и количественно недостаточно был представлен в Думе, но до известной степени это было справедливо. Родившаяся из народных волнений, из забастовки, из долгой борьбы интеллигенции с правительством, Дума была Думой бунта, Думой общей оппозиции России правительству.

По существу она была прежде всего политической, где главенствующую роль играла борьба за политическое переустройство государства. Шла борьба не против монархии, а против самодержавия, борьба скорее с бюрократией, чем с царем, — борьба за конституционную монархию. Слово республика не звучало еще в кулуарах Думы и не вмещалось еще в головах огромного большинства депутатов. Политическое переустройство государства было первейшее требование, которое несли из России представители ее, и известная фраза Набокова «исполнительная власть да подчинится власти законодательной», в сущности, точно выражала главнейшую задачу, которую собиралась решить Дума. Да, был поставлен рабочий и аграрный вопрос, но они не выпирали в должной мере из общего политического вопроса. Крестьяне приходили с главнейшим наказом: «земля», но короткое пребывание в Думе заставляло их упираться в тот же политический вопрос, без

которого нельзя решать вопрос о земле. Различные группы Думы уж и тогда далеко отстояли друг от друга, но, повторяю, Дума была более однотонная с некоторой общей психологией, не повторяющейся в последующих Думах, где рядом шли резко разделенные, с одной стороны — поворот к правительству, а с другой — далеко уходившие чисто-революционные социальные требования.

Я помню разговор с Герценштейном, видным представителем кадетской партии именно на тему социальных проблем. Как-то мы завтракали вдвоем в пустынной в тот момент столовой Таврического дворца. Он начал упрекать нас, «Русское богатство», за то, что мы слишком непреклонно проводим нашу программу национализации земли и слишком продвигаем вперед социальные требования. Помню, указывал на статьи Пешехонова. Я напомнил Герценштейну отдельные места из его писаний и говорил ему, что, в сущности, он проводил в них ту же идею национализации земли, что он только не выговаривал слово, не ставил точку над i. Разговор перешел на другие темы, и, прощаясь со мной, он сказал:

— Может быть, вы и правы, но пред Думой другие вопросы [1]).

Я устроился в Первой Думе бесплатным врачем и в определенные часы принимал там же в отдельной комнате заболевших депутатов и долгое время ежедневно бывал в Думе.

Самым ярким пятном в Думе было появление в кулуарах крестьян-ходаков. Было странно и непривычно видеть в роскошном дворце среди всегда наполнявшей кулуары «приличной» публики эти запыленные фигуры ходаков в деревенской одежде, случалось в лаптях, с котомками за плечами, пришедших с вокзала и разыскивавших в толпе земляков депутатов из своей губернии, из своего места, с тем, чтобы вручить им деревенский наказ, который нужно непременно исполнить. Уже одни эти ходаки — они часто появлялись в Думе — показывали, как много ожидало крестьянство от Думы, как пристально следило за тем, что делается в ней.

Крестьяне на местах, видимо, следили за тем, правильную ли линию ведут их депутаты в Думе. Когда стали с'езжаться крестьянские депутаты, догадливые люди из правительства устроили обширное общежитие для депутатов-крестьян с бесплатной кормежкой, где их обрабатывали в смысле направления на правильный, приятный для власти путь. Кажется, предприятие было не особенно удачным; поживши в общежитии, от'евшись, питомцы общежития благополучно оказывались в рядах трудовиков. С другой стороны, в интеллигентских кругах было стремление размещать депутатов по своим квартирам. У нас, в квартире моей дочери, поместились два депутата-крестьяне, не помню из Орловской или из Тульской губернии. Один — мужиковатый, строгий, молчаливый человек, другой — юркий, верткий, очень говорливый, вероятно за эту говорливость и посланный в Думу.

---

[1]) Можно сказать, что он был убит почти на моих глазах. После разгона I Думы мы оба жили в Териоках. В тот день я встретил его на прогулке, а через два часа он был застрелен черносотенцами.

И вот с этим словоохотливым человеком, сыпавшим радикальные слова, и случился казус. Я редко видел его в Думе в толпе трудовиков и как-то встретил в кулуарах Думы невеселого и неразговорчивого. Он говорил мне, что его вызывают в деревню, что прошли слухи там, будто бы он с господами стакнулся — «так бабы языком ботают», — пояснил он. Тем не менее, он отправился к себе и вернулся не повеселевшим, — кто-то из депутатов рассказывал мне, что на сходе ему влетело.

Положение крестьянских депутатов в Думе было очень трудное, — так говорили они мне. Давило и угнетало несоответствие того, с чем они ехали в Думу, чего требовали крестьянские наказы, с тем, что встретили они в Думе. И потом — насчет земли, начальства, земского начальника, станового, урядника, все было до известной степени ясно и просто, во всяком случае, понятно, но на них, никогда не выходивших из пределов деревни, волости, уезда, навалилась тяжесть обсуждения государственных вопросов в целом, во всей сложности государственных функций. Трудовики были прибежищем их, там были более или менее подготовленные люди и помогали люди со стороны, — но вдумчивые депутаты, хотевшие сами разобраться в вопросах, чувствовали себя подавленными тяжестью умственной работы, которую им приходилось проделывать. У меня одно время довольно часто бывали в приемной два польских крестьянина, умные, крепкие, солидные люди, и вот они всякий раз жаловались мне, что они стали больны от вопросов, которые им приходится решать.

— Головы распирает... Ночами не спишь. Проснешься среди ночи, — завтра комиссия, голоса подавать, — а как подавать. Думаешь-думаешь целыми днями. От еды отшибло...

Положение довольно скоро стало выясняться. Правительство по мере затихания «беспорядков» стало возвращаться к уверенности. «Исполнительная власть» вовсе не собиралась подчиниться законодательной и, наоборот, решила подчинить Думу своей власти и законодательствовать, как и до манифеста, что она широко и практиковала в последующие Думы.

Нелегкое и, во всяком случае, неудобное было и положение правительства. Не потому только, что с правительственными людьми в Думе разговаривали невежливо и, случалось, встречали министров гневными окриками, не привычными и не переносными для министерских ушей, но и потому, что в Думе не было значительной группы, ядра, на которое правительство могло бы опереться, не было общего языка, на котором правительство могло бы разговаривать с Думой. Несмотря на не революционность, а эволюционность большинства Думы, на искреннее желание самых влиятельных групп Думы работать с правительством, — вся Дума, если не считать незначительной группы истинно-правых депутатов, вместе с графом Гейденом стояла на почве осуществления манифеста, проведения его в жизнь, что было совершенно не приемлемо и для царя, и для его «приказчиков» (выражение Витте).

Было только два выхода — или уйти старой власти и превратиться из законодательной в исполнительную, или «распустить» Думу.

Правительство избрало второй путь и разогнало Думу.

Разгон Думы не отозвался крупными волнениями. Выборгское воззвание не дало того, чего ожидали от него. Тогда говорили в Петербурге, что в Москве были полки, преданные Государственной думе, и что, если бы депутаты направились тогда не в Выборг, а в Москву, дела приняли бы другой оборот. Не знаю, насколько это верно, но, по моим наблюдениям, обывательское настроение в Петербурге сразу упало, — люди почувствовали, что период надежд и ожиданий кончился.

Помню расклеенные по Петербургу об'явления о роспуске I Думы. Стояли кучки народа и медленно и долго читали об'явление. Лица были не равнодушные, но и не возбужденные. Сосредоточенно угрюмые люди вчитывались в слова, видимо перечитывали, подозрительно оглядывались на соседей и молча расходились.

Смутно почувствовала и деревня, что толку от Думы ждать нечего. Характерно, что после разгона Думы мне уже в моих поездках редко приходилось слышать крики-вопли: «газет! газет!..».

* * *

Начинались разруха, развал власти на местах.

«... Отношение народа к полиции, — писал мне в то лето после разгона Думы Аникин из Саратова, — так обострилось в деревнях, что урядники и стражники, не говоря худого слова, стреляют в людей решительно за все: за песни, за брань, за грубость и просто за то, что попадаются на глаза. В свою очередь, крестьяне убивают их на смерть, где только могут. В Саратове квартир нет, цены сумасшедшие, — наехали на зиму помещики. То же наблюдается и в других городах».

И в том же письме тот же Аникин, саратовский деревенский человек, как я уже говорил — лидер трудовиков в I Думе, пишет:

«...После разгона Думы настроение пало до крайности... Крестьянство переживает период раздумья и рассуждения».

А правительство помимо разгона Думы стало искать опоры вне Думы. Именно после разгона Думы расцвело пышно черносотенное движение. Открыто вышли на сцену Дубровин, разные московские Орловы, в черносотенных чайных происходил набор нужных людей, уже не говоривших об избрании на царство Михаила Федоровича, заштампованных и припечатанных. На местах организовывались погромы против евреев, против интеллигенции, огромный правительственный аппарат отдан был под надзор Союза русского народа.

И мобилизовано было или, вернее, мобилизовалось на защиту своих интересов дворянство. Не очень успешно. Русское дворянство всегда было более демократично, чем западно-европейское дворянство. Ко времени революции 1905 года расслойка и переход в разночинство, совершавшиеся и раньше, приняли огромные размеры. Мелкое и среднее дворянство, в значительной степени утерявшие свой земельный фонд, как источник существования, тянули в массе к кадетам и левым октябристам и вокруг престола

после революции собрались только крупные землевладельцы, дворянские верхи, связанные двором и высшей бюрократией, и люди, делавшие специальную карьеру. Они образовали с'езды так называемого об'единенного дворянства, но, не привлекши к себе дворянской толщи, по необходимости протянули руки к черносотенцам и во многих случаях стали возглавлять черносотенное движение.

Начался долгий период государственной анархии, беззакония или, вернее, междузакония. Долгий период «раздумья и размышления» масс, для которых опыт I Государственной думы выяснил только одно с исчерпывающей полнотой: эволюция в России невозможна, развязать узел может только революция [1]).

---

[1]) **От редакции.** Оценку общественных движений 1905 и предшествующих годов, даваемую С. Елпатьевским в его воспоминаниях, редакция не разделяет, оставляя ее на ответственности автора.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Армения.

Андрей Белый.

В нагорной Армении.

Пятый час!

Чуть сереет: просер голубеет в вагонном окне; уползают в ущелья гонимые мраки, как черная стая коров, очищая рельефы.

Армения!

Верх полусумерки рвет; расстоянье сложилось оттенками угрюмо-синих, сереющих, бирюзоватых ущелий под бледною звездочкой; в дымке слабеющей зелень; но чиркнул под небо кривым лезвием исцарапанный верх, как воткнувшийся нож; и полезла гребенкой обрывин земля, снизу синяя, в диких разрывинах; будто удары ножей, вылезающих из перетресканных камневоротов, — в центр неба; мир зазубрин над страшным растаском свисающих глыб, где нет линий без бешенства!

Точно Армения, встав на дыбы, собирается варварской массой каменьев обрушиться в гряды грузинских нагорий.

Здесь складка, бегущая с Черного моря хребтами Аджарским, Месхийским, Триолетским, Памбакским, Гокчайским и кряжами гор Карабаха, бегущих к персидским горам, чтобы восточней, к Памиру, чудовищами Гиндукуша стоять, — та же складка от Черного моря до... Берингова, — круто на-двое разорвалася: в ударах подземных.

Осколки крепчайших костей, разрывающих мускулы почвы, здесь выперты — рушить массивы; под ними сражалися римляне; и Митридат, посрамленный, армянским ущельем бежал, и Помпей пролагал переправы до древнего Фазиса; все непокойно: в двадцатом году еще курды вырезывали население под Караклисом; трясущийся центр национального и земляного неистовства — здесь; революция с первым покончила сразу; второе бунтует доселе; в ущельях разводится сыр, виноград, извлекаются руды, и строится электростанция.

Точно громадные курды, уселися горы и ищут предлога: низринуться; и, точно серые совы, слепые для жизни, уселися монастыри и развалины замков десятого, даже восьмого столетья в окрестностях Алаверды, Ахталы.

Небо светит очищенной синью; и бронзовым зовом светлеют верха; вот и домики Алаверды появились из залежей медной руды, колчеданов (свинцо-

вого, серного), переливающихся аметистовосиними взблесками; эту руду извлекали; но войны недавнего времени с турками, даже с грузинами (память дашнакского национализма), сорвали работу; и лишь с 25-го года рабочею песней опять зазвенела руда; теперь строится электростанция тридцатитысячной силы в базальтах близ Калагерани, которая будет обслуживать медноплавильный завод и химический.

Спутник, грузин, инженер, со своею собакою едущий в Калагерань (поохотиться под Воронцовкою), манит красотами Степанована, армянского дачного места:

— Вы, вижу, любуетесь местностью, но что она по сравненью со Степанованом: такой красоты я не видывал и на военно-грузинской дороге.

— Там можно пожить?

— Почему же нельзя: дачи, великолепное есть сообщение с Калагеранью; шоссе в Караклис, ежедневные автомобили.

Я роюся в путеводителе: Степанован — не отмечен совсем; не отмечено все, что реально для нас, путешественников: только цифры статистики; с ними знакомство верней в специальных отчетах; проезжий, имеющий в распоряжении месяц для отдыха, будет искать описание мест, где он мог отдохнуть бы; но — тщетно: он их не найдет; они — спрятаны; глупо промчавшись в вагоне за поиском их, мимо них, он, здоровый, ненужно приткнется к курорту, куда приезжают лечиться; отсутствие элементарнейших сведений для путешественников и ужасный разброс сообщений почти возмутительны в путеводителе; мне его бросить приходится; не угрызешь его цифр; с ними я ознакомлюсь на месте; не выжмешь мне нужного из распреснятины микроскопичных петитов; и золотокрасный его переплет, набавляющий цену, — подвох, о котором кричу благим матом [1]).

— Вот вы приезжайте, — зовет инженер, — убедитесь, что жизнь хороша здесь.

Мы смотрим на мощи базальтов, а спутник нас учит:

— Базальт не пригоден для housки; он — крепок; и теска обходится дорого; мы электричеством плавим его, отливая в различные формы; и плавка обходится дешево.

Поезд — в Лорийском ущелье, обвешанном деревом; склоны холмов в раскудрявой лозе, разводимой невыгодным способом, взятым у персов; лоза эта терпкая, крепкая спиртом: идет на коньяк; вот уходит — в верх каменный; грузно повис эоценовый слой, расщепляемый сетью ущелий, с'едающих гребни, которые струйками плачут в форельную, белозеленую речку Борчалу, вчера затопившую путь, и шестьсот человек исправляли его; речка снизилась.

Этот зеленый район — земледельческий; сто шесть поселочков и городок Караклис образуют его; всюду пасеки; пчел незлобивых разводят; мед белый душистый — вывозится; эпизоотия — бедствие для пчеловодов лорий-

---

[1]) Кавказ. Справочники-путеводители транспечати НКПС.

ских. На склонах пасется овца, дает шерсть для ковров; их орнамент — испорченный; ввоз анилиновых красок его погубил, как в Японии ввоз этот с'ел колориты старинной гравюры.

Сады пестротканные всходят под лысые головы пастбищ, расставленных в воздухе и в груди громад, истекающих вниз снежным скатом оврага: с гребенки серебряной; легкие линии вылетов строят под'ем к Караклису, которого крутость превысила все крутизны: без ущерба для поезда; речка под нами врезается в недра, сходящие вниз: лишь клочочек опаловой пены из зелени грецких орехов клокочет; вагоны повисли над ним.

И проходят Шагали, Бамбак оголенными скалами, зелень согнавшими— влево и вниз, чтобы голые горы сидели на голых обглаженных скалах распластанных, персиками отливая белясо, а пятна кудрявые тени от облака, тихо взлетая, проходят повсюду; гребенка из снега стоит, не боясь своей высоты и подтягивая к освеженным районам, куда в интервалах ритмических всходит окрестность; мотив, возникая под сердцем, щекочет гортань, чтобы горная песня лилася, как речка, которую слышишь, не видя.

Легендою жизни потухших вулканов меняются местности в лапы седых бронтозавров, придвинутых к поезду, в спины драконов, едва отливающих розовым персиком, в золотокарие шерсти, в гранаты хребта позвоночного, в головы, вставшие из аметистовой тени, взирать на бурчанье молочно-опаловой пены, из зелени скачущей; хрящ известковый, базальты и пористый туф, — лиловаты, желты, бело-розовы; дали увенчаны ясностью снежных зубцов (в Караклисе снега выпадали).

Меж всем — Караклис, центр изгрызенной впадины амфитеатра, куда опускаются снежные ряби оврагов.

И снегами свежие, резвые ветры проносятся.

За Караклисом исчезла в ландшафте земля, ставши светом и воздухом; тень бирюзовая вылепила розоватые конусы в конусах, схваченных в легкий разлет километров; туда задираем носы; там оттенки текучи, как струи в русле неизменного очерка гор, из сквозных переливов слагающих цветопись кряжей Памбака; гребенка, едва лиловатая, гонится издали, а исполинское темя таращится лбиной: нас оглядеть; ждем вперенного в нас стекловатого глаза: но — камни набухли пред носом; когда отвалились они, то — как есть, ничего; сухосиние воздухи; сжаты предгорьем мышиного цвета домишки, как плоские плитки стоят в раскуреньи дымков, среди груд кизяка, да армянок, расплесканных платьями, ржавокровавым и черным; вторая свой рот закрывает платком по обычаю местному (стыдно замужним показывать рот); глинобитные стены — их фон.

Да, над очерком местности, видно, работал Чурлянис Армении, ритм вулканический; лавы давил из вулканов, как жидкие краски, на кряжи, топя их в покатые уровни Ленинаканской степи, куда поезд несется из желто-оранжевых мхов, разгнездившихся в камне; пропала трава; только редкие жерди торчат: здесь земля — иглокожая, аспидных колеров.

Вдруг поднялась снежень легкого старца в разлете лежачем, которого руки и кудри слились в два крыла; и за нею другая; висит крылорукий и

плоско зубчатый с отчетливым ликом без темени, белый такой Алагез, не имея подножия, вниз изливаясь питающей влагой источников; сгинул, как сон.

Появился.

Есть кроткое что-то в огромном, сквозном орловидном разлете алмазных зигзагов, висящих из тысячей метров над уровнем моря; армяне зовут Арагацом его; ему песни поют благодарные.

Камни туннеля Джиаджурского уже отгрохали под остановкой, а все Алагез поднимался и шири показывал плеч; они — целый хребет, незаметно снижаемый на плоскогорье страны Абаран, над которой сидит он русалкой мечтательной, строя сложения зубринок, соединенных овалом седлинок в две гряды двуглавия светлого над Абараном, который есть мир бедноты, так что кадр пролетариев сходит оттуда на фабрики.

Ортокилиса: раз'езд, отстоящий верстах в сорока пяти от Алагеза; мы мчимся в равнину теперь; огибают нас персиковозолотые зубцы уходящего Памбака; даль распахнулась армянской равниной.

Эриванская долина.

Ленинаканская степь — плоскогорие мертвое; мерзлые лавы, протекшие от Алагеза, хребты затопивши, построили местности эти; геологи назвали крышей Армении их; ровно в пять тысяч футов над уровнем моря возвысились земли; на тысячу футов под лаву ушел старый слой; тут — покатые склоны: к долине Аракса; тут Турция, вставши вплотную, назойливо сопровождает железнодорожную линию до Эривани; и — далее; тут появляется Персия, путь обрывая у Джульфы; за Джульфою — город, который пленяет меня, Ордубад, расположенный в трещинах гор Зангезурских, наполненных медью.

Тут — центры толчков, разрушающих Ленинакан, так ужасно рассыпанный в 26-ом году; сорок селений разрушено было в окрестностях этих; земля тряслась месяцы; и пострадал Караклис; тряска ж легкая здесь — обыденна; дней десять назад перетрясывались эти земли; толчки отдавались в Тифлисе, в Хашури, в Чиатурах; мы тоже подпрыгнули, слушая, как Робакидзе, грузинский писатель, предсказывал ряд катастроф буржуазному миру; вот тут и случился толчок; зазвенело окно; все вскочили; хозяйка встревоженно бросилась к детям; один Робакидзе, толчком не смутяся нисколько, но им вдохновляяся, вплел его, очень эффектно закончив свое громоносное слово трясением наших сознаний; он кончил:

— Пускай разрушается все, что осталось от старого мира.

Сидели и ждали: разрушимся мы, или нет; но второго толчка не последовало...

Приближаемся к Ленинакану, явившемуся и пылями, и дымами домиков, и серогрязною язвой развалин, две трети которых залечены быстрым строительством; треть еще грустно лежит в раскаленных разбросах зеленого туфа под мертвою мутью небес, омрачаемых тучами; гордая, злая, великая местность как будто притихла вокруг; и не скажешь, что ходит она ходу-

ном; ее солнце сжигает жарою; зимою сжигает морозом; шершавый, сухой пейзаж с непременным верблюдом, пришедшим из Персии; круто оборвана почва Европы; мы сброшены склоном нагория в древне-азийские недра, которые те же: в Тавризе, в Армении, в Месопотамии, в Турции.

Станция «Ленинакан», — очень скучная, как эта пыль и как пылью покрытая стройка, — стоит на отлете, вперяясь в равнину, на беловатой, едва желтоватой земле, осыпающейся ноздреватыми туфами, ценными в стройке; а около где-то — богатые залежи пемзы; и их разрабатывают; ее больше, чем нужно для нужд СССР, так что вывоз ее обеспечен. Не скажешь: строительною лихорадкой Армении местность охвачена после дашнакской резни, какой не было даже в анналах видавшей все виды Армении: полчища курдов, явившись из Турции, вырезали шестьсот тысяч армян (по иным утверждениям — до миллиона, чему страшно верить), разбили селения, станции; с этого места не редки развалины: окна без рам, проваленные крыши.

Но лечат болячки.

Близ Ленинакана стоит гидростанция; мощен рост техникумов; заработал текстильный завод, куда тридцать процентов очищенного от зерна, белоснежно-волнистого хлопка идет; остальные же семьдесят из Эривани вывозят на север; завод за заводом отстраивается; торгуют — шелками, коврами; растет население; беженцы с севера, беженцы турки от юга сюда притекают; когда-то деревня Гюмри, малый пункт караванного тракта на Персию, после же Александрополь, военный поселок, а в будущем крупный промышленный центр, — вот он, Ленинакан, запыленный, охваченный радостью стройки, как все; даже я заразился армянским строительным пафосом.

Этого встретишь и спросишь:

— Ну, — как?

— Строим то-то: отстроили то-то.

С М. С. Шагинян повстречаешься:

— Как вы?

— Сыры коллективы разводят: в крестьянском хозяйстве — огромнейший сдвиг.

Разговариваешь со спокойно глядящим Сарьяном о живописи:

— Академик Таманов прекраснейший стиль разработал для новых армянских построек, взяв лучшее от старых форм, приспосабливая их к текущей действительности: посмотрите же на эриванскую электростанцию: чудо изящества и простоты; все технические ее части даны в концентрации, в малом пространстве и в формах, как бы органически выросших в почве.

Из всех разговоров встает одинаковое утверждение и радостное, и над-личное:

— Строится новая жизнь.

Забегаю вперед, вспять описывая впечатленья свои эриванские.

Тронулись; Ленинакан отползает; мы скатываемся наклоном в 2 000 футов (стоит Эривань на трех тысячах футов, а Ленинакан — на пяти) к плодородной долине Аракса по мертвым местам, плодородным в потенции, не орошенным фактически (смесь вулканической почвы с водою дала б результаты прекрасные в био-химическом смысле); кокетливо переменяет рельефы свои Алагёз, плоскогорие сузивши; став одноглавым, главу свою прячет он, приподымая предглавие снежное; смотрит бордюрами белых кудринок, упавших с плеча (мы его огибаем) на Карскую область, которая там гребенится стеною серебристых ножей над сухим и седым плоскогорьем.

По небу пошел грозовой караван, громыхая из многих, отдельно повиснувших тучек; с одной опускаются дождики, через себя пропуская небесного цвета кусок, на котором алмазные пики торчат над стененьем оливковых склонов — в опаловой радуге; этот оттенок опалов и Линч отмечает в толстейшем, двухтомном труде, посвященном Армении [1]); всюду торчат каменистые кряжи с окраин сухой котловины, в которой змеятся вагоны, чтоб круг горизонта ходил вокруг нас и показывал цепи с равниной пред ними, усыпанной туфами, с черной палаткою ярко тряпичного курда и с мордой верблюда, колючку жующего.

Вот буроватые дыры бросают дымочек: деревня; зеленые мази стены, полувпертой в склон почвы такого же цвета, другие; вот дыры в земле среди груд кизяка; бугорчатая почва с протыками дыр — обитаема: дыры — и двери, и окна, и трубы, и скотий проход, потому что скотина живет с человеком; еще хорошо, что живет; были дни — тут не жили: бежали в пространства; и падали замертво в камни; ужаснейшая нищета здесь господствует, в яркие тряпки рядясь; разрушение над разрушением напластовал столетия и заливал культуру, как лава, хребты изначальные; самое страшное было вчера: со времен Геродота Армения разрушенья такого не знала: громились деревни, железнодорожные станции, уничтожались каналы, посевная площадь; и женщин насиловали, и младенцев грудных на штыках волокли; после все заносилось песками, летящими от Эривани.

Великая сушь облагает деревни, разрезанная редкой сетью каналов от Занги и от Арпачая, притоков Аракса; скуднейшая зелень питается влагой подземною, перетекающей от Алагёза, которому песни поют; шлюз — реликвия, святость, а распределитель воды, по-армянски «мираб», есть мудрец, жизнедатель: нелегкое дело водой оделить поселян; здесь снега Алагеза воспеты; зато Арарат, сам себя выпивающий, выброшен вовсе из песни народной.

Вот станция А н й.

Развалины древней Армении рядом: рукой их подать; говорят, что видны из вагона; они отошли вместе с Карскою областью к Турции (в «Путеводителе» же, у Анисимова [2]), они значатся нашими: «Путеводители» пишутся чтобы впросак посадить тех, кто хочет схватиться за них: там и Артвин —

---

[1]) Линч. Армения, т. I. Изд. 1910 г. 597 страниц.

[2]) См. издание 1924 года, которым я пользовался.

наш город); смотрю на места, где в девятом столетии скапливалась в библиотеки книга; вставала конструкция храмов армянских, связавшая Запад с Востоком и стили сирийские с ранним романским и с русским (таков стиль Софии, построенной не византийскими, а азиатскими зодчими); стили связалися здесь в утонченнейший узел, который с трудом расплетя, получаешь ключи пониманья эпохи расцвета единственных форм, обошедших Европу (по данным новейших исследований); Маргилевский, профессор, мне это подробно докладывал в Киеве, деятельно собираясь ехать раскапывать местность вокруг Алагеза; и то же узнал я впоследствии в Эчмиадзинских стенах, от хранителя рукописей библиотеки, Сеникерима Тер-Акопиана, показывавшего двухтомный труд, вышедший в Австрии, где специально трактуются эти вопросы; с десятого века кричит на весь мир стиль анийский; а после кричит он развалиной; Марр здесь работал; трофеи раскопок его в Эриванском музее.

Прекрасные снимки с двух церковок Анй я видел недавно; мне — кажется, это — бутоны позднее раскрывавшихся форм, потому в них стянута сила разверта подробностей целого, где купол храма и храм обнимают пространство того же все гранника башенки без боковых ответвлений; но в башенке — все рудименты даны; они точно зажаты в кулак.

Эти церковки — прошлое; ныне над старой развалиной, может быть, плещет палатка захожего курда, чтобы свеяться; бродит турецкий пикет по степям над упавшею архитектурою — в архитектуре, еще не упавшей окраин плато; это зодчество кряжей слепительно; май уже душит жарою, а все еще живо играют опаловым снегом зубцы горизонта, вулканы потухшие; здесь для геолога — рай; он с почтением шапку снимает, сюда притянувшись.

Таких мест не много.

От Ленинакана отчетлив турецкий хребет, Агри-Даг; он — граница двух некогда царств разделенной Армении; тускло начало его в юго-западе Турции, тучами хмуримой, крепнет гребенка его на восток, наступая на нас всей игрой фиолетовосветлого воздуха; там — Кусех-Даг от востока стоит Алагёз перед собственной станцией (есть остановка, присвоившая имя старца); южнее зубчатости Гекаркунйка, которые — крепость, хранящая воды Севана, чтобы не сбежали они вместе с Зангой, бегущей от озера узким ущельем и после каньонами пред-эриванскими; с юго-востока лучи вылепляют гряду белокупольных облак, громадно сияющих призрачным ободом; все облака превышает то облако вон; и оно не меняет своих очертаний, как прочие.

То — Арарат.

Смотришь, — кажется: вылезло что-то огромное, все переросшее — до ненормальности вдруг отчеканясь главою своей; всех зубцов оно дальше, и все же — громадней; а тело, в мутнящемся воздухе, странное и разлетанное,—призрак, распахнутый бледными линиями; и растет впечатление, что голова, отделившись от тела, является белой планетой, которой судьба — обвалиться, иль в небо уйти навсегда, унося времена патриархов; не бред ли: в двадцатом столетьи увидеть подножье ковчега, летавшего где-то здесь, в

уровнях воздуха; и дико вспомнить легенду армян, будто рай насажден был здесь именно, а не меж Тигром; он мне представляется оранжерейкой у Занги, средь тусклых безводий, подобием, что ль, показательной станции для разведенья зверей и людей, сих бактерий, быть может, досаднейше выпущенных из разбившейся колбы, пожравших растительность рая, богов заразивших болезнью антропоморфизма; так выросла с этого места теперешняя «белокурая бестия» Ницше.

И — нет: неподобно глядеть Арарату в двадцатые годы двадцатого века; а нам неподобно из этого века взирать на него; поглядишь — все мутится вокруг.

Мы отводим глаза, опуская на кругобегущую местность; она изменилась разительно, пока глядели на гору, — в крик ярко коричневых, черных и красных камней: будто центры земли разворочены, вывернуты красной кровью, запекшейся в черные камни.

Карабурун, станция.

Зеленоватый бок куба без крыши; с веревки, виясь лоскутами, кровавыми, черными, желтыми, — в черные, в желтые, в красные камни, взлетает белье; это буря сухая летит с Арарата (она — ежедневна: часов с четырех до семи); серожелтою стаей снимается местность и тянется длинными змеями, главы развившими в поезд, влетающий в бурую муть; Арарат, ей запахнутый, серо мертвеет и кажется тушью набросанным конусом, вставшим из прошлого: нас напугать; вот он выпустил сбоку отросток, растущий до конуса, спорящего с главным конусом великолепием стянутых круто к вершине пропорций; двойник Арарата Большого, «Массис», иль «Сис» (по-армянски), становится явным двуглавием, «Сисом-Массисом» (армяне зовут Арарат этим именем); между вершинами — невероятных размеров седло.

Так второй Арарат, или Малый, совсем неожиданно вылез из Персии; главы схватилися, точно борцы; это Турция с Персией, на протяженье столетий перед Эриванью вступив в поединок, бросали войска в Эривань, разрушая мечети: и эти, увенчанные тонкопалым таким минаретом, и эти, с изящным, цветным, полнотело изогнутым куполом, индо-персидским; шииты рубились с суннитами; те и другие всегда вырезали невинных в сей драке армян.

Будет то время, когда станет братским об'ятьем сплетение рук араратских, откуда — восход в поднебесные выси, куда ушел конус, коли он... не рухнет до этого; он — разрушается; землетрясение сороковых годов прошлого века свалило под глетчером бок великана на церковь Иакова и на поселок, — в места, куда Ной, опустившийся, стал разводить виноградники послепотопные.

Невыразимое, незабываемое вновь охватывает перед серым миражем двугорья, одетого в бурые бури, над трупом равнины.

Аракс, остановка: дома, как развалины; люди, как тени; вон очерк рабочего клинькает резко и сухо о камень взлетающим очерком молота.

Пересекаем оаз, орошенный каналом; каньоны, покрытые зеленью, блеск живортутной воды; белоствольные тополи, местные видно (таких я не

видывал), густо набухли зеленою порослью только местами, ствола не тая; а вершинка растреплется веером в ветре; и снова сожмется — зеленым копьем; стайка розовых птиц, испещренных лазоревым цветом, снимается с проволоки телеграфной и прыскает черной каемкою крыльев над тутовым деревом в хлопок, давно разводимый здесь; зелень срывается пустошью; крап абрикосовосерого колера малых травинок; и десять верблюдов один за другим выступают в орнаменте пестрых мешков, упадающих с бурого бока, обвисшего шерстью; грифиная морда по мненью М. С. Шагинян есть портрет Шопенгауэра; старый верблюд, переполненный весь философскою спесью, меня забавляет; ко мне повернул свою морду с насмешливым лозунгом: мир — представленье мое; подойди, — оплюет.

И опять набежали зеленые заросли Занги под склоном садов; несет пряниками и духами от них; поднимаются плоские крыши над крышами.

То — Эривань.

Эривань.

Эривань, или город садов, лежит ниже Батума на градус и двадцать минут (40° 10′), поднимаяся более чем на три тысячи футов над уровнем моря; Тифлис оказался б в головокружительной пропасти под Эриванью, когда б стоял рядом; меж тем: в отношеньи к местам обстанющим, она — впадина явная, сильно пропитанная испарением Занги, покрытая хлопком и рисом, сопутствующим малярии; в июле насыщенный воздух звенит комаром ядовитым и роем невидных москитов; кто может, спасается в горы из мест лихорадочных; ближе лежащее, прямо за городом вставшее, дачное место — село Канакир; дальше следуют: Дарачичаг, Дилижан, Караклис и другие нагорные пункты, заботливо скрытые путеводителем.

Занга глубоким каньоном вырезывает вокруг города мощи базальтовых, столбчатых стен, точно стены дворцов, первозданно изваянных в многоколонники; на круто вздернутых, каменножелтых приречных верхах разрушаются каменножелтые стены красивейшей крепости, в синь поднимая свои бастионы: из'еденным краем; построена крепость в XVI веке; в семнадцатом веке Аббас обнес город такою же каменножелтой стеной, о которую лоб расшибали Гудович и князь Цицианов; а персы гордились своей неприступностью; зато Паскевич стяжал себе лавры, взяв крепость и став «Эриванским» от этого; славе Паскевича очень дивилися бывшие здесь англичане: при войске и пушках, как мог он так медлить пред этой игрушечной крепостью.

Вид ее — гордый, величественно заграждающий склон городской от... реки; здесь недавно еще распадался Сардарский дворец; а теперь он — распался; у берега Занги есть сад, называемый садом сардарским.

Склон города — путаница плоскокрышая уличек, с дальнего склона являющая вид руины ступенчатой лестницы к рытвинам Занги; она — цвета почвы: повыше; а ниже — ныряет в зеленые чащи предместий с дорогою в Эчмиадзин; глядя в город с дороги, — увидишь нагорье, которое поколупали, стараяся выбить в нем лестницу; полузавалена лестница кучами камня и

мусором мощным, с которого высится яркая, как огонек, зелень белых, как свечи, стволов тополей, кудри тутовых, персиковых и миндальных деревьев, да заросли серого «п ш а т а», похожего так на оливки, бросающего жарко пряные запахи прямо в открытые окна.

Морщь склона, бросая в зелень, — в ней тонет; она — вырезная, иль кожисто крепкая, обнесена сбросом черного, белого, красного камня, являющим шашки орнамента; им наряжаются новые стены построек, отбросивши белую мазь, занесенную видно из Персии; женщины скидывают снеговую чадру, еще часто мелькающую среди улиц с оранжевым клином бородки шиита-татарина; кубы домов, как чадру, набеленность отбрасывают, появляяся в силе природного цвета; и пухло изгибистый купол мечети торчит кое-где; он — персидский; и разнится формой своей от арабского, константинопольского, выявляя типичную для закавказских орнаментов стрельчатость; вон — «Г о л у б а я М е ч е т ь», поднимающая бирюзовый ковровый свой купол из плоскости, пересеченной растресками уличек; а вон — оранжевый купол, близ Занги. Армянские церковки, малые ростом, — врезаются в небо с возвышенных мест.

Выше города — ряби могил очень голого верха; за ним — снеговой Алагёз; ниже — падает город на Зангу; везде, отовсюду, над всем — араратский массив.

Такова Эривань из окна розожелтого белоколонного зданья, в котором живем; две колонны толстейшие, в нишах, проводят в антрэ, где вторая колонная арка наверх поднимает в просторы пустых коридоров, квадратом, бегущим по трем этажам, принимая закрытые двери шестидесяти превосходно обставленных комнат; то — новый отель, еще полузаконченный, пахнущий краской малярной; в него мы попали: один из армянских наркомов забронировал номера нам, а то не найти бы нам комнат: все — густо набито.

Здесь я не могу не отметить черты характернейшей для ЗСФСР; в 21-ом году обнародован был в Эривани декрет, призывающий беженцев в город вернуться; сперва появились армяне; за ними вернулись недавние «и з в е р г и»: турки, татары; крестьяне, от них потерпевшие, их принимали охотно; и землями их наделяли, и им помогали распахивать землю.

Политику судят по ей принесенным плодам: и политика местных властей превосходна, когда мной описанный факт — ее плод.

Возвращаюсь к отелю: чудесные комнаты будут недороги; а пока — дороги: платишь — за крышу: пока — нет звонков, нет горячей воды, самоваров, прислуги, которую видишь с семи до восьми-девяти; а потом — ее нет; нет... уборной; чудесные комнаты — декоративное «с т о й л о», в котором мечтаешь о грязных углах, пусть с клопами, но с чаем и с... ватерклозетом, — не с мерзкой дырой на дворе, пред которой слёт утренний бедных приезжих, из комнат несущихся по коридорам, как по аравийской пустыне, но вовсе не к обетованной земле, а к... помойной дыре: под дождем и под пёклом устраивать очередь; после ж метаться по улице круто наклонной, за поиском дальнего, обетованного чая, как будто нельзя завести кипя-

точка в «Hôtel premier-ordre», конкурирующем своим видом со всеми «Паласами» Запада.

— Чаю ниэльзя, — об'явил очень строго сидящий суб'ект под колонной, едва понимающий русский язык.

— Ничего нельзя?

— Ниэт! нычаво!

Ничего не добьешься в примерном отеле, размаха широкого, полного завтрашней жизнью, которой пока еще нет, — до того, что записки и письма, отчетливо посланные мне знакомыми, несколько суток валялись пред носом блюстителя строгих порядков.

— Ниэльзя!

— Тут записка мне.

— Ниэт, — раздавалось в ответ; я ж — протягивал руку за ней: и ее добывал из-под носу блюстителя, так «ничевокски» настроенного.

Вот и русская девушка, Поля, согласная нам добывать кипяток из лавчонки напротив, — исчезла: «ниэльзя».

И мы бегали, пересекая проспект Абовяна, в далекий кофейный район; счастье было так близко, — напротив; а вот принести его Поле — «ниэльзя»; наконец, появился почтенный усатый Вако, или Сенехерим, или Мрктич, может быть, согласившийся на перенос кипяточка чрез улицу; мы бы и сами носили его, если б знали, что рядом он; репликой категоричной «нэльзя» на все просьбы отрезались явно возможности жить в этом стойле, и нам оставалось: скорей домытариться.

Надо сознаться: две комнаты стоили дороговато нам: десять рублей за сплошное «нэльзя» (в одни сутки).

Коль строятся стены, то надо при них строить жизнь с «кипяточком»; уехать я вынужден — вовсе не из Эривани, к которой тянуло, — из стен; осмотр города, всех учреждений его, новый быт, темп его насажденья есть сказка; и даже колонный антрэ при дыре выгребной очень яркий момент, потому что теперь Эривань — бивуак разбиваемой жизни; не требуйте самых обычных удобств от нее; она вся вылезает из старых развалов сложеньем фундаментов, или «антрэ»; все засыпано мусором; все прозияло растреском, в котором сидит скорпион; все в известке сегодняшней, красящей.

Но кривули закоулков, растрески стенные (ведь 200 домов подпираются бревнами, как костылями), с резными террасами и подворотнями, с зарослью мощных кустов на распавшихся крышах, с которых белье полоскается, — те кривули пожалеешь: снесутся; исчезнет археологический и эстетический очерк персидского города; трезво ж подумав, не станешь жалеть: на развале уж новый фундамент сидит; поднимаются стены без крыш (стены — будут); недавний стиль зодчества — новоармянский, тяжелый и вымученный, или то — ренессанс, не калечащий местный ландшафт, явно ладящий с ним: дома эти — оранжевых, розовых, сероореховых колеров, с белою лепкой; прекрасны постройки Таманова, сложенные из цветов необмазанной почвы, с заостренной крышею из черепицы, поладившие архаической формой с те-

перешним веком; «т а м а н о в с к и й» стиль, поднимающий будущее и умело являя в нем староармянское зодчество, строит картину великого «завтра».

Представьте себе Нюренберг XXI века, вобравший по-новому ритмы старинных конструкций, с которыми ладит промышленный ритм; этот стиль не «к в а с н о й», как тот стиль «р у с с о п я т с к и й», которым едва не убили Москву, возводя в ней «ряды» рядом с «думой» чудовищной; вижу «народное» зодчество в стиле Таманова в центрах, в с а д а х - г о р о - д а х», — не железо-бетонные чудища капитализма, в фантазиях многих конструкторов явно стилистикой социалистической ставшие.

Нет, академик Таманов, пришедший работать в Армению, с планами нового города, уничтожающего часть старинных кварталов, проводит по-новому лозунги древне-анийского стиля.

Спросил его:

— Верите вы, что Армении нужен бетон!

— Нет, — не верю: зачем? Материал — и какой — под ногами: дешевле, красивей бетона; и в прочности не уступает ему.

— Почему инженеры — горой за бетон?

— Предрассудки у моды сильны; где нет камня, — бетон выручает; бетоном оспаривать камень природный, по-моему, лишь обезьянство.

Теперешний стиль Эривани — развалины в очерках еще не зданий, — а стен: в одном случае крыш у ж е нет; в другом — нет е щ е; стиль тот прекрасен, по-моему; шероховатости жизни сознательно в нем продиктованы волею к коллективизму, согретою радостью: т а к и з а ж и т ь п р о ч н о й ж и з н ь ю. Как бы говорят вам:

— Ну да, тесновато, нелепо; приходится много возиться; но лучше сплотиться в открытой и доброй возне, чем таиться в растресканном стиле персидского дома от турок, татар и чиновников!

Здесь, на окраинах видишь размах СССР, — не в Москве, где советские барышни треском машинок проекты строчат; их действительность вовсе не в давке трамвая московского, а, например, в Эривани, где нет и помину трамваев, где треск ремингтонов есть радостный говор о явно приподнятом будущем; из разговоров с армянским рабочим, седым коммунистом, с помощником наркомпроса Армении, с нашим шофером, три раза сидевшим у турок в плену, Вагаршак-Сарафьяном, с Сарьяном, воспитанным «М и р о м и с к у с с т в а» и после принесшим сюда, в Эривань, свою мудрость художника и замешавшимся в ритмы Армении, из разговоров с Тамановым, давшим проекты свои Эривани, из дружеских криков с М. С. Шагинян о текстиле и сыроваренье, — отвсюду летел на меня этот радостный вздох про работу народа, столетия изголодавшегося без нее.

Лишь в советском режиме вздохнула страна.

Невозможно коснуться всего, что я видел, — в коротеньком очерке.

В распоряженьи советских работников, организовывавших Эривань с 21-го года, — остались: пустые дома без людей, часто даже без крыш, город без освещения, водопровода и без тротуаров, заводы пустующие,

просто чудом оставшийся старый коньячный завод, знаменитейший, Шустовский, сети каналов, не действующих, и садов, обреченных на гибель (ведь персиками, абрикосами, айвами, грецким орехом, гранатами, винными ягодами, миндалем осыпалися зелени). До революции, кроме коньячного и пивоваренного производства, кустарно-ремесленных промыслов, двух-трех заводиков, не было здесь никаких предприятий.

Теперь Эривань из-за хаоса переустроек — все ж выглядит чисто; и вся в электричестве; есть тротуары; расчищены сети каналов; окончен канал, отводящий прохладную влагу до Эчмиадзина; другие же — роются; новая электростанция щедро снабжает энергией ряд предприятий; и — ток посылает в поля удаленные, до Айгер-Лича, готовящего орошение для шести тысяч пустых и сухих десятин, завтра хлопком засеянных; здесь поселяне всех возрастов втянуты в перестроенье хозяйств; горожане по уши зарылися в стройку, которой так много — хотя б... наше «с т о й л о»: прекрасное здание с бездной сулимых на «з а в т р а» удобств, — вплоть до вида на горы с веранды на крыше, хотя бы помещение «П о л и г р а ф - т р е с т а», хотя б «А н а т о м и к у м» — ставимый в новом квартале, широко распластанном в куче садов; иль — поселок рабочих домов, вид имеющих вилл комфортабельных, рядом с хлопковым и маслобойным заводами (все — новая стройка); хотя бы — карбидный завод вместе с полуготовым машинным; хотя бы — кожевенный; все это — плод достижений Советской Армении, не говоря о чудесной тамановской электростанции, этом источнике света и сил.

Я молчу о культурном строительстве (тема, достойная книги, — не очерка); был я в ф а б з а в у ч е; хлопать в ладоши хотелось, когда обошел я его; там веселая стаечка будущих спецов-рабочих (рабоче-крестьянских подростков) проходит градацией курсов; тут — физика, химия, две технологии (по обработке металлов и дерева), два языка, математика; тут и ряд мастерских разных цехов: машины, модели, работы учащихся; курс — трехгодичный; занятия — восемь часов (ежедневные).

Словом: здесь новая жизнь бьет ключом, поднимающим в степи сухие свой радостный лозунг.

В кривых закоулках.

Веселое утро!

В открытом окошке распластан своим снегосахарным гребнем сквозной Алагёз, точно белый дракон, на крыле перепончатом взвиться готовый с подножий под синие выси; мутится опалово линия скосов разорванных, срезанная упаданием близлежащего верха, покрытого рябью могил; зелень Занги его омывает, пробитая кубами домиков; белые стволики тополя — эти застывшие древки зеленых знамен — между плоскими крышами стройно приподняты.

Ниже уселись печеные солнечнотенные кубики, малые, средние, башенные, подставляясь стеною, ребром, полуклином в орнаменте каменных дворишков и желтоватых заборов, построенных сменой теней (голубых,

серых, кубовых и коленкорово-черных); сверкают, как бельма, квадраты их крыш из-под кудрявого садика; домики где разбежались, а где — раздавились боками: строение линий являет все уровни крыш, в сочетаньях, которые даже Сарьяну не выдумать. Зелени, то разбухая, то узко змеяся, игрою гирлянд проплетают кварталы, чтоб чащей над Зангой стоять.

Эривань подбежала слеплением стен под окошко, верандой, колончатой челюстью, щерясь, и белой стеной обрываясь, с которой свисает резной, деревянный балкон откровенно персидского стиля; а сбоку ослепло оконце зеленорешетчатое; пред верандой на улицу выставлен крышный квадрат, — распадающийся, в желтоцвете косматом, весь сахарнобелый от солнца; лохмотья известки — под ним; рябоватые камни в растресках кричат из лохмотьев о том, что они полны блох — на проспект Абовяна; глядит из-за крыши армянка, присевшая в тени колонн у перил, упадающих в зелени дворика, где от теней полосатопятнистые стены чернеют провалом, ведущим в подвал — под угольником нового дома, сидящим у дома со стрельчатым входом ворот, разволосых кустарником птичьим и скрывших наверно пестрятину стиля «Г а р у н - а л ь - Р а ш и д», т. е. дворик с фонтанчиком, с пестрым ковром, с инкрустацией, с плиточным полом, с кальяном и прочею «Персией». В сумерках облака аспидно трупным все стало: и стены, и крыши; и ждешь, что по грифельносерой стене монотонно запляшут горбами верблюды коричневосерые.

Все это, взятое вместе, как слепок с художества, крепкого бытом столетий, частями армяно-персидских кварталов рвет глаз.

Хочешь крикнуть:

— Смотрите-ка: ведь орнаментику эту скорей надо спрятать, накрыть колпаком, чтобы палец корявый ее не рассыпал.

Но думы мои отвечают на думы:

— Она же рассыплется; нет колпака верней неба; подставка — земля; и они искони выпекают сокровища всей мастерскою природы, которой продукты — музейные ценности; дайте-ка жизнь этой местности, — из-за пылей проблошенной стены встанут новые перлы в «т а м а н о в с к о м» стиле.

Сарьян пусть рисует армянскую уличку; и в Эриванском музее прибавится комната, где Эривань, — эта вот, — отразится.

Пока она есть, очень весело быть среди кривобегущих заборов, в журчании струй, по канавкам сочащимся; утром же Карапеты, Мирзои, Мркгичи, Дереники и ряд Вагаршаков вспотевших из малых каналиков черпают ведрами воду, ее разливая на пыль, нездоровую, едкую.

Мы выбегаем и перебегаем проспект, разрезающий город от сада до взгорья, — проспект, вечерами набитый густою и громко кричащей толпой; все — бегут и кричат, и руками махают: армяне, татары и турки, и персы, и русские; женщины в белых чадрах (и без чадр), в черных платьях, монашенок напоминают. В Тифлисе — стоят, помавая платочком, иль кепкою, молча оглядывают. В Эривани же ни на кого не глядят, но бегут, и кричат, рот раздрав, перекрикивая быстролетную воду канальчиков.

Коль пересечь это все, попадаешь в пустынную уличку, шага в четыре, затиснутую между стен глинобитных, обвисших листом кружевным; кое-где нарастает стена, грязно склаблясь обвалом; тут жизнь спину выставила, повернувшись лицом на сады и дворы, полувскрывшись овалом ворот вырезных, розоватого цвета с зеленою каменной лепкой над ним; там бордюром навис четкий многооконник, внушительно выдавясь в улицу; ослики под пестротою мешков пробегают; и вывесили из отверстия коврик узорчатый; громко чихаешь от запаха пряного пшата.

Нам любо войти сюда и безвозвратно здесь кануть, в пустых лабиринтах вращаяся, и оказаться потом на куриных размеров площадке с куриных размеров церковенкой, в двери которой громадный попище трясет бородищею, — точь-в-точь такою, с какими ходили жрецы вавилонские; видеть упавшую лестницу улиц с открытия верха оборванного пред чудовищным конусом, в небе приподнятым: тысячелетья в лазурьях вися, патриарх Арарат из-за тучи вперился в нас, или в Сенехерима, иль в сорную яму соседнего домика; он отовсюду высовывается; везде исчезает, упавши за стену, за холмики, за толстостволое дерево.

. . . . .

В листьях сидим на скамейке: как быть? Ехать в Эчмиадзин, или — быть в Камарлю?

Вскрики:

— Вы?

И М. С. Шагинян — перед нами.

— Какими судьбами?

— Не знаем и сами.

— Вчера я узнала о том, что вы здесь; я звала вас в театр — вчера вечером.

Тут обнаружилось: это М. С. поднимала с постели меня к телефону; и я — не поднялся, свалившись с дороги в постель; но, что главное, я ведь не знал, кто на меня накричит из отверстия трубки; хрипящие звуки, пощечиной шлепающие, во мне вызывают унылые воспоминанья о перебранках с все тем же поэтом, который, куда ни приедешь, срывая с работы, кричит в телефон: «Когда можно вас видеть?» — «Вы кто?» — «Все равно». — «Извините, не все равно». — «Вы меня вовсе не знаете». — «Если не скажете, кто вы и что нужно вам, кладу трубку». Молчание.

Я — кладу трубку.

Такой разговор повторяется лет уже двадцать: в Москве, в Ленинграде, в Берлине, — куда ни приедешь; я знаю: зовут к телефону, — он это: охрипший, себя называть не желающий голос; вчера, заподозрив его, я не сбросился с трех этажей свое ухо подставить под хрип: он же был — Мариэттой Сергеевной.

И по традиции встреч наших добрая буря словес поднялась между нами; делюсь впечатленьями от Эривани, от красок Армении и от рассказов, услышанных о «Д з о р а г е с е»; в ответ — ураган междометий,

меня назидающих: краски Армении — ценный пожухлый ковер; разглядеть же их можно не в день и не в два; надо прочно осесть в Эривани и тщетно затщиться себе приискать помещение; сыроваренье надо поддерживать, — не «Дзорагес», этот пока еще только дессерт; не кусок откровенного сыра.

Люблю пререкаться с М. С. об орнаменте мыслей у Канта, Фрошамера, музыке Метнера, естествознании Гете, разорванном криком о сыре, разобранном социологически, этнографически и эстетически.

Вовсе не знаю, как именно я очутился в редакции местной газеты, туда ураганными маршами вшибленный; с явным тиранством пригнав к секретарскому столику, М. С. поставила перед лицом энергичного деятеля эриванской печати, ему пред'явив ультиматум о том, чтоб прислали нам завтра машину для Эчмиадзина; я — протестовал было, переконфузившись смелости М. С. под сплошной перетреск телефонов, в итоге которого было любезно заявлено:

— Будет машина.

Любезнейше начал было приносить благодарность, но был энергично повернут и вытолкнут я центробежною силою М. С., развивающей эрги и уатты, тропическим ливнем стекавшие с наших промокнувших лбов... до Сарьянов, сердечно принявших; художник Сарьян с тихомудрой улыбкою нас ориентировал в том, что увидеть, снабдивши маршрутами дней, в выполненьи которых он так помогал нам впоследствии.

Сдавши Сарьяну нас, М. С. исчезла, и буря энергии в нас улеглась, явив рост энтропии, пока не повеял тишайший пассат Мартироса Сергеевича, пресердечно уведшего к зданью музеев (картинного, литературного, этнографического), т. е к грузному зданию яркокоричневых колеров, белоколонному, с нишами, как все конструкции ложно-армянского стиля, которых здесь много.

В приветливых залах — история живописи: Веронезова школа, Рембрандтова школа, Баттони; вот — Делякруа, вот и Грез, и Тенирс; зала русских: Тропинин (портреты), Владимир Маковский, Поленов, прекрасно представленный; и — недурной Левитан; эра поздняя: Рерих, Коровин, Судейкин, К. Сомов (портрет), Александр Бенуа, Петров-Водкин. Армяне: плохой Айвазовский («хорошего» я и не знаю совсем), Суреньянц, интересно развернутый гаммой восточного быта (сюжет — исторический); Татевосянц бьет струящимся, романтизованным импрессионизмом, захватывая своей фресочной темой, «Беслан Ага»; прелюбопытны полотна тифлисских армян-портретистов начала истекшего века.

Но все заслоняет — Сарьян; его зала — омега и альфа: здесь краски слагают из вспыхов суровые синтезы местных ландшафтов, приподнятых до схемы-образа, ставящего пред сознаньем: восток вообще; они — прототипичны; и вместе: они — яркий быт; в них и натурализм, и романтика пересекаются в реалистических символах философемы, рассказанной глазом, умеющим видеть; будь то уголок Эривани, будь то космогония, — видишь плоды терпеливой фантазии, собранные с необ'ятного поля

эскизов, проделанных кистью, иль глазом без кисти, или осознанием ряда увиденных тем.

Встали лозунги Петрова-Водкина:

— Живопись: это — наука увидеть!

Я видел Армению — два уже дня: но увидел впервые — в полотнах Сарьяна; их вынес позднее на улицу, в поле, чтоб там развивать мне преподанное мастерство: уметь видеть.

В отделе соседнем раскопки из Ани расставлены — камни, орнаменты, утварь церквей; и кресты кружевные, и фрески прекрасные.

Преостроумно: шкафы рукописные стали витринами ряда портретов, автографов новых армянских писателей в литературном отделе; но в центре внимания — старые рукописи в фолиантах (VI-го, IX-го века и ряд миньятюр на полях, превращающих желтый пергамент в павлиньи хвосты орнаментики; блещет Фирдуси изысканным кружевом красок (XII век); интересны старинные акты в футлярах, с висящими дисками с них государственных, тяжких печатей; вот грамота Екатерины о переселеньи турецких армян в отведенные земли (впоследствии — нахичеванские); и вот — первейшая книга печатная; из Амстердама через Киликию, связавшую некогда с Западом эти места, привезли ее вскоре же по изобретении Гутенберга.

Усталые, сытые от впечатлений, плетемся к себе: в раскал комнат, зажаренных солнцем; скорей — окна настежь: прислушаться к тонкому посвисту рвущихся в ветре деревьев: от трех до семи поднимается горький изысканный свист, а лицо режет ржавою сухостью быстро несущейся мути.

. . .

В шестом — у Сарьяна, который сулил поводить по предместьям, но Романос Миликьян, композитор армянский, высокий, оранжевокарий от солнца, синкопом удерживал нас, убеждая прослушать концерт сазандари.

Выходим, — уныриваем в переулочки; тут — натыкаемся: на перекресток, на ослика, на колоннаду, ворота с развернутою композицией двориков, перетененье веранд из-за желтых цветов барбариса; а линии крыш поднялись в розовеющий воздух — бело и утонченно.

М. С. Сарьян, проводящий по красочным тайнам, закрытым для многих, как лавки, набитые криком шелков, но с опущенными жалюзи, и с заклепанной дверью, — Сарьян отворяет невиденье наше магическим словом:

— Сезам, — отворись!

И «Сезам» — отворяется.

Он это делает даже не словом, а — пальцем, движением брови своей, остановкой пред (все бы сказали) загаженным местом; броском намекающим он превращает навозы в сложенье парчей, кружевеющее красным персиком на лазулитовом тоне:

— Смотрите-ка.

— Ну?

— Дворик.

— И?

— Да — вот: кадки.

Вы ждете, что далее: от Мартироса Сергеевича не добьетеся вы комментариев; он — постоит, пошевеливая своей палкой, пред кадкой подержит; и — дальше пойдет; коли зренью хотите учиться, — смотрите на кадку: наверное, — колористический протофеномен в ней скрыт; в подворотне показана будет сложнейшая лаборатория мыслей о местной культуре, которые лягут в основу почтеннейших книг, посвященных истории и экономике: быта вчерашней Армении. М. С. Сарьян, перед двориком вставши и бровью на дворик мигнув, вас поставит у первоистока ключей, эти книги питающих; учит увидеть глазами то именно, что для другого туман представлений: конкретный предмет.

Остановит:

— Вот — ослик.

И — точка.

На ослике пестрый мешок, повторяющий цвета равнины, усеянной камнем; вы сами увидеть должны; вы — «у в и д е л и»: ждете суждений:

— Пойдемте.

И — все этим сказано.

Так променада с Сарьяном по старым кварталам была припаданьем к векам, проносившимся над Эриванью с седьмого столетия, взявшего город в анналы и хроники; и Тиридат, кабаном сумасшедшим обернутый (местной народной легендой), высовывал клык из свиньи подзаборной, которая выглядит... мухой (о сходствах не спорят); и книжник Месроп, составитель алфавита, носом являлся из окон соседнего домика, в образе... Сенехерима Мирзоича, иль Эгише Рафаэлевича, обывателя и проживателя. Поп становился тиранном Тигласом-Палассером сумеро-аккадийским размером своей бороды в завитках вавилонских.

Все — ожило: в красочных пятнах.

Прекрасно — у в и д е т ь; прекрасней — заставить у в и д е т ь, снимая с зрачков катаракты: мы все — «к а т а р а к т и к и»: видя, не в и д и м.

— Куда мы идем?

— В классы техникума.

Я подумал:

«Зачем? Есть места интереснее...»

Здание техникума — перед нами; заходим в него: и знакомимся с очень любезным заведующим; он ведет нас по классам; и — видим здесь — форму копируют; в комнате рядом — копируют слепок; сидит в третьей комнате немо застылый старик, опершися на палку, доказывая всею позой, что он есть модель; нам показывают производство гончарных изделий: тарелки, сосуды простой очень формы; весьма интересно; но не понимаю — в чем суть?

Мартирос же Сергеевич, точно сконфузяся, палкой помахивает и стоит нерешительно перед стеклянною дверью террасы.

— Идем на террасу: оттуда видна Эривань!

Суть — вот в этом, а шествие наше сквозь классы — предлог, чтоб попасть на террасу, являющую Эривань в неожиданно новом раккурсе: падением стен, зеленей и мечетей, таких пестрокупольных, ниц перед снегоголовой громадой, отнявшей треть неба, и серebророзовой, с трещиной синей ущелья, которым разорвано тело; вот пастбищный бок поднялся так янтарно из серолиловопокатого низа, неясно простертого.

Да, Арарат — патриарх!

Мне понятно теперь, что Сарьян вел по классам, чтоб после — поставить лицом пред лицом его, — явственным, в небо закинутым: прочь от земли и глазами и носом; волна волос снежных, чуть розовых, прядями плечи укрывших, стекает по разведенным рукам; жест отдания пламени вулканическим выдохом в небо подбросил огромное тело, чтоб многие тысячи лет простояло оно мертвецом остывающим, с дланями брошенными, с головою закинутой, напоминая ужасную эру, когда все окрестные цепи клюхтали кипящею лавой; когда б увидали мы лик Арарата в то время, упали бы ниц, как вся местность; и в ней — Эривань, осужденная более тысячи лет унижаться пред жизнью гиганта; не выдержав этого — падает: кубы домов выявляют карачки безглавые; спины торчат перед конусом, вздернутым в небо: то труп старика, задавившего землю; он все еще силится: превознестись.

Но он — рухнет: геологи, щупавшие его кости, об этом поведали; трещина синяя — трещина трупная; будет чудовищный день, когда очерк гиганта взорвет, распадаяся, и миллионнопудовые камни, размерами с башни, ударятся о плоскогорие, выгнув дугою все ложе Аракса.

— Теперь пойдем дальше.

— Куда?

— Пойдем Зангой. — Сарьян возвращает меня к Эривани, когда убеждается, что космогония, перед которой поставил он, корни пустила.

Пошли вдоль обрывин реки; за спиной — заревые турецкие стены надуто висят бастионами, а под ногами и зелень, и сырость, и шумы речные сквозь кисти цветов; против — желтые суши трухлявой горбины врезаются в Зангу; и Занга вырезывает, огибая ее, мощностволые толщи перпендикуляров базальтовых, строя над самой дорогой колонный каньон; вместе слеплен и вытянут ряд шестигранников; издали, точно медовые соты, они янтареют с отхвата горы; а вблизи громоздится великое здание, высеченное с совершенством из скал первозданных; не крышу подперли колонники — выторчи диких каменьев, вз'ерошенных сверху косматым кустарником, свешенным в пропасть дороги, которой идем; в одном месте прохожий гигант, миллионнопудовою силою бронзовых мускулов впершись, колонны вогнул: шестигранники здесь образуют дугу; толщиной они в ствол полуметровый, а высотой — с десяти до пятнадцати метров; и — более.

— Вы посмотрите! — Сарьян обращает на конус, громадно лиловый теперь; в осинениях снизу свои утопил он рельефы; и, цветом раздавленной вишни светяся под снегом сияющим, розовокрасным и гранным,

теперь поднимал несказанные вещи игрою оттенков в т е м ь неба, беременного первой искоркой.

— Дальше.

— Куда?

— К гидростанции.

Мы завернули за угол горы, отрезающей виды на город; и мы увидали: к горе привалясь рябоватой, рябя, как кофейным зерном, цветом сложенного диковатого камня, вполне незаметно, но прочно, растет, как из почвы, прекрасное здание:

— Электростанция: строил Таманов.

— Но нас не пропустят: без пропуска.

— Я говорил уже по телефону: пропустят.

И тут открывается: все приготовил заранее мудрый водитель, пекущий прогулки с заботливым жестом хозяйки, желающей вас угостить пирогом.

Вот — тамановский стиль, сочетающий дух инженерии с духом архейским! Подходим к забору: перед часовым добродушным:

— Ваш пропуск?

Проходим.

Рабочий, приветливо встретивший, вводит широким проходом внутрь здания; это высокий и блещущий стеклами зал-мастерская, наполненный гудом, дрожанием, вертом и клекотом черных чудовищ, турбинных машин, четко проткнутых мне уж знакомыми стержнями; щелкает клапан: в отверстие видим мы кругобегущую воду; здесь в шуме и дрожи нет лязга обычного: чувствуешь мощи планетных осей, с потрясающей силой, но плавно, но мягко, но тише, чем следует, переворачивающих огромную косность металла: перепроизводство энергий, везде одинаковое: в этом пузе железном, и в над-араратном тумане, в планетных осях мирового пространства, в осях электронных всех атомов, строящих тело мое; концентрация этих коленчато движущихся рычагов и манометров — действует вырывом из всех условностей быта, истории; мысль осеняет одна: кипятятся энергии, перерождающие всю действительность края.

— Моторы!

— Гигантские.

— Из-за границы?

— Они из Германии. Эти же части сработаны в Харькове, — нам указует рабочий на клейма (стоит на них «Х а р ь к о в»), — все части сработаем.

Вид по «З а г э с у» — знакомый; и без об'яснения знаю уже: коли там, наверху, шестерню поворачивать, тяжко поедут над нами железные рельсы! Площадка медлительно выкатится; и опустится крюк — с нее, чтоб зацепиться за крышку тысячепудовую; быстро сорвать ее с черного чудища. Только разбросанность на километры «З а г э с а», здесь есть концентрация: в малом пространстве (вся станция стоила дешево, много дешевле «З а г э с а»), зажавшем прекрасными формами, точно в кулак,

все, что надо; «З а г э с» — импозантен, являя бетонами по отношению к дорической ясности этой все ж путаницу, как бы... стиль рококо.

Ток — не столь уже моцный: и все ж, осветив Эривань, он бросает энергию в ряд предприятий (отстроенных, строимых); он дает силу в поля Айгер-Лича, лежащие более чем в тридцати километрах.

— Да, да: экономии средств соответствует и экономия места.

— Поднимемся вверх?

Мы выходим и лезем: ступени бетонные около круто бегущего, тоже бетонного спуска; в нем бешено скачет вода; то — излишек энергии; та вон труба, сверху камнем обложенная, рябовато зернистая, брошенная по откосу на зданье саженным диаметром, воду сжимает, которую утилизируют: ею вращают турбины; а эта свободная скачка, кружащая головы нам, — игры школьника: скоро усадят его за работу, зажавши в железо.

На вышке стоим; над обвалом пространства проходим по малым бетонным площадкам, и верхом канала скрываемся в зелени; темени неба, в себе растворив Арарат, робко искрятся; а Эривань встала звездным заливом — из очерка темных каньонов.

Заходим к водителю, нас научившему город читать, точно клинопись из колоритов; и — вечер окончен: в кафе; наслаждаемся вкусным «м а ц ц о н и», пьем «А р з н и» («Н а р а з а н» эриванский).

Э ч м и а д з и н.

Веселое утро; и видно из окон, как влеплен в лазури своим снегокрылием бледным сквозной Алагёз, только с полдня на грудь поднимающий первое белое облако; мы ожидаем машину; девятый, и — никого, ничего: только посвисты деревца; и — пескосвет.

Телефон: Мариэтта Сергеевна:

— Прислана?

— Нет.

— Как же вы?

— Да поедем с Закав-пром-пром-про: нет возможности выговорить!

— Ну, так знайте: Звартноц, Рипсимэ не увидите. Лучше еще подождите.

Ждем, через балкон перекинувшись, вслушиваясь в перебранку армянскую, очень отчетливо нам подающую звуки на «цхнэ» и на «мрчья»; и выходит сплошное: «Ацхнэ-Мнэмерчьян». Девять: нет никого!

Тут звонок от Сарьяна, что — будет машина, «М р а в ь я н о в с к а я» (Наркомпрос); превосходно, но... как же? Ведь послана «вциксская» (только сказали мне); да, из ноля — две машины возникли! Одна под'езжает, — которая ж?

«Э т а» и «т а» совместились, как в догмате о двуединстве; что главное: М. С. Сарьян из нее вылезает:

— Вы?

— Видите — я.

— Превосходно!

— Я старые камни люблю.

Едва сели, как выдернулась из-под шин Обовянова улица, улицей Ленина ставши и ряд европейских построек неся мимо нас. Вагаршак Сарафьян, наш шофер, свои зубы показывая, рвет ландшафты; и площадь является; очень нелепый собор (цвета дичьего сыра), украсился очень большой пентаграммою (кажется, — клуб комсомольский); тут ярко взорали пестроты базара, тряпьем нападая; но — брошены за-спину; скатываемся из пыли над старым мостом через Зангу; оранжевый купол мечети и желтые стены с бойницами нас не успели увидеть: мы — мимо: и — врезались в гущи; приятные запахи пшата меж стен глинобитных и зеленогрифельных с белым шиповником, с краснооранжевым цветом кустов барбарисовых, — ринулись мимо: и справа, и слева; мы выкатились из-под скатов сухих плоскогорий со скоростью бешеной; режем свободный простор, накреняясь с дуги, поднимающей вправо, на дуги слетающие (превосходно шоссе); серорозовая, мелкотравная степь серебреет отливами матовыми; стайка розовопалевых птичек с нее лоскутами оторванной почвы — летит: цвета степи.

И тут — мимикри!

Этот самый оттенок степного покрова встречается в Азербайджане; он цвета орнамента пестрых носков обитателей Азербайджана, как цвет бороды, в какой красятся старцы татарские; птица в степи — сама степь; так татарин: присевши за кустиком, сам — кусок почвенной пестрости; ею одетый, — невидим средь поля открытого вместе с верблюдом, с мешком (на верблюде); его выдают разве черные пятна палаток, — такие же, как эти вот, мимо которых проносимся, перед которыми, севши в кружок, желтокрасные, желтозеленые женщины смотрят на нас шоколадными лицами, морщась от солнца (мотив из «С а р ь я н а»); то — курдки-езидки, которых религия — странная смесь из парсийских, персидских и всяких гностических мифов, — не чертопоклонничество, как иным это может казаться. Живут здесь татары, евреи, айсоры, армяне; кочуют — цыгане.

Земля — с древним запахом: в чобры и в мяты влиты испарения старо-армянской и староперсидской культур, закурившихся, верно, от старых жаровен, от сумеро-аккадийских, потом ассирийских; здесь жив Вавилон: поглядите на бритые профили, губы, носы эриванцев, приставьте к ним длинные клинья бород завитых, — вы узнаете фрески: мужей окрыленных и посохоносцев в венцах многозубчатых: профиль армянский — вполне вавилонский: и «С е н е х е р и м», — нет, чего стоит имя одно! Здесь «айрик» (или батюшка) более напоминает жреца вавилонского, вышедшего из Ваалова капища, — не христианского.

Древнее место, видавшее виды: гребнистый шлем грека и маршевый счет парасангов; здесь лагери между камней разбивал Ксенофонт; и сюда приходил Ганнибал, омраченный, на помощь рассчитывая против римлян, —

к армянскому деспоту; с этих равнин еще прежде армяне снимались, ведомые Ксерксом на Грецию: неумолимый Шапур здесь слонами затаптывал жителей.

Впаяны древности в почву; и камни природные — передряхлели в скульптуру; и статуи, треснувши, в землю уйдя, поднимают кусты; не поймешь, что ты видишь: природу ль, культуру ль? Вдали голорозовый, желтобелясый и гранный хребетик сквозным колоритом приподнят пред Гекаркуником, Севан отделяющим; почвы там храмами выперты; храмы — куски цельных скал: то развалины храмов Гехарт; и ущелье Гарни там с развалинами Тиридатова времени, Марром откопанными (между прочим: откопана там голова греко-римского стиля, армянской Дианы, или — Анаит); вот туда б, но мой друг — не ездок; в фаэтоне же трудно проехать.

Мы меж Араратом и меж снегокрылым сквозным Алагёзом сворачиваем круто влево, в аллею тенистую: из тополей бледноствольных; привстал бледный призрак из сини и солнца над малым цветком, голубым и лимонным, которым трава изошла: Арарат; стоп: мы — вышли; проходим к площадке, раздвинувши чащи цветов и кустов; средь песков ржавомедных — круг камня, как кружево: выбитая орнаментика.

Это — развалины храма Звартноц.

Модель целого в Эчмиадзинском музее: три яруса трех куполов, исходящих легко друг из друга (один над другим), образующих ряд капителей и окон колонных, как из лепесточков: трехкружие, — точно махровый, орнаментом пышный цветок, опрокинутый над цилиндрическим телом, которое — многоколонник; подножия — кружево.

Таким он — был, если верить модели; а ныне он — глыба разрытых камней из малиновых цветиков мака, торчащих отчетливо выбитыми: завитою корзиною, иль прихотливо изогнутым клювом орла, иль — медведем разлапистым; жаль, что Звартноц отклонился с дороги на Эчмиадзин, и не все его видят; но Брюсов здесь был и отметил богатство сокровищ на камне; и Линч, прежде бывший, грустил, что места эти вовсе отсутствуют в перечислениях путеводителей образовательных странствий [1]). Направо разрытые стены и контуры комнат; вот — явный очаг для огня; одна версия: это — остатки священного жертвенника; и — другая: остатки монашеского общежития. Тут, среди ржавого грунта, в камнях золотистых прекрасно присесть, разойдясь, и задуматься, вслушиваясь в трески ящериц; некогда — едем: несемся; и издали — домики Вагаршапата приподняты; слева, близ нас, заблистала, как золотом, ржавиной меди и бронз, точно заскрежетав жеглóм солнца на каменных крышах, сжав выступы, втянутые в многогранник подкупольный, церковь-красавица, иль Рипсимэ: монастырь (вероятно, шестого столетия), невероятный изяществом одновременно тяжелых и легких, но строгих пропорций.

Я вспомнил часовенки Ани: коль все, чем пленяют они, — купол башенки, или — бутон, уж, конечно, Звартноц, Рипсимэ суть махровые розы

---

[1]) См. Линч, Армения, т. I, гл. XVI.

армянского стиля: в них высшая пышность разверта строительных форм без барокко ненужного; нет ни единой безвкусной детали: все просто и строго: до трезвости, даже до скупости; вместе с тем: явность потенции к многообразию форм, выветвляемых — сжатых в кулак и приподнято-вытянутых в синеву, как фигуры монахов в готическом стиле; и поздний портал с колоколенкой формы не портит (XVII и XVIII век); две овальные ниши подтянуты справа и слева; абсид — между ними сидит; а шестнадцатигранник шестнадцатигранной своей пирамидкою купол построил, сжимая четыре несильные выступа (в ширь и в длину), к выси вытянув их.

Время стройки — шестое столетье; в 618-ом — церковь уже перестроена.

Припоминаю легенду, с ней связанную.

Рипсимия прекрасная в этих местах упражняла свою добродетель под сенью церковного крова; из Рима к ней сватов слал Цезарь, наслышавшись о красоте ее; царь Тиридат ее требовал в жены себе; и когда отказалась, то в Вагаршапат волокли ее; с ней едва справились; царь Тиридат в продолжение многих часов с ней боролся; побитый, зубами скрипя, от нее удалился с позором; ее заточил он в темницу, откуда бежала она; но — попалась; красавицу, мукам предавши, убили. Тогда ж Тиридат стал щетинистым вепрем и, хрюкая, бегал вокруг — пока сам просветитель Григорий, им ввергнутый в ров, воздыханьем молитв не вернул ему облик приличный; царь тотчас крестился; и тотчас же стал истреблять очень многие капища идолов. Верно, скитаясь свиньею, немало имел приключений наказанный царь, потому что потомство свиное весьма населяет окрестности Вагаршапата: отбою от вепрей нет.

К церкви подходим.

— Войти бы.

— Она — заперта.

— Постоянно?

— Да, — кажется.

— Жаль!

Нет в Армении правильного отношения к древностям, как к документам эпохи, хотя бы научным (не требую я эстетического отношенья): колонны из дерева, верх красоты, разрушаются в маленькой церкви на острове озера Гокчи; отдел же охраны — молчит.

«Р и п с и м э» — церковь-уникум; не «п р е д р а с с у д к а м и» мы привлекаемся к ней; любопытством познанья, которое в центрах республики нашей весьма поощряемо: спецами, как и властями; в Армении — точно нарочно «ф о р с я т» невниманьем к сокровищам, чтобы за голову после схватиться; меня восхищает в Армении пафос строительства; но вандализма на ней есть пятно, никому ничего не доказывающее, как и нужник с помпёзным «а н т р э» в нашем «с т о й л е», но нужник — осознан: он — временно; здесь — неосознано, что «Р и п с и м э» есть действительно ценность, которую можно и должно увидеть: не только извне.

Я любуюсь квадратом из белого мрамора, впаянного между нишами — в боке стены, и являющим кружево линий, сплетающих крест с херувимами.

Сбоку — веселое здание: гам на веранде.

— Что это там?

— База «безбожников» организованных: их общежитие.

Им бы иметь ключ от церкви, и им бы показывать внутренность.

Едем: у самого Вагаршапата — другая церковенка, очень простая: Гаяны.

Пыль бросилась с уличек Вагаршапата, поселочка тусклого, некогда гордой столицы, не раз разбиваемой ордищей гуннов, парфянами, персами; около где-то — остатки моста через реку: река изменила русло; со второго столетия строился город Вагаршем армянским царем, украшавшим его (прежде же Тигранокерт, меж истоками Тигра лежащий, армянской столицею был); жизнь Вагарша окончилась очень плачевно: казнил Каракалла за что-то его; после в Вагаршапате, явясь из свиного обличия, царь Тиридат поливал семена христианства; возвысилась Ани позднее, при власти Баграта: а Вагаршапат покатился по склону столетий; теперь он — поселок.

Все те ж глинобитные стены, заборы в обтрещинах, серобелясые крыши, орнаменты каменные; между ними, на них не глядя, поднимаются здания псевдо-армянского стиля (недавнего), — кремовые, рыжеватотабачного цвета, рябинового: и на них — велелепие лепки уселося змееподобным сплетеньем и лозоподобной гирляндиной; тяжеловатый балкончик в звериноголовых витках подпирается толстой колонной, и полукружием тяжким изогнут верх окон: роскошничают все карнизы; в недавнее время армяне богатые строили близ Эривани тяжелые виллы; сидели в них, книг не читая: их жены жевали миндаль и шуршали атласом.

Срезаем «базар» поворотами; Эчмиадзин, обнесенный стеною персидской и стильными башнями (как настоящая крепость), охватывает.

Мы — на ярком, зеленом дворе, посредине которого вырос красивый собор, затененный толпой толстостволых деревьев направо, под сенью которых спасаются от пережара, пьют воду колодца веселые люди (приезжие из Эривани); просторнейший четкий квадрат из тяжелых и каменных зданий о двух этажах; в том — музей, в этом — книгохранилище: тысячи ценных пергаментов заперты там; помещение католикоса, квартиры монахов, — отдельное зданье; а шоколадное, новоармянское, грузное здание есть Академия, бывшая здесь. Пробегает худой, крепкожилистый, чернобородый монах, развеваясь чернейшею ризою, острые взгляды бросая на нас; из-под черно-атласного, острого куколя, длинной вуалью упавшего в плечи и за спину, — профиль орлиный лица темнокарего; взгляд не монашеский вовсе; монахи исследуют рукописи, монографии пишут — и мало «спасаются».

Линч изумлялся размерам двора; его сравнивал он с перспективой Кэмбриджа; в семидесятых годах Академия строилась; организовывались ее кафедры, курсы; правительство царское очень ревниво следило за ростом влиянья ее; изучение теологических тонкостей не заслоняло поэзии, литературы армянской (и древней, и новой); не школой монахов, а — высшей

армянскою школою силилась стать она, приготовляя ряды «вардапетов»[1]), имеющих явные склонности к диспутам, — не к созерцанию семи небес; «педагог» культивировался — не «отец»; часто католикосы держали себя откровенной опорой армянского национализма, — не «преосвященствами»; так мне рисуется Мркгич, например, приехавший в Эчмиадзин из Турецкой Армении, где он подвергся придиркам и ссылке, и после неладивший с русским правительством.

Древен собор. Он поднялся над старой часовней, построенной в честь просветителя, видевшего в этом месте небесного мужа, с пылающим молотом с неба сошедшего; в память видения тут просветитель Григорий плиту положил, увезенную в Персию шахом Аббасом; древнейшие части — центральные: каменный купол седьмого столетья — гранник с коническим верхом; он ранее — был деревянным; его стиль знакомый: армянский классический стиль; боковые же выступы — уже пристройки, порой очень поздние: левый портал, ржаворозовый, кружевом высеченный, с капителями в виде звериной, протянутой морды и с переплетеньями, — окончен в семнадцатом веке.

Под старой стеною — гробницы, имеющие форму каменных кубов, щербатых невидными надписями; под тяжелыми кубами мирно долеживают эти старые католикосские кости, сжимавшие некогда посохи в виде сплетения змей.

За монахом, бесшумно скользящим, мы входим в собор, содрогаясь от сырости стен непрожаренных, тяжеловатых и аляповатых: и ризы, и троны, и очень никчемные фрески недавнего времени; посоха златопарчевая лента, безыконостасный алтарь: перегрузка сокровищ, которые вместе не схватятся: этот резной, темный трон есть подарок из Индии; этот — дар Турции — весь инкрустирован; есть что-то коптское в нем (инкрустацию эту в Каире я видел).

Вот ризница: католикосские, персо-сирийские шапки из шелка, парчи всех веков, всех цветов; очень тонкие, темные, витиеватые посохи в виде двух змей с расхождением глав роговатым; дар Екатерины — роскошная риза; покров аналоя — подарок кантонских армян (в восемнадцатом веке армяне бежали из Турции: в русские степи, Крым, Индию, Индокитай и Китай).

Жизнь в Турецкой Армении стала несносна.

Вот — эчмиадзинский музей, где знакомимся с очень любезным ученым, хранителем библиотеки, Сенекеримом Тер-Акопианом, окончившим образованье в Германии, плохо владеющим русским (беседа идет по-немецки); он водит по клинописям, иссекающим камни, доказывая, что значение текстов, разобранных им, изменяет события общей истории в нашем сознании. Форма огромных котлов занимает меня: она слепо копирует формы котлов урартийских (VIII столетия до нашей эры) согласно рисунку древнейшему

---

[1]) «Вардапет» — доктор в смысле «доктор» теологии, «доктор» литературы и т. д.

храмов с такими же точно котлами. Тер-Акопиан обращает вниманье на синтезы символов (древне-языческих, юдаистических и христианских) на камне; вот — символы солнца; вот — символы вечности. Нам — невпрочёт; об'яснитель ученый, как рыба, юркнет в эти недра за тридцать столетий до нас, где-то выюркнет, и, побеседовав мило с Тигласом-Палассаром, снова очутится перед котлом урартийским.

Вот мы — в библиотеке: тихий, тенистый и располагающий к думам не то кабинет для занятий, не то помещенье музейное, блещущее чистотою; столы: груда новых исследований в виде толстых томов покрывает их; странно подумать, что — в Азии мы; обстановка — коллэджа английского; но — все пустынно; трудящийся здесь ученик и учитель, себя назидающий трудным разбором еще не прочитанных текстов, — все то ж лицо, нам читающее превосходную лекцию об эпохальном значении старо-армянского зодчества: Сенекерим Тер-Акопиан.

В Эчмиадзине семь тысяч стариннейших рукописей, или — треть всех сокровищ, разбросанных в мире: то — первоистоки всех знаний о древней Армении; Эчмиадзин в этом смысле оспаривает и Париж, и Оксфорд; специалисты должны здесь сидеть, уткнув нос в манускрипты, — годами.

Тер-Акопиан нам показывает миниатюры армянского стиля, который традиция у ж е в ч е р а ш н е г о д н я, ошибаясь, считала сирийским (сирийский стиль сложен армянами); микроскопически яркая тонкопись красок: такой я не видел. Пергаменты: ряд медицинских трактатов, толкующих об Авицене, ряд космологических; старый роман: фигурирует в нем Александр Македонский (рисунки — персидские); тонко литые оправы из золота (это — пятнадцатый век).

Утомленные, еле выходим, сердечнейше благодаря за науку ученого, годы проведшего над собиранием данных — здесь, в Азии, передовые форпосты культуры слагающего и для всех европейских историков; солнце палит нестерпимо; нас ждет Айгер-Лич; но история переполняет сознание наше.

Народ У р а р т у фигурирует в клинописи ассирийской двенадцатого столетия до нашей эры; потом отмечают его вавилонские надписи; быт У р а р т у выступает с эпохи Тигласа-Палассара, Салманассара, фригийские завоеватели, смешанные с яфетическими племенами, слагали народ, называемый A r m i n a в надписях Дария, в скалах изваянных; Брюсов считает: печать иранизма лежит на армянской культуре шестого столетья; армяне — союзники персов; армянский Тигран дружит с Киром; и с ним Вавилон разрушает; Армения после — сатрапия; но Александр, сломя персов, Селевку армян завещал; Митридат, царь Армении, борется с римлянами; в первом веке здесь грабит Антоний.

С Тиграна великого распространился уже эллинизм; Артавазд пишет стихотворенья по-гречески; и даже боги персидские, очень охотно скликаясь с Олимпом, Олимпом становятся; Зевсом — Ормузд; Гефест — Митрой; позднее приходит влияние Рима; и до четвертого века — борьба за Армению (римлян, парфян) рвет на части Армению; в этот период растет христианство; оно уже признано за 30 лет до крещенья царя Константина;

Сапор разрушает страну; часть сливается с Персией; часть остается провинцией римской; потом Византия у персов выхватывает часть за частью армянские области.

Около этого времени уже составлен армянский алфавит (Мееропом, Сааком Великим); и множится письменность; монофизиты ораторствуют; усиленно переводятся книги Филона Порфирия; и философия властвует, и процветает история: Лазарь, Леонтий, Себлос, Эгише, знаменитейший Моисей Хоренский.

Арабы вторгаются; и в VIII веке — восстания против арабов; с Гарун-Аль-Рашида — спокойнее жизнь; упрочняется власть Багратидов в девятом столетьи; с одиннадцатого же — нашествие турок: разгром всей культуры искусств и наук; до — собрания книг Багратида, Шапура, Аристокеса, Стефана Асохика, католикоса Иоанна IV (историков), книги Григория и Пахлавида (теологов).

После ж — Европа отрезана.

Связь с нею восстановляется чрез Киликию, когда крестоносцы усиленно распространяют обычаи Запада здесь чрез посредство царей киликийских, из Сиса; потом — за разгромом разгром: и монголы, и турки; политикою угнетенья отмечена жизнь до последнего времени.

Айгер-Лич.

Расстояние от Эривани до Эчмиадзина каких-нибудь двадцать четыре, или двадцать три километра, — не более; и километров пятнадцать лежит между сооружениями Айгер-Лича, где малое озерце стало большой оросительной станцией; просто какая-то раскоряка дорога от Эчмиадзина: топорщится кочкой и камнем; горбатиной пнет; закривится сухой перетрещиной; мы и качаемся, мы — и кидаемся: то — друг на друга; то — друг пред другом; кусается солнечный диск: то ухватит за темя, то светом уколет зрачок; вода, взятая в Эчмиадзине (в бутылку), которой мы мочим виски, — теплота самоварная; точно срывается выспрь с Арарата плащ туч; Арарат приседает под ним; и заползали под Алагёзом туманы, цепляясь за склоны.

Подпрыгиваем.

— Невыносимая сушь!

Трах: подброс!

— Сеть каналов—бедна,—об'ясняет Сарьян, и рискует язык откусить, подлетевши над нами на быстром подбросе, — ее расширяют, как могут.

Трах: чуть не выкидываемся.

— Вы сами увидите, с какой энергией выскреблены эти камни и туфы.

— Я вижу сухое русло — «почва пориста: воды в нее утекают; залить много сот километров бетоном — нельзя».

Тарарах!

Умолкаем; и — прыгаем вместе, схватяся руками и стиснувши зубы.

Название речки — «Севджур» (это значит проклятая, черная): зло насмеясь над землей, ее жаждущей, уподобляема просто козе

неудойной она; за нее принялись; и — сериозно: ее привязали какаликом к озеру, и, коли нужно, то выдоят: с помощью озера, не позволяя воде просочиться сквозь дно; воды ж озера — тема старой, народной легенды, весьма отразившей действительность, — т.-е. на связь указавшей меж озером и меж подпочвенною водой Алагёза: пастух забыл палку, упавшую в лужицу, образовавшуюся меж неровности почв Алагёза; когда он вернулся за палкой, исчезла она, уйдя в трещину; и оказалася вдруг в Айгер-Личе, весьма далеко отстоящем; мораль: Алагёз наполняет подземное озеро влагой.

Легенда теперь получила научную базу.

В'езжаем в селение (кажется, — Норк); по кривулинам, пыль изрыгающим в нас, и по жаром кусающим уличкам наша машина, потрескивая, тарахтя, выбарахтываясь, перетаскивается; арбы заградили; затыкались в шины кротчайшие буйволы; но Вагаршак Сарафьян, скаля белые зубы от тщетных усилий и перекривясь над рулем, заставляет машину проделывать все чудеса акробатики, т. е. подпрыгивать, в воздух поднявши сперва — колесо, потом два колеса; я же жду, когда в воздух подбросятся три, и мы бросимся вниз головой под колеса; тут вырвались мы в ноздреватый растреск буерачного по̀ля, в котором под солнцем наверно себе рандеву назначают гадюки, где жалом, как фалдою фрака, грозит в небеса скорпион средь тарантулов скачущих; здесь в тарантеллу пустились: машина и мы.

— Айгер-Лич.

— Где?

— Вон там.

И на склоне, оскаленном издали, чуть прожелтели барачки; ни — тени; ни — деревца: жить здесь ужасно.

— Меж тем, — здесь живут больше года, в ужасных условиях, среди москитов, копаяся в сырости, в камне коряжистом; Ширманазян, инженер, здесь ведущий работы (он даст об'яснения нам), залезал в ледяную, ноябрьскую воду, — рабочим пример подавая; работу нельзя было бросить, а ноги — смерзались; да, да: ревматизмами заболевали; косила людей малярия.

Уж мы под'езжаем к поселочку, пересекая пустые каналы (на-днях — пустят воду); у дальнего склона малеет присевшая к озеру стройка; над верхом приподнято здание, темнорябое, как почва, едва выдаваясь двумя небольшими, у бока сидящими, выступами с черепитчатым верхом; дивишься пропорциям и скромной грации форм.

— Кто построил?

— Таманов.

Заметили: кто-то выходит навстречу: т. Ширманазян, инженер, худой, быстрый и жилистый, из-под очков озирает нас краснокоричневым, перегорелым под солнцем лицом: и, узнавши Сарьяна, подходит вплотную.

— Пожалуйста...

— Вы извините, пожалуйста, нас.

— Отчего ж: покажу, — выходите: тут — берегом!

Берегом мы пробираемся; вижу, — змея под водою вальсирует, в легких восьмерках уплясывая в глубину.

— Водяная?

— Зачем: она — с берега; ишь, как купается... Много их тут.

Обтираясь платками и прячась от солнца под зонтиками, приближаемся к сооруженьям, а Ширманазян усмехается:

— Вот погодите-ка: годика через четыре, когда вновь приедете, я поведу вас по пышным аллеям, которые вырастут; эти же склоны пустые лозой виноградной завьются; в полях будет хлопок; вода зажурчит.

— Когда пустите?

— Дней через десять откроемся!

— Как велика оросимая площадь?

— Рассчитывали десятин на пять тысяч лишь, а оросим — целых шесть.

— Сеть каналов большая?

— Коли ее вытянуть — верст эдак триста; каналы — в два уровня: на десять метров приподнят над уровнем озера первый; на двадцать — второй.

Входим: видим — огромные черные трубы, изогнутые, как удавы откормленные, образуют могучую петлю, проткнув твердый пол из литого бетона.

— С бетоном-таки повозились: подвоз материала — убийственен был: стоил дорого, не поспевал к нужным срокам; дорогу вы видели: адская! Я — ломал голову: что предпринять? Осенило раз: да материал под ногами валяется: щебень; притом — даровой, измельченный, прекрасный; возить не приходится: не оберешься; когда отдал распоряжение его собирать, надо мной хохотали крестьянки; а после — тащили, возили его; экономия все же большая; и — прочее.

По́д-полом — всхлюпы воды, просочимой везде; тянет сыростью в поры бетона; система насосов тяжелыми поршнями тащит из озера воду энергией, посланной станцией, равной двухтысячному табуну лошадей; та труба круто тысячи тонн водяных взносит на десять метров; и на двадцать — эта: Сизифов труд корпуса из водовозов, которые были бы мобилизованы, чтоб исполнить работу двух труб.

— Персонал?

— Самый скромный: пять-шесть человек; их достаточно, чтобы машины работали.

Я поражаюся принципом: по отношению к принципу всех гидростанций обратен он: не повышение уровня вод, — понижение их здесь кладется в основу.

— Смотрите-ка: уровень прежний.

Вон след его виден над нынешним уровнем озера:

— Сильно понижен.

Ничтожное озеро — неисчерпаемо просто: и ночью, и днем, водовоз Алагёз тащит воду под недрами; с речкой С е в д ж у р, протекающей выше,

каналиком вырытым связь установлена; при недостатке воды (коли там Алагёз забастует) вода притечет из реки; и нормаль — восстановится.

— Стоимость станции?

— Два миллиона: приняв во внимание сложность работ и огромные тяжести их, наконец результаты, — цветущую площадь в пустыне, — недорого; риск же огромный был: соотношение почв и подпочв очень пористых и прихотливых, казалося невычисляемым; необходимо учитывать было различные ингредиенты; все это — сложнило: все стоило денег и времени; трудности — побеждены.

И т. Ширманазян, сняв картуз, улыбнулся:

— А что население?

— Ждет не дождется воды; ежедневно — приходят крестьяне: справляются, радуются; силу черпаешь, видя такой доказательный отклик; послушай-ка: мусульмане седые, погрязнувшие в предрассудках, в молитвах мешают Аллаха с советскою властью. И как же не радоваться, — из-под стекол очковых блистает глазами он, — когда в Армении нет человека, не втянутого в революцию быта.

Живейше беседуя, тихо подходим к поселочку; воздух работы, хотя и тяжелой, меня веселит; даже пустошь не кажется пустошью; хлынет вода; приподымется хлопок, чтоб бросить тюками прессованной ваты в текстили различные, чтобы отжимами масляными населенье кормить и дарить населению мыло; в растрещинах, полнящихся скорпионами, персики и миндали приподнимутся:

— Милости просим: ко мне!

Еще долго сидим в комнатенках т. Ширманазяна за чаем, душистым и крепким, беседуя о перспективах; поддакивает нам и т. Вагаршак Сарафьян.

Уже поздно: спадает жара; пора в путь.

И прощаемся с милым хозяином:

— Счастливо вам открываться!

Через несколько дней узнаю из газет: Айгер-Лич — функционирует. Вспомнился мне инженер, показавший чудесные тайны ужасно тяжелой работы, отбросившей в прошлое миф о «проклятой» реке.

Стало весело.

Быстро неслись в горизонты, играющие перелетом сквозных колоритов с хребта на хребет, пока дико не вспрыгнули: стоп; гвоздем шину разрезало; но Вагаршак соскочил, надел фартук, поставил подпорку под ось тяжелейшей машины; и, быстро негодную шину сорвав, колесо облек в новую.

Мы понеслись ураганными дугами: на Эривань.

Производства.

Сегодня — осмотр производств; выбор — разнообразен; колеблемся: надо бы видеть и это, и то; например: гордость края — коньячный завод.

И твердят нам!

— Коньячный, коньячный — смотрите коньячный!

Не хочется: он развивался при старом режиме; а мне интересны: природа, строительство новой Армении, даже развалины многосотлетние, — вовсе не «старый режим»; отправляемся не на коньячный — на хлопковый; начали строить его в 23-м году; он открылся в апреле, чрез год; всей структурой машин, сплетенных в огромное тело, он есть три завода, в которых — ряды производств выгоняют продукты из этого, двухлепесткового, нежного вида растеньица, напоминающего формой листьев наш клевер (тот только трехлистен); все части растения утилизируются; здесь жмут масло, а там отдирают волну от семян (в отделении первом), расчесывают и прессуют; масла̀ обрабатывают во втором отделении; это и есть маслобитный завод; в третьем — варится мыло (завод мыловаренный). И триединство заводов — живой организм, поедающий жадно зубами и ртами машинными тонны сырца, проводимые мощной кишкой из металла в чудовищнейший маслобойный желудок; здесь масло просасывается системой сосудов, как кровь; шелуху же сжигают.

Завод расположен в обстаньи заводов, карбидного и механического; тут же рядом — рабочий поселок: ряд каменных вилл.

Мы стоим средь строений, не очень высоких, — раздавшихся в ширь, поражает размерами мощный сарай из природного коричневатого камня, набитый тугими холстинными кубами; хлопок прессованный в них: десятипудовики эти выбрасывают на платформу железнодорожную; ими грузятся вагоны, которые с этого места отходят в Москву.

Двор же перегорожен решеткой; у входа ее — часовой оперся на ружье; вот заведующий, инженер Агамиров, строитель заводов, выходит и осведомляется: что нужно нам; но, узнавши, в чем дело, ведет нас в сарай; и оттуда проводит по всем помещеньям завода, читая прекрасную лекцию по анатомии и физиологии целостного организма машин; начинает с растеньица.

Вот оно: бледнозеленое, нежное, склонное к заболеваниям; а вот — «сырец», т.-е. смесь из зерна с волоконцами.

Хлопок есть важная отрасль хозяйства; достоинства местного хлопка равняют его с туркестанским; засевная площадь в одном Эриванском районе захватывала до войны десятин 40 000; «сырец» собирался в количестве семисот тысяч пудов[1]); производство упало с войны; а дашнаки — добили хозяйство; и хлопок не сеялся вовсе; лишь в 22-м получили едва семена туркестанские, да наскребли из остатков; посеяли площадь в 700 десятин; учреждают кооперативы по хлопку, расширив кредит, семенами ссужая крестьян (семена — сорта «кинг»); увеличивают и посевную площадь; теперь обнимает она десятин до 15 000; кредит покрывается взвешенным, сданным товаром; теперь обратили внимание и на селекцию даже.

Заводов хлопково-очистительных — два: один — в Сардарабаде; другой — в Эривани; в последнем поставлены новые линтер-машины новейшей

[1]) Эти данные заимствую из главы прекрасной книги М. С. Шагинян «Советская Армения».

конструкции, выписанные из Нового Света; всего за два года с нуля поднялось силовое хозяйство до 350 лошадиных сил. Время работ по очистке волокон — 6 месяцев: от октября до апреля; и с мая — ремонт отделения (хлопкового).

Мы проходили сарай; груз тюков миллионнопудовый вмещает он: кубы холстинные до потолка поднимаются и образуют ущелья; прессованный хлопок — твердеет, как камень; у выхода вспорот мешок с неочищенным хлопком; пощупали белые зернышки, меньше кофейных, как почечки верб, бархатистые, впутанные в паутину волокон, которые быстрой машиной сдираются; горсточки зерен, коричнево гладких, прошедших сквозь строй отдирательный, в маслю идут.

— Вы возьмите на память себе, — нас дарит инженер Агамиров, — они трижды чищены.

— Сколько пудов волокна добываете в год?

— Двести тысяч, — на стоимость до четырех миллионов.

— Куда идет хлопок?

— В Москву: только тридцать процентов берет у нас Ленинаканский текстильный завод.

Отделение: где очищают волну снеговую, расчесанную от зерна и от сора; машины бездействуют: время ремонта; и — все же ясна нам система машин отделительных (пять их), сплетенных конструкцией мощной трубы, чрез которую поршни просасывают поступающие материалы; труба идет верхом; под ней — пять желудков, куда попадает сырец, чтоб очищенная от зерна волоконная масса, прочесанная гребешком стальных вилок, волною волос упадала бы, а семена осыпались бы в трубы, там передвигаяся на винтовых поворотах; винт — трубы пронизывает: вид — стального кишечника.

— Это и есть джин-машина.

Их пять: стоят рядом.

— А сколько они очищают?

— Сто тысяч пудов ежемесячно.

Воздухом сжатым прессуются беловолнистые массы.

— На них гидравлический пресс давит — силою триста пятидесяти атмосфер.

— Вот так так!

Тут железными мускулами схватывают то, что было растеньицем нежным; зеленое поле в мгновение ока раздавлено, выжато, сварено: мыло, красное маслю и желтое, ряд пирогов маслянистых, жмых, масса волны белорунной.

А с семян трижды сдирают пушок; в отделении этом — один раз, и два — в маслобойном; машинами спаяны оба, как органами — организм.

Вот — засыпочное отделение: семя, толкаемое винтовым поворотом, берет элеватор: сюда, в маслобойный завод, где машины сердитым журчаньем вытрясывают из него сор и грязь; после вытряски семя вторично берет элеватор, откуда оно высыпается и пневматическим ситом трясется; то — «л и н т е р н о е» отделение: по роду машин, называемых линтер-ма-

шинами; привезены из Америки; там, в отделеньи подпольном, приводят их в действие; мы — туда сходим; системы ремней — сумасшедшая пляска; и стержней слепительных — быстрь вертолета; в безлюдии — визг, щелк, бегá, трепыхи, марамoрохи; все это — прядает, вертится, бесится; все это точно кричит на тебя: «Осторожней, — калекою будешь!».

Все — в полном ходу: маслобойный завод функционирует летом.

Новая камера, где раздробляется семечко, брыжжут скорлупки, а ядра — дробятся, и сыплется желтою, рыхлой дорожкой мука; в отделении новом — поджар; задыхаемся: пёкло, томительный, масляный запах; машинные части и люди в передниках — желтые и маслянистые; капает душная, душу мутящая желчь; люди, жареный этот товар завернув в оболочку, в машину кладут; она — хлопает крышкой, формуя и жирный, и вязкий «п и р о г»; хлоп да хлоп: прибегают и вновь отбегают, таща «п и р о г и» желтоватые к той или этой прессовне; их — пять: в каждой — ряд отделений, куда «п и р о г» всовывают, чтобы пресс давил; из ряда кранов — струение желтое; пресс регулирует аккумуляторы (над потолком); мы туда подымаемся: сооружения — страшные: грузы тысячепудовые, как кулаки, на подставках трясутся, чтоб пресс давил правильно.

Мы переходим туда, где уже очищается масло: платформы; к ним — лестницы; всходим, — и смотрим в глубь чанов. Нам — черпают масло:

— Попробуйте.

— Нет вкуса пробовать! брр!

— Очищается содой и воздухом.

Масло идет для еды, а остаток, «с а а б с т о к», идет в мыло, поблизости — лабораторийка, где производят анализ продукта (контроль), где прибор титровальный, весы под стеклом; вспоминаю, как я четверть века назад, под такими ж весами часами просиживал.

Новая комната: мелется жмых; шелуха — сожигается:

— Нас отопляет! зачем пропадать ей?

— А сколько на масло зерна идет в год?

— Миллион пудов.

— Много!

— Идем в мыловаренное отделенье!

Ряд камер: котлы кипят; рядом формуется мыльная масса в двухметровых формах; потом она сушится (в комнате смежной); потом — разрезается тут же, большой штамповальной машиною (нашей работы) кладется клеймо.

— Глицериновое отделенье при этом откроем!

Второй контроль: барышня в фартуке белом — студентка-химичка.

— Вот!

— Все?

— Теперь — поняли?

— Как не понять!

Об'яснить в кратком очерке переплетенье машин невозможно; здесь часть об'ясняема лишь в целом, как нота — в мелодии. Целое же — инди-

видуум; части машин — те же; а сочетанье — текучее, неповторимое: тема дана лишь в варьяции, в строе машин — этом вот, выявляющем неповторимо особенность этого только завода, зависящую от энергии, места, страны и количества в нем производств, и особенность этой — живой человеческой мысли конструктора! строй, нами виденный, не предусмотрен учебником, планом, а тем, что завод — три завода; и будь их четыре, иль два, — все иное в нем было бы; силы природы — одни; те же ткани у тел, те же кости; но кости фламинго — не кости слона, хотя вытканы тою же плазмой.

Завод — этот, хлопковый; тот — тоже хлопковый; но этот — еще маслобойный; и все в нем — не то уж.

Машины, в отдельности взятые, — нуль; механизм их есть нуль; в организме, в градации каждая смысл получает особый, которого в правиле вы не учтете; в оттенке, в чуть-чуть, — смысл завода, иль nonsens его, будь он выстроен «правильно»; автоматично построить завода нельзя; механически складывать части машинные — то же, что вирши слагать, или вальсик набренькать; завод же — симфония: есть композитор, сложивший ее; дана тема — намерение: сочетать органически данность условий в конструкцию круга машин; контра-пункт вырастает из этого; о нем не скажешь, что правилен, или неправилен он; он — талантлив, бездарен, а вовсе не «правилен».

Вышел с завода, глубоко утешенный, — чем? Что завод существует? Ни капли. Тем именно я вдохновлен, что процесс проведенья «процессов» по ряду машин подчиняет удары машин — ритму: не метроному; и вот! «трех-заводье» — органом пропело; проход по градации камер — чудесное чтение нот: нет, не производитель и не потребитель во мне ликовал, а — свободный художник, увидевший стиль «этот вот», а не мертвенную кинематику азбучной «физики».

Вышли: гигантище-бак.

— Сколько может вместить он пудов?

— Пятьдесят тысяч.

Старый рабочий ведет показать нам квартиру свою; двухэтажное чистое здание (каменное), с видом виллы; опрятные сени и чистая кухня; она же — столовая; светлая комната; вот тип квартирки; их — несколько в доме.

Карбидный завод, — серокаменный, новоотстроенный; мы — на дворе, куда многие выходы из помещений машинных открыты; ведут нас туда; инженер об'ясняет конструкцию.

Из-за границы недавно выписывали мы карбид; это — первый карбидный завод, обеспечивающий в скором времени вывоз не только карбида, но и производных его; карбид — соединение кальция и углерода (CaC_2); твердейшая шероховатая масса с чесночным удушливым запахом на электроды идет, обеспечивая освещение; вот материалы карбидного производства: «CaO», иль известь, и уголь («C»); процесс очень прост: $CaO + 3C = CaC_2 + CO$, или — сплавление извести с углем (с большим выделением

угарного газа, «СО») образует карбид; известь — местная (вот ее груды), а кокс — из Донбасса.

Идем в помещенье, в котором показывают электроды, имеющие вид сигар черносерых, саженных; и их поперечник — тарелка столовая; пек, кокс, смола входит в массы.

Идем в помещение для электрической печи (1 600 в 900 вольт); печь дико зияет раскалом слепительно белым, как солнечный свет; в ней сжигается известь и уголь, сплавляяся в массы, которые — с температурою до трех тысяч градусов; кажется, что и на десять шагов подойти невозможно, взглянуть невозможно: зрачки припекутся; и — вырвутся молниеносно из глаз; не подходим, не смотрим; меж тем: у отверстия самого возится рослый рабочий с растерзанной грудью, с лицом, за которое — страшно: не будет лица, а — волдырь; он — склоняется к недру: и там в ослепительном свете и жаре он делает что-то, спустив над глазами — щит: синий, стеклянный; снимает его, — подает:

— Посмотрите в очки.

Сквозь стекло массы чуть розовеют:

— Нет, нет!

— Что ж?

— Довольно.

Ужасно работать: во всяких условиях пекло останется тем же; и свет, раз'едающий глаз, и чесночная вонь, и отрава угарного газа, — титана повалят, — не этого крепкого (все ж — не титана!) мужчину; тут нужен действительный, непоказной героизм, чтобы вынести ужас работы; Верден штурмовать много легче; штурм — все же момент разрешимый; а эти условья труда ежедневного — что? Коль сложенье машин — композиция, то исполненье по нотам ее есть огромная жертва, возможная лишь в изживаньи себя — в организме, где «я» — не «я»: «мы».

Исполнители — те же творцы; и — «ура исполнителю»!

А «и с п о л н и т е л ь», которому передаю я наглазник, глядит добродушно; да, творчество — просто здесь б ы т ь, в ы н о с и т ь; здесь нужна дисциплина ярчайшей моральной фантазии.

— Чрез полчаса массу пустят, она потечет в металлические вагонетки.

Идем в отделенье, где стынет она; рядом уже застывшая масса дробится машиной; и после в железных кадушках запаивается; вот — склады.

— В год мы тысячу тонн добываем карбида; но скоро уже производство повысится тонн на пятьсот.

Мы уносим кусочек карбида; мой друг, уложивший в карман его, скоро пропах неприятно чесночным и кисло удушливым запахом: так что пришлось его выбросить.

Едем в ф а б з а в у ч, где нас ожидает обзор мастерских; Минасьян, выдвиженец-рабочий, заведующий всею практикою мастерских (а теорией — Чахмахсазьян, инженер, руководит), крепчайший мужчина, лет под пятьдесят, быстрый, властно поглядывает, вырезая словами не план обученья, а — будущее предприятий; в ярчайшей картине растут кадры спецов-рабо-

чих, подростков теперь; вот они — в синих фартуках носятся по помещеньям; через три года — дадут себя знать.

Перед нами проходит градация вырезов, простеньких, сложных, но четких и чистых, — из дерева, стали, железа; то — части, сложенье которых какую угодно машину построит; мне кажется: все эти части (плюс головоломки из них в виде строя машин, паутинных, а то «б р о н т о з а в р о в» железных), — уж слажены твердо, как слажены спецы, их ладившие, очень крепкой рукою; рука держит меч, протыкающий гидру; меч этот — ф а б з а в у ч.

— Мы только открылись; у нас — первый курс; второкурсники — с осени; мест — 330; а через пять лет триста тридцать рабочих, практически вооруженных и теоретически мыслящих!

То произносится крепко уверенною демонстрацией ряда работ мастерских; как будто вырезывается из массы металла стальная конструкция края.

Проводимся по мастерским разных цехов: токарный, слесарный, литейный (чугунное дело и медное); рядом — кузнечный цех; мельк многозначных машин; и станки: для вырезыванья, для точенья; везде экспонаты работ: — от квадратов, углов, вырезных, выбивных, или выточенных элементов, до... сложных; но чувствуешь: по всем частям, всем рукам вырезавшим, по даже... машинам пришлась мускулисто энергия т. Минасьяна:

«О н» — всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины...
Кто все собою наполняет,
Об'емлет, зиждет, охраняет...

Идем в отделенье столярное и в отделенье модельное.

— Видите, — вот: части мебели; стулья; ряд рам... При ф а б з а в у ч е будут: столовая, клуб и музей.

Ряд станков:

— Они — выписаны из Воронежа: нашей работы.

— Ну?

— Чисто работают.

— Как заграничные?

— Чище.

Усталые, еле держась на ногах, мы выходим, сердечно прощаясь с г. Минасьяном; Сарьян поднимается с бревнышка, где он нас ждал; улыбаясь, жалуется:

— Я — устал; голова — переполнена всем этим.

«В с е э т о» — радует; «в с е э т о» — плод коллективной работы: рабочих, правительства и, наконец, населения; «в с е м э т и м» может гордиться Армения, точно взметенная в вихри строительств из пепельной смерти, как феникс.

• •

Дни, туго одетые в пестрый поток впечатлений: я в них растерялся: что, где и когда? Помню день; в нем — беседу душистую с М. Шагинян в

густотенном армянском саду; помню чай у Тамановых с М. С. Сарьяном, Я. С. Хачадряном; и встречу с армянским писателем Чаренцом, чей интересный роман [1]) (в переводе на русский) читаю я.

Литература Советской Армении — в трех группировках себя изживает: 1) «Союз пролетарских писателей», иль филиация «ВАПП'а» (сюда — Мрктич Армен, Маари Алазан, Наири Зариан, Эгише Чаренц); 2) группа «попутчиков» (тут — Зориан, Аведик Демерчьян и т. д.); 3) «Союз армянских писателей».

По приглашению Атанасьяна пошли мы на вечер «Союза»; он был посвящен Спендиарову.

Краткость эскиза мне не позволяет подробнее зарисовать впечатлений, которыми был переполнен; скажу лишь: я счастлив увидеть народ, стародавний, как мир, но исполненный сил, обитающий в невероятной природе, богатой сокровищами; старый мир погребал его заживо; но он встает над развалиной старого мира.

•

Торопимся: спешный визит в «Наркомпрос»: принести благодарность за гостеприимство, содействие целям моим, за машину.

Мы — едем с Сарьяном; маршрут: Эривань — Дилижан — Караклис; нас везет Вагаршак Сарафьян, хорошо нам знакомый.

Погода — двусмыслица: стал Арарат невидимкой, но виден еще Алагёз; коли скроется — вместо Севана, одетого в горный венец, будет — тусклядь.

Севан — Дилижан — Караклис.

Пять утра.

Я — к окну: Алагёз срезан мглою; поездка расстроена: гадко.

Звонок от Сарьяна.

— Я слушаю.

— Ехать ли? Горы — в тумане; там, может, и в снег попадем.

— Отложить — тот же риск: и потом — ожиданье.

— Так едемте?

— Едем.

— Все теплое, что у вас есть, наготове имейте: беру с собой шубу.

Похож на капустный кочан, облеченный в фуфайки, в барашковой шапке и с ватой в ушах; мы — на славу уверчены: жарко; кусок Алагёза проткнулся надеждою.

Чу! тарахтенье: машина; в ней М. С. Сарьян, едва видный из пледов своих.

Уминаемся кое-как.

• •

Тронулась улица; домики прыгали в лоб; и — снимались сады, обстающие всходы наклонов, так вся Эривань, точно табор, тащилася вниз, изме-

---

[1]) «Страна Наири».

няя предместья свои, под селением, сдвинуто шедшим под ноги; а горизонтальные местности, угол собою построивши и горизонт уронивши, его круто вздернули: перед лицом; складки почв, взятых в воздухи, точно взвивали.

Средь ровного моря мне тесно становится; а на под'еме все то, что себя выдает горизонтом, становится точно развернутой, падающей перспективами тканью; ты видишь — ряды горизонтов; земле нет предела.

Машина рисует орнамент сечений конических по позвоночникам почв: и уныривает в тень каньона, и снова выюркивает из-за ребер их, и забирает все выше; там Гегаркуник стоял, в тучах укрыв серебро; он теперь — сел на корточки: за холмогоры; мы — выше, он — ниже; не ясен возлет; но упад Эривани отчетлив; равнина отброшена за километры нагорьями, скачущими галлопадой: и ниже, и ниже; реднеют туманы, сквозящие глубью; штурмуем холмы, как редуты; предел за пределом роняет рельефы белясые, полные бледнолиловых теней, угущаемых ниже еще в чернь ущелий; над ними несемся; их ниже на много сот футов, — в каньонах, не видных, под облаком, может быть, — там отошла Эривань.

Где степная Армения?

Или она — самобранная скатерть, нас взвившая к дымокипениям? Серокофейный верблюдик, игрушка ребенка, скатился с нее в упадающие горизонты, топящие тучей хребет Агридага; меж тучами небом очищенным мчит нас волнистый зигзаг перспективы; сидят великаны, хмурьем очерняя подножные ребра, где скрыт Алагёз.

— Жаль: отсюда его можно видеть во всей его силе, — негромкая жалоба пледов (верней, Мартироса Сергеевича, мне из-за них отвечающего).

Отлетело село Канакѐр; Абовян в нем родился, армянский писатель, заставший персидскую власть еще, странно пропавший потом; утопающий в синем прихмуре базальт, прорастающий мохом, отрезал разлет километров; пятно снеговое гигантским лицом из разрыва вдруг вылепилось.

— То — горная область Коктайк.

И — развилок дорог:

— На А р з н й, курорт местный: Арзн й — пили вы?

Телеграфные линии, две, то сойдутся столбами, то снова расставятся.

— Эта, другая, — английская: через Армению — в Индию.

— Далековато.

С у х о й ф о н т а н, первый из тех молоканских поселков, которые Гокчу обсели; и крыши углом, и оконца резные (по-русски); сидят на заваленках бородачи в картузах; снова — скосы утеса, стеклом вулканическим полные.

Высимся в сумерок шаткий; туманы — колоссы, меняющие очертанья, — космато сидят в одном уровне с нами; показывают пятна снега; и — снова их прячут; а ниже, вырезываясь краснорозовым мрамором ребер и нежносиреневым тоном, ущелья крутого восхода подняли темноты теней; выше — срез дымовой.

Алагёз — не просунется ли?

Не просунулся.

И — в седловину летим: на селенье Кахсй, где и сыро, и слякотно; видно: мочило и будет мочить; снова темнозеленый гигант из-за дыма как белым галопом своих снеголеплин пустил в нас; приток реки Занги, невидный нам, где-то кипел своим мраморным ложем; назад обернулся: ни ребер, ни туч; но летит серочерная сырость завесой с земли до небес; и на ней высту-пают неясные черные и черносиние пятна; и два ряда линий рисуют рельеф: там ущелье простроилось мрачно-туманною челюстью: брр, а — красиво!

— Ущелье Мисханское.

Ехали в сумерок; нас догоняла полуночь; стоп: гвоздь распорол колесо; Вагаршак заработал под кузовом; стало прикрапывать; хлынули тучи из центра ущелья; зубец, как испуганный заяц, на свет дневной выпрыгнул; и, увидавши, что тускло, опять упрыгнул в свой туман.

Куча пледов заметила:

— Воды Севана.

Рука из-за них указала на зеленоватое пятнышко, еле бледнящее муть; ряби крыш: то — Еленовка.

Я ожидал, что к Еленовке — спуск; мы ж стоим на прямой, почти ровной дороге; забыл, что громадное озеро Гокча («С е в а н» по-армянски), длиной до 75 километров, есть чаша, которой подножье — хребет, а края — иль венец из хребтов, поднимаются на высоту десяти, иль одиннадцати тысяч футов, почти достигая высот Алагёза.

Стояли под дождиком, сиро зонты распустив; я роптал:

— Не везет мне; я — в горы, а горы — в туман.

Но Сарьян успокаивал:

— За перевалом Семеновским, может быть, — солнце.

Машина исправлена: кисло поехали; дождь барабанил; кругом, к во-допою спустилося стадо туманов; Севан омутнел; и все скрылось.

Проходим к духану; вполне увлекаемся сладкой форелью; Сарьян исче-зает и после является с крепким, весьма загорелым мужчиною, сопрово-ждаемым благообразным седым стариком:

— Капитан Каспарьян, Эдуард Иваныч, заведующий севанской фло-тилией, плававший по океанам и всяким морям, теперь плавающий по морю Севанскому.

— Что ж, — наше море другим не уступит: пребурное... — и капитан Каспарьян выражает рукою, какие тут бури бывают; седой старичок сел с ним рядом; Сарьян шепчет:

— Это отец председателя ВЦИК'а Армении, очень типичный армян-ский крестьянин.

Беседуем.

— Я приготовлю моторную лодку и сам повезу вас на остров; но лодку испробуют: волны сегодня. Пока осмотрите вы станции наши: ихтиологи-ческую, метеорологическую.

— Куда ехать: ведь хлещет.

— Ну, вот, — пустяки: будет солнце.

— Как?

— Удостоверитесь; я же — пока...

Капитан Каспарьян исчезает.

Туман не разрежен; дождь — хлюпает; немы отвесные синесвинцовые скалы: на той стороне.

— Сколько верст в ширину?

— Да верст девять, а — ниже, на юге — и тридцать, и сорок.

У берега серые домики русского типа, в Еленовке, как и в селеньях окрестных, живут молокане; есть школа; и даже: читальня; я вспомнил, что здесь обнаружили клинообразные надписи и ряд остатков старинного водопровода: времен урартийских; по берегу здесь города урартийцев лежали; теперь же раскинуты станцийки: группа ученых работников гидрологические изысканья ведет; сеть разбросана гидрометрических пунктиков, где собираются сведения годового количества влаг; длинный ряд водомерных постов на речушках, впадающих в озеро (их двадцать восемь); в горах — дождемеры; а в лабораторийке деятельно производят анализы: почв и воды; туда входим: ряды холодильников и просушителей; барышня очень толково дает об'яснения и в заключенье дарит «Б ю л л е т е н ь» метеорологических данных (печатные выпуски).

Все же главенствующее значенье Севана есть экспорт форелей, которые величиною и нежностью мяса побили рекорд мировой; разведенье форелей и лимнологические изысканья — задания станции, руководимой М. А. Фортунатовым; его супруга нас встретила и показала музей (экземпляры форелей), работы, приборы различные, сопровождая показ интересною лекцией:

— Организуются транспорты наших форелей в Париж, где они вызывают восторг; сами видите — весом не менее пуда.

И видим мы: в банке — чудовище-рыба, с аршин.

Воды озера полны комплексами видов форельных; представлены — карповые, усачи; в икрометный сезон рыба тянется к речкам севанским, иль плавает у берегов; ее ловят безжалостно; вместо запрета и кар разведенье убыток с лихвой восполняет; при лабораторном оплодотворенье девяносто процентов икринок становятся рыбой; в обычных условиях — лишь пять процентов.

В Севан пущен сиг (сигов не было); рост его — быстр, так что сиговое производство — откроется.

— Сколько форелей вы ловите в год: с миллион?

— Двадцать.

— Вот как!

— Завод — второй в мире.

— А первый?

— Завод Мичиганский.

Прослушавши ряд об'яснений и поблагодаривши ученых, работающих над прекраснейшим будущим озера, спешно уходим (моторная лодка нас ждет); да, и здесь закипела работа; недавно еще, развернувши кавказскую карту, ткнув пальцем в Севан, я подумал: «Вот глушь интересная; но, —

как доехать?» И что же: дорога — ковер, по которому быстро несешься — не в глушь: в храм науки; тебя окружают утонченные пионеры культуры и ты получаешь в подарок «Труды» (ряд научных статей с приложением их резюме: по-немецки, армянски) [1]).

У берега пляшет моторная лодка на бледнозеленой волне: у руля капитан Каспарьян; он нам машет рукою:

— Вот видите?

— Что?

— Проясняется.

Муть, разодравшись, несется в клоках; островок, издалека приподнятый, ярок на мути:

— Туда!

Тарарахая, вздрагивая и качаясь, несемся; за бухтою белогребенные волны оплевывают; растащился туман над молочнозелеными ширями; луч — все запрыгало солнечно; солнечен и набегающий остров, на ребрах своих выгибающийся, как на лапах, — смеющийся, весь золотой: золотокаменные, или ржаво железные лобины, виснущие строем скосов, в которые бьется алмазно сквозная вода лазулитом своим; эти тяжкие лобины, высыпавшие пески золотые, трухляво изрытые ржавобелясою морщью, — рукой Бенвенуто Челлини построены; остров, исхожий в пятнадцать минут, предстает золотою подставкою к церковке староармянского стиля, как и Рипсимэ, с ржаво жареным камнем стены и со шпицем, стоящим в лазоревом небе; вырезывала — все: рука итальянского мастера.

Вскрикиваем, выбираясь на берег под каменным золотом лбов:

— Здесь бы жить!

— Что ж, живите, — смеется на нас Каспарьян, — комнат больше, чем нужно.

Показывает на сложение одноэтажных строений из дикого камня; но окна — без стекол.

— Остаток монашеского общежития; комнат пятнадцать пустует, огромных; растащены рамы, сгнивают полы; жить — спешите, а то через годика два все развалится; был бы ремонт, и гостиница, школа, «Дом отдыха» — все, что угодно; а вы — посмотрите — и он безнадежно отмахивается от здания.

— Все зря сгниет!

— Кабы знали в Москве, то — толпою валили бы.

— В месяц ремонты окупятся!

— Варварство это: в Москве — в коридорах живут; Шагинян в Эривани томится без комнат, а здесь — двадцать комнат готовых, гниет.

— Напишите об этом, — мне шепчет Сарьян, — ведь не только жилье: погибает прекраснейший памятник древности, фрески, — и он головою кивает на церковь, венчающую верх холма, куда круто возносит тропа средь цветов, канареечных и голубых, густо плещущих в ржаво-оранжевой пори-

---

[1]) «Труды Севанской озерной станции», т. I, вып. 1. Под редакцией М. А. Фортунатова. Эривань 1927 г.

стой почве, где в трещинах, как в коридорах подземных, живут грызуны; ноги лижет волна незабудок.

Церковенка; входим: алтарь — расписной; фрески — чем не Джиотто? Свод — выгнутый; на капителях колонн деревянных — резьба: но все — гибнет!

— Одиннадцатого столетия церковь.

И крик вырывается:

— Надо спасти ее!

М. С. Сарьян развел руки.

Развалины рядом трухлеют: остатки древнейшего храма; видишь, глубоко внизу ряби волн; островок этот — рыбина, спину свою изогнувшая, чтобы, подбросивши, вниз унырнуть.

— Приезжайте сюда, — говорит Каспарьян, — я и сам здесь устроюсь в июле; мы комнаты приноровим, тюфяки набьем сеном, с провизией тоже уладится, не беспокойтесь; купанье — отличное.

— Кто здесь живет?

— Две старушки, монах: архиерей.

Пробегаю по гребню и свешиваюсь над резьбою оранжевых ребер, искрящихся золотом в пенный разрыв хризолитовых вод.

Обежав крутой остров, отчаливаем, огибаем, качаяся, лапы обрывов, поддерживающих померанцево-желтые лобины, нежно одетые в карeоранжевый тон альмантина и, выпрямив линию — к берегу! мимо Еленовки; издали остров, над рябями выгнутый, как золотой бронтозавр, каменеет.

Высокò разрезая отвес по белеющей линии (точно мелком по доске), ползет черная мушка: на встречу; ударились о берег: и — лодка уходит в открытые воды; и маленький крошечной ручкою машет с нее капитан Каспарьян; и сливается с лодкой; по боку крутому карабкаемся, обтирая испарину и отдыхая не раз; выбираемся точно на берег к машине, в которую выросла мушка над пропастью: воды Севана — низехонько.

Сели; и — ринулись пересекать груди скал; над обрывом крутейшие вскаты к невидным зубцам; по ним — вихрь черных пашен умчался, как в небо; распластаны бархаты в зелень невспаханных трав, как гигантские скатерти, взятые загроможденьем вскочивших друг другу на плечи гигантов, отнявших полнеба в намереньи ринуться в воздухи, из-под которых мутнеет вода, мельк оврагов, набитых твердеющим и буросерым, исчерченным снегом; Севан туда клином врезается.

Вот и село Ч у б у х л ы.

Бирюзовые скалы; такого же цвета дома и заборы; меж пашнями странная снегопись, точно — армянские буквы; трель жаворонка из раздымков кудрявых, которые бегают юрко в обстании снежных орнаментов; травы — редеют; ни — деревца; а в горизонте пятно голубое севанской воды; на нем — крапинка: остров.

Уходим в роенье теней и кисей; земли — призраки; еле оливковым хмуром из дыма огромное что-то — без верха и низа; в верхах — дымовеет; во впадинах темью пустотно мрачит; только средние линии всходов и низ-

менностей; продолжение следует за седоватым винтящим парочком: лишь воздуховейные змеи, едва духовея, потом наливаясь тяжелою тьмой, то взлетают, то падают, точно в театре, где любят показывать метаморфозы, и где перспективой играют, как в мячики; верх вдавлен низом; низ вывернуто повисает над нами овцой; из подножий — серебряным снегом верха унижаются; только оттуда, куда мы несемся, меж двух невысоких вершинок — чудовище черное клубы надуло, — на нас:

— О, о, о!

Подскок почвы все срезал и тотчас из сыри и хмури пошли: скотный двор; дом за домом, телега, телята, мужик бородатый, веселая девушка в ярком платочке, мальчишки, и утки, и куры; свинья лопоухая, грязи копытцем месящая, в профиль — как муха, с лица же, как чахлая пальма (сравненья рискованные, но проверенные личным опытом); словом — село.

— Вот — Семеновка!

— А Перевал?

— За селом.

Уже вылетели; и — несемся прощелом, откуда выпучивались клубы дыма, где — нет ничего, кроме воздуха тенного; меркнем в нахмуре сквозном, где — вершинка направо, вершинка — налево; но линия лета сломалася вниз:

— Это — точка Семеновского перевала.

И — тут же под ноги — провал: мировой, синеватый, в котором намечено еле волненье рельефов, взлетевших со страшного дна; ниже нас, перерезав то все сверху вниз, — до низин, куда взгляд не достанет, висящая в воздухе, рваная, живокипящая облачность: тщетно пытаюсь увидеть конец ее низа: нигде, ничего: в густо синем растворе, пенящемся облаком, плавают слабые пятна вершин, над которыми падаем в нечеловеческом чувстве орла; свёрт: торчит невысоко, под носом в лазурь оголенный зубец; и парочек румяный играет под серою грудью; свёрт: облачность как-то растасканная теперь быстро несется на уровне нашем; куски синевы мирового провала — светлей; из них горы приподняты с явственным лесом, встающим в покатости пастбищ нагих, где лишь тра̀вы, да наша машина; свёрт: тот же зубец, став гигантом, надменствует свыше, отметя падение наше; кудрявый парок отделенно несется очерченным облачком; свёрт: облака, над которыми были, теперь — облака, «под которыми»...; дерево первое; за ним — второе: деревья; янтарные кущи над мощным оврагом, сверкучим от вод; с Эривани — ни деревца; тут же — потоп их; где голые скаты альпийского пастбища? Головы выше: нет их; еще выше: там, там янтареют прощальными пятнами; лес покрывает нас.

Так на четырнадцати поворотах оборван надоблачный лёт; и низверженным чортом машина винтит в тень ущелья, куда упадают овраги, заросшие густо орехами; выше их — сосны; выныривает черепицею крыша; их — больше: теснятся; ковровые склоны явили простор, на котором — дома Дилижана, здоровой, большой, климатической станции, тенью своей от жары защищающей летом армян; на возах везут пчелок к цветам медоносным;

чахоточных — к смолам; целебные воды тут прядают; водолечебница действует.

Перед духаном, в который тюрьму [1]) превратили, мы вылезли; переминаяся, сняли теплоты; закусывали; опять сели: лететь.

Перегон Дилижан — Караклис (километров лишь сорок, а до Дилижана сто пять) я не стану описывать: память моя — ослабела, глаза же — устали; я помню лишь ряд молоканских поселочков, лагерь военный, обозы, и стадо телят, затолпивших дорогу; машина, обиженно плача, ползла за телячьим хвостом, барабанившим по фонарю, пока старый крестьянин пути не очистил; мне помнится грязь, следы ливня, которым пути затопило; потом я узнал, что в дорогу, которой мы ехали, били дождищи; мы ловко проюркивали между тучищами больше ста сорока километров; и вышли сухими из вод, проскочив в Караклис.

Небо чистое тмилось пленительно; в нем отлитая громада, одетая нежно серебряным снегом, как неким письмом, озаряяся, женственно нежилась, серые черчи являла сперва — бледнорозово; бледнопунцово — потом; слева темнозеленый дракон, огнимая полнеба, менял многолапия, из-за которых часа полтора все усиливалась приподняться, и не поднималась тяжелая морда; осиливали его бок; только у Караклиса отстал он.

Все смутно вставало в глазах, перепуганных мёльком.

И вот — Караклис, «Дом крестьянина», весь переполненный людом, откуда мы пальцы протягивали и туда, и сюда:

— Вот гостиница строится; летом — откроется.

— Бани: готовы почти.

С этим «строится», «выстроим», «уже отстроено», мы покидаем Армению, нежно простившись с Сарьяном и с т. Сарафьяном; коль первый твердейшим резцом в мою душу Армению врезал, второй нас провез по армянским дорогам с утонченной ловкостью, мне показав, что шофер может быть, как и Петри, артистом.

. .

Глубокая ночь; засыпаю, качаясь под жесткой вагонной стеной; стук колес отдается повторами дней, поднимающих тему Советской Армении:

— Строимся!

— Выстроили!

— Будем строить!

---

[1]) Тюрьма была при царском режиме.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Литературные заметки.

Д. Тальников.

«Наши за границей». — Маршрут Гл. Успенского: Париж — русская деревня. — Мальчики «в штанах» и без оных. — Русские «гулящие» люди за границей. — О современниках — путешествующих и «празднозболтающих». — «Дежурное блюдо» Вл. Маяковского. — Поэтическое «хозяйство» В. Инбер. — «Милый Париж». — Аэропланный маршрут Е. Зозули. — Testimonium paupertatis.

I.

Лето требует отдыха и путешествий. Обуреваемые этими летними обычаями, мы решаемся на сей раз предложить читателю тоже довольно занятное и «образовательное» путешествие по всяким «заграницам». Благо, виз, паспортов и хлопотни всякой тут не потребуется, и можно будет с известными удобствами «проследовать» по соответствующим страницам отечественной литературы, оставив на полях только кое-какие заметки — свидетельство нашего пребывания «в стране чудес». А ведь Европа всегда мнилась нам такою страною...

Через «окно в Европу», пробитое в затхлой московской Руси великим просветителем и зачинателем «петербургского периода», издавна русская интеллигенция — и боярская, и дворянская, а позже разночинная и революционная — привыкла вдыхать в себя воздух свежий знаний, идей, культуры. Лозунг «ex oriente lux» был оставлен отечественным мракобесам и мистикам. Свет шел с «Запада», обетованной страны культуры и цивилизации. Европа становилась для русской интеллигенции второй — духовной — родиной, горнилом идей, кипящей мысли; оттуда шли к нам через российских путешественников, через побывавших в Европе даже по служебным делам (русские офицеры в заграничных походах Наполеоновской эпохи), через всех этих Чацких и Чаадаевых новые социальные веяния, запрещенные к домашнему употреблению, открывались новые политические и культурные горизонты.

Что значит: видеть свет!..

И задавался естественный вопрос: «Где ж лучше?»...

Щедрин позже об'яснял массовое устремление благополучных россиян в «чужие места», т. е. за границу, тем, что «ужасно приятно прожить

хоть несколько времени, не боясь», без всякого страха иудейского. Но не одна жажда уйти на время от недреманного ока попечительного начальства гнала людей за границу: была в этом и социальная потребность живой души, любознательность, искание новых путей... Пусть часто там, где пытливый ум искал «свободы», он находил жестокое разочарование, но то было разочарование не от какой-либо «седой» бутылки Понте-Кане или девицы Альфонсинки, а от идей, — и это идейное разочарование тоже оплодотворяло российскую жизнь. Великий русский писатель, в свое время искусственно изолированный от русского читателя и оставшийся вне поля широкого читательского внимания и привычки, вне школьной учебы, — которого так обидно мало читают и знают и сейчас, — великий политический писатель и художник Герцен, — «с того берега» слал в родную сумрачную страну свою боль обид, бурный пламень надежд, борьбы и возбуждающую радость новых социальных идей, встреч с новыми людьми...

Путешествие в Европу, пребывание в ней становилось новым и значительным социальным фактором русской жизни.

Глеб Успенский переживал душевную казнь, попав в Европу на другой день после Коммуны, Европу торжествующего мещанства, версальских военных судов; но там он нашел и вторую родину свою в великой культуре европейской—«выпрямление» своему душевному излому от российских будней. «За границей-то я и пришел в себя и стал писать по возможности сознательно», — писал он Гольцеву. Он не старался сейчас же осчастливить читателя своими путевыми впечатлениями, как делают это наши путешественники, — его небольшой очерк «Выпрямила», ставший одним из незабываемых произведений русской литературы, в котором как бы подведен итог заграничным впечатлениям писателя, написан им больше чем через 10 лет после самого путешествия. «Я мало писал об этом (путешествии),— вспоминал позже Успенский, — но многому научился, много записал в мою душевную родословную книгу навсегда». Вот нашим у кого бы поучиться...

Успенский тоже описывает мимоходом рестораны, лондонский обед — но это не Париж «тру-ля-ля», каким привык его представлять себе «русский досужий человек»; это нечто, в чем отражается резко порядок жизни, та «правда» «теперешнего человеческого общества», — как писал он о современных ему капиталистических отношениях, — которую «всю жизнь не забудешь». Но он увидел и другое: общественник, народник, он вдруг остановился, замер перед «каменной загадкой», перед «животворящей тайной каменного существа», перед «эстетикой», казалось, такой чуждой этому писателю мужиков, — «хрустнул» всем своим существом перед Венерой Милосской, в которой увидел осуществленной далекую мечту о цельной, «гармонической», «выпрямленной» личности. Успенский «осовременил» музейный мрамор, который наш футуризм призывает сбросить с корабля современности, уничтожить. «Злодейство неслыханное... Разбить это! да ведь это все равно, что лишить мир солнца; тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни не ощущать этого!»

Успенский для русского читателя сделал подлинное открытие, — и этим его открытием долго жила русская передовая общественность, — открытие «Венеры», искусства, открытие подлинной культурной «Европы». Милосское чудо стало вдруг близким и родным всем этим российским Тяпушкиным, — «человеческим существам, похожим на скомканную перчатку» — пропадающим в медвежьих углах; и медвежьи углы втягивались в общую культурную жизнь Европы, находили какую-то общую почву с Гейне, Гете, с великими европейцами...

Путешествие Гл. Успенского в Европу сыграло крупную роль в оформлении миросозерцания русского интеллигента 70-х и 80-х годов. «Подлинная правда жизни привела меня к источнику, т. е. к мужику», — писал он. Из путешествия в Париж Успенский вернулся в русскую деревню и навсегда остался там...

II.

Критическая мысль, широкий общественный подход, зрелость взгляда, миросозерцания — помимо блестящих талантов — вот что отличает встречи наших классических писателей с Европой. Я не могу здесь не остановиться — это имеет тесную связь с дальнейшим — еще на одном примере из нашего литературного прошлого.

Мы уже знаем, как Щедрин-Салтыков об'яснял устремление в Европу «среднего культурного русского человека», которого «прямо или косвенно уже коснулся луч мысли, который до известной степени свыкся с идеей о труде и который три четверти года живет под напоминанием о местах не столь отдаленных»: «понятно, что они рады радехоньки хоть два-три месяца прожить вне этого напоминания». В русскую же деревню культурному человеку уйти считалось «чем-то необыкновенным», «за что надо вывертывать руки к лопаткам и вести к становому». И вот уезжали в Париж. Правда, автор не закрывает глаз на то, что Париж уже перестал быть «светочем мира и сделался сокровищницей женских обнаженностей и с'естных приманок», но, очутившись на парижской улице, Щедрин все же «чудодейственно воспрянул», ибо для него, как и для «всех нас», с представлением о Франции и Париже «неразрывно связывается воспоминание» о юности... «нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание»...

И вот почему путешествие писателя в Европу — не легкое partie de plaisir наших современников, с которым мы познакомимся дальше, — а серьезное дело, образовательное и общественное; это все поиски мучительные и разрешение проклятых «общих» вопросов, это — школа, где нужно учиться — «многому научиться» и «многое записать» в свою «душевную родословную книгу», как это делал, мы знаем, Успенский.

Русский «мальчик без штанов», который появляется из «обыкновенной русской лужи», поражается «чистоте» европейской: «плюнуть некуда!» — неприкосновенности общественных достояний: «Яблоки и вишенье по дорогам растут и прохожие не рвут их... Ну, у нас, брат, не так: не

только яблоки бы с'ели, а и ветки-то бы все обломали. У нас, намеднись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил»... А вместо хлеба «сегодня лебеда, завтра — лебеда, а послезавтра — саранча»... Европейский «мальчик в штанах» предлагает русскому остаться у них, попробовать всех благ бытовой культуры: «Вы как у себя спите? что кушаете? Право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили!» (Речь идет о 80-х годах, в которые писались очерки, о достопамятной реакции этих лет, задушившей все «новые слова».) Немец соблазняет своего сверстника «старинной культурой», «солидной наукой», «свободными учреждениями»: «а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковинку... Берегитесь, русский мальчик! Это с вашей стороны высокоумие, которое, положительно, ничем не оправдывается... Вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают — и что же оказывается? — что вы беднее нежели когда-нибудь»...

Русский мальчик резонно доказывает в ответ на это, что «немец» оказался «самым бессердечным притеснителем русского рабочего человека», вдохновителем произвола, «самым неумолимым и всегда готовым орудием» этого произвола. Европа поворачивается обратной стороной своей культуры, своей классовой природой. Итоги спора подводит сам автор: конечно, «мальчик в штанах» прав во многом — у них «чище и вольготнее» и есть культурные традиции быта, но он неправ, утверждая, что «все эти блага цивилизации настолько ценны, чтобы за них можно было «по контракту» закрепить душу», т. е. поступиться своими социальными идеалами

В этом классическом споре о культуре двух мальчиков, споре, тянущемся и в наше время, великий писатель чутко уловил противоречия двух классовых миров, сатирически заострил их; эти невинные очерки зарубежного пребывания писателя дышат социальной значимостью, будят мысль, рождают споры и, конечно, так остро вскрывают основы европейской культуры, как может это сделать только художественное произведение.

Великий спор «штанов» и «санкюлотов» (бесштанников) и сейчас стоит в центре нашего современного познания Европы, современного «открытия» ее, но как далеко наши художники-писатели продвинули это познание своими путешествиями на Запад? — вот вопрос, который напрашивается, когда мы переходим от наших классиков, — всех этих русских людей, знавших, чего они хотят в Европе и зачем ездят туда, — действительно «открывавших» Европу для русского читателя, — когда переходим, говорю я, к современным писателям, современным «мальчикам без штанов»...

III.

Впрочем, чтобы быть справедливым, надо сказать, что были и иные путешественники российские и за другим ездили в Европу.

«Сомневаюсь,—писал тот же Щедрин в другом месте о русских «гулящих людях» за границей, — чтобы сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за гра-

ницей»... Все-то ему ново, всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить и выражать свою мысль». Да, собственно, и мысли тут никакой особой не требуется: эта группа путешественников составляет тип так называемый «желудочно-полового космополита», который в Париже ищет вовсе не какого-то там «горения мысли» и пр., а «кровавого ростбифа и всех стран лореток».

Вот они, эти «наши за границей», как их описывало бойкое перо предреволюционного Зощенки — Лейкина, — потешные семейственные и любопытствующие Кит Китычи молодого образца, одетые «по последней моде» и в котелках, из Замоскворечья, Гостиных рядов, Тулы какой-либо, со своими купчихами из «пансионов» и подушками-перинами, Николаи Ивановичи и Глафиры Семеновны, выбирающиеся за границу с запасом соответственных знаний о чужих странах: «комнатных слов» для разговора с горничными заграничных отелей, «уличных» слов, «хмельных слов» («бир-тринкен», «шнапс-тринкен»), ресторанных слов («и про еду знаю») — всего, что необходимо «гулящему» русскому за границей. Там они изучали, главным образом, отличия кухни иностранной от нашей московской и помышляли об одном — о «гран дине», чтобы «жюскиси», т. е. «быть сыту по горлу», ибо заграничные «порции-то какие маленькие», и задавали очередной вопрос официанту: «комбьен стоит манже до отвалу?».

Да что другого искали они в Европе — эти еще не об'европеившиеся русские молодые буржуа, еще не успевшие приобрести лоска Рябушинских и вкусов от «Золотого руна»? И сами не знали, в сущности, зачем ездили: себя показать, что ли, невидаль российскую? самим посмотреть? А что смотреть? Кафе, кабачки, парижских кокоток, костюмы в «Лувре», арабские танцы и опять графинчики... «Комбьен стоит манже до отвалу?» Это и было все, что они умудрились увидеть на всемирной Парижской выставке. А к тому же тщеславие: «все-таки лишний разговор», «всем можем рассказать, что были»... чтобы «зависть» взяла знакомых...

И горе, и смех были от этих замоскворецких «открытий» Европы, и русские люди незлобиво покатывались со смеху над приключениями лейкинских героев — вот «Наши за границей» выдержали больше 25 изданий! И выдерживали бы и в наши дни, если бы только нашлись лейкинские издатели, ибо герои лейкинские и читатели — увы! — не перевелись...

IV.

И вот, когда я думаю о современных наших писателях, отправляющихся на «открытие» Европ разных, меня начинают одолевать всяческие сомнения и недоумения. Прежде всего, по какому маршруту намечаются их пути за границу: по маршруту Успенского и Щедрина или же по более легкому и веселому маршруту лейкинских Николая Ивановича и Глафиры Семеновны? Знают ли наши современники, хлынувшие «за рубеж» в наши годы, чего они хотят найти там, чего ищут? «Сокровищницы женских обнаженностей и с'естных приманок» — или чего другого?

Один из наших журналов как-то отметил эту с некоторых пор заведшуюся у нас моду: «всякий мало-мальски уважающий себя писатель должен с'ездить за границу». Как мы уже знаем, «мода» эта не очень новая для русского писателя, но характер «моды», она, действительно, приняла только с некоторых пор. Л. Авербах об'ясняет страсть Б. Пильняка к путешествиям и дальним плаваниям в большой мере «его бестемьем или его неудачами в подходе к темам современным». Может быть, известная доля правды и лежит в этом об'яснении, но ведь кто не умеет находить темы в родной стране, что же найдет в чужой? Какая же это литература художественная, творчество — рыскать по свету за «темами»! И ведь не опасается же писатель «станового», который во времена Щедрина и Успенского «не пущал» культурного русского интеллигента в русскую деревню, где этих самых «тем» не оберешься?..

Тяга за границу мне кажется понятной: после проделанного нами крупного и самостоятельного прыжка в будущее, хочется взглянуть на соседей, на этого самого «мальчика в штанах», который «скучно» так проповедывал свою чечевичную похлебку и которому мы не отдали своего первородства, — измерить наши шаги, проверить на опыте, как далеко и в чем мы ушли от них, и в чем отстали, чему нужно «учиться и учиться»... Оторванные десятилетиями войны и революции от нашей былой «второй родины», которая в дни юности нашей «согревала нашу жизнь и в известном смысле даже определяла ее содержание» (ведь и «новое слово» шло в свое время оттуда же — Маркс, Энгельс), далеко ушедшие от нее в своем социальном творчестве, в своей идеологии, — мы, по старой памяти и по соображениям мировой полезности, не можем не вспомнить о «старушке», как ее назвал один наш поэт: что творится в Европе, в быту ее, в психике ее людей, в ее литературе? Как события мировой войны и революции отозвались на этой психике «ветхого Адама» старого буржуазного мира? А, с другой стороны, повторяю, может быть, найдется и чему поучиться в этом устарелом европейском мире, который после хаоса тоже ведь сдвинулся с мертвой точки и, если отстал на социальных путях, то на путях технической культуры шагнул значительно вперед... Л. Авербах кстати напомнил недавно об «уровне нашей культуры» — таблицу, где по количеству грамотного мужского населения мы занимаем место в ряду «самых отсталых стран», а по грамотности женщин — даже «последнее место в Европе; и вот острое, как всегда, и тонкое заключение Ленина после анализа этих данных в одной из его последних статей: «Это показывает, сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы». Так что кое-чему (не всему, конечно) есть поучиться нашим «мореплавателем» и Колумбам у этой «старушки» проказливой или «мальчика в штанах», как вам будет угодно...

Итак, с какими целями отправляются сейчас стаями в эту самую вновь «открываемую» Европу наши российские литераторы? С информационными? образовательными? или просто для «плезиру»? Готовятся ли предварительно

дома к этому сложному делу постижения чужой страны или же остаются при вынесенном когда-то из пансионов багаже «комнатных» и «хмельных» знаний. Исследователи эти — любознательные ли люди (Щедрин, напр., считал, что, «с точки зрения подвижности, любознательности и предприимчивости, русский культурный человек за границей является совершенною противоположностью тому, чем он был в своем отечестве», т. е. тому «ленивому и нелюбопытному» человеку, о котором говорил еще Пушкин) или же «знатные иностранцы» с одним пустым любопытством за пазухой, совершающие Lustreise или вроде марьяжного путешествия медового месяца? — просто щедринские «гулящие люди»? Ездят эти «мальчики без штанов» «галопом по Европам», заливаются колокольчиком и этак, усвоив привычку джентльменов из Сити в моноклях, презрительно сплевывают в сторону: «не нравится, мол», — или уж, наоборот, очень все нравится, без разбору, когда крепкое вино новых впечатлений ударяет в некрепкую голову... Проездят так недели 3 или 6 по железным дорогам, познакомятся основательно с вокзальными буфетами, посмотрят из купэ («себя показать и самим посмотреть!») на страну через окна вагонов, побудут недельку на «суше», пошляются по всем злачным местам, которыми так богата Европа — и адью, ma tante, как сказала бы тамбовская помещица госпожа Курдюкова. А из гостей домой... приходят и сейчас же за письменный стол, и сейчас же книжку этакую «Сенсаций и замечаний дан л'этранже». И обижаются, когда начнете выговаривать.

Не ву пле па,
Не лизе па.

Совсем мятлевская мадам Курдюкова...

Или расписывают, а мы развесим уши. «Что значит: видет свет!» — или же наоборот: Европа — один фокстрот и ждет своего погребальщика, российские Шпенглеры...

Старушка Европа,
Желудком расстроясь,
Готова от боли и бешенства взвыть...
...Приятно послушать
Старушки Европы
Лирический бред...

— как пишет недавно побывавший вот таким «галопом» в Европе Ал. Жаров.

Вообще легкость в мыслях необычайная, штандарт скачет и т. д. — вот что характеризует большинство наших джентльменов, путешествующих и праздноболтающих.

Но кому нужна эта праздная болтовня? Кого она научит чему? Такова точка зрения читателя. Точка зрения писателя другая: если печатают и платят за это деньги, то почему же нет? «Народ гостеприимный и добродушный... — как говорится в одном частном письме. — Хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души». И пишет, и посылает, словно посылает не в редакцию солидного издательства,

а к «другу Тряпичкину, на Почтамтскую улицу, в дом под нумером 97, поворотя на двор, в третьем этаже, направо»... Получается совсем то, что пишут и печатают за границей в изобилии об СССР «знатные иностранцы», побывавшие мельком у нас и вместившие в свое поле наблюдений только развесистую клюкву...

Относится все это больше к беллетристам нашим, привилегированному классу наших путешественников, авторам маститых полных «собраний сочинений». Простые смертные, не из цеха «популярных имен», — те «средние культурные русские люди», о которых писал Щедрин, обыкновенные, трудолюбивые люди — те серьезнее много и поучительнее и, оказывается, даже талантливее. Им веришь. Пильняку, талантливому, но живущему первым впечатлением от виденного, непроверенным и не очень продуманным, часто не веришь как-то. Опускается он на дно морское, как будто очень хорошо все («Синее море»), а все что-то сомнительно. Читаешь его очень колоритные описания путешествия по Китаю и Японии и вспоминаешь все возражения, сделанные по этому поводу знатоками — и опять сомнения, хоть и очень талантливо. Бог его знает!.. Путешествует за «темой» на свой же русский завод, — «Сясьский комбинат» — а опишет его — и конфуз получается: все шиворот навыворот и не серьезно. А вот инженеру Фридману («В стране рекордных чисел») или Б. Кушнеру («Сто три дня на Западе») как-то веришь; они изучают, дают впечатления серьезные и даже остро-художественные того, что творится на Западе, напр., в технической области; и улицы Берлина, и морской порт Гамбурга, и характерные мелочи технического быта встают перед читателем, давая ему нечто новое, еще не известное, — не только одно вечное «тру-ля-ля»...

Конечно, и ста трех дней для всего Запада явно недостаточно: это тоже галоп чрезвычайный; надо ведь жить с народом, сжиться с ним, чтобы писать о нем; но, углубленные прочтением соответствующей иностранной литературы, изучением вопроса, и эти впечатления выходят за пределы простой дорожной causerie, которую преподносят в большинстве наши записные беллетристы-путешественники.

Нам нужны знания о Европе, ценные художественные (как, напр., очерки И. Эренбурга о Польше) впечатления о ее быте и переживаемых ею настроениях, нам нужна, наконец, социальная установка писателя-гражданина, сына революционной страны, который должен по-новому охватить мир, но нам совсем не нужен тот поверхностный вздор, та пустая салонная болтовня для читательниц «Женского журнала», то «открытие» Америк, которым заполняют сейчас книжный рынок буквально все, сунувшие только нос в Европу, увидавшие ее только с «птичьего дуазо», современные Николаи Ивановичи и Глафиры Семеновны...

И здесь нам надо учиться у «классиков» — их широте подхода, их уменью охватить предмет, их писательской честности и добросовестности, их серьезности. «Напостовцы», выдвинувшие плодотворный лозунг работы над классиками, стремятся к воспитанию писателя. Лефовцы, отрицающие такую учебу и классицизм вообще, конечно, и не любят никаких литера-

турных сопоставлений. Когда перейдешь от путевых очерков Успенского или Щедрина к нашей продукции, то разница не в одной силе талантов: с этим ничего ведь не поделаешь. Вот маленький очерк Успенского, как на ладони, показывает всю Европу в ее доминанте. Нет, разница и в направлении мысли и творчества, в методе постижения. С одной стороны, широко-общественный, социальный подход к явлениям. Художественный образ, художественное впечатление дают читателю отчетливый «социологический эквивалент»; с другой стороны, нейтральный легкомысленный, беспечальный подход «досужего» человека, этакое «тру-ля-ля»...

Да, эти сопоставления не просто старческое обычное брюзжание: были, мол, люди в наше время и т. д. Метод сопоставления — плодотворный в искусстве — необходим для оценки значимости творчества; эту оценку производит фактически самый строгий судия — время...

V.

Собственно, этим и можно было бы ограничиться в заметках о «наших за границей». Дело ясное. Но, чтобы не показаться голословным, приведу несколько иллюстраций к сказанному. Начнем наше путешествие по современным «Европам».

«Ну-с, Глафира Семеновна, приехали в за-границу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте без всяких стеснениев. Жарьте во-всю»...

Одним из первых, кажется, занялся «открытием» Америки решительный и не очень стесняющийся этой своей решительностью Вл. Маяковский, об'явив гордо urbi et orbi, как некий новый Колумб: «Мое открытие Америки» (1926, Гиз, и в V томе «Собрания сочинений» 1927), где ударение естественно раздваивается между фактом самого «открытия» и авторством его: «мое» именно, а не чье другое, ибо на первом плане — об Европе ли идет речь или об Америке — «я», «меня», «мое»...

Прежде всего надо огорошить читателя, «эпатировать» его, «забить» тем, что позабористее, «свое образование доказать» — перечислением неизвестных обычному читателю географических пунктов: «сажайте без всяких стеснениев». Вот «галопный» маршрут, о котором предупреждает читателя автор: «Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сантназар, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гаванна (остров Куба), Вера-Круц, Мехика-сити, Лоредо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливланд, Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва» — ух, дайте передохнуть! Единым махом семерых убивахом, — как говорил храбрый ремесленник у Андерсена, воевавший с мухами — и весь этот маршрут на 138 маленьких страничках. Для пояснения читателю такой обширности своего маршрута автор прибавляет: «Мне необходимо ездить»... Еще бы! а кому не необходимо это хорошее занятие? Точных данных о количестве дней, употребленных на этакое путешествие, мы не имеем, но автор во избежание, очевидно, кривотолков заранее предупреждает: «Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно част-

ности. Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее», т. е. взгляд и нечто — «о чем, бишь, нечто» — т. е. мчался галопом: самый верный способ увидеть все и сразу, «в общем и целом».

Все повествование о своем путешествии Маяковский выдерживает в свойственном ему вульгарно-развязном тоне «газетчика», как его правильно охарактеризовала критика, — с определенной установкой на газету («эту библию сегодняшнего дня» — С. Третьяков), со всеми сопутствующими этому жанру чертами: гиперболизмом, декламационностью, «эстрадной динамикой», «жонглированием разными, часто враждебными друг другу семантическими кругами», плакатно-агитационным целеустремлением (И. Дукор). То, что Сельвинский очень остро определил, как «рифмованную лапшу кумачевой халтуры» или «барабан с горошком а-ля-Леф». Характеризуя пароходную газету, Маяковский пишет в этом своем стиле: «газета паршивая», «на первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин», — сопоставление двух резко-несоизмеримых величин, достойное того тонкого чувства действительности, которым третий «великий человек» Маяковский обладает, видимо, в совершенстве...

Итак, что жё увидел наш «мальчик без штанов», совершая свой молниеносный «об'езд» по вверенной ему мировой епархии? Вы думаете, стал серьезнее хоть на миг? Нет, то же «высокоумие, ничем, положительно, не оправданное», в котором его упрекал еще, по Щедрину, его европейский collega в «штанах», — тот же заносчивый и высокомерный поучительный тон гения: «Америка», подумаешь...

Об океане и 18 днях езды по нему наш поэт нашел сказать только то, что «океан дело воображения» и что «океан надоедает». Разделавшись таким образом с Атлантическим океаном, Маяковский занимается описанием пароходной жизни. «Первый класс тошнит куда хочет, а третий сам на себя». «Давали незнакомые мне еды (!)». Еду поэт описывает и на пароходе, и в Мексике у Диего — лейкинский читатель остался бы доволен.

Мексика. Здесь читатель обогащается точными статистическими сведениями: «на каждого имеющего сапог—минимум 5 чистильщиков»; «каждый шестой человек — обязательно поэт»; из-за автомобильных катастроф «средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз в десять лет давит каждого»; «в Мексике бандитизм», все любят стрелять. О воронах мексиканских: «ихнее дело — всякий отброс». О мексиканском способе прощания: животом к животу с похлопыванием по спине (!). «Ну, что, брат Пушкин!»... «Большой оригинал»... Художник Диего ди Ривейра, по-Маяковскому, предупреждает, что «половину из всего сказанного я привираю» — черта, свойственная во всяком случае не одним мексиканским художникам. Анекдотический плакат: «Без штанов не входить». Об искусстве в Мексике: сейчас переводят Толстого, зато «Левый марш» Маяковского уже давно переведен. Есть и «капля политики»; раз'яснение автора: «капля потому, что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много», — и потому с читателя довольно «капли». Ведь эта, товарищи, «капля» — тоже «дежурное блюдо» Маяковского...

Как видите, о Мексике — наспех подобранные сплетни, «отрывочные сведения» (как сам определяет), — может быть, из мексиканских юмористических журналов, может быть, из Лейкина.

Не лучше обстоит дело и дальше. Легкомысленность, верхоглядство, скороспелость прямо бьют фонтаном с каждой страницы этих «открытий» Америки. Нью-Йорк. «Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье»... Вот нравы американские: если дама «ест» с американцем, он «целует ее не медля и требует, чтоб она целовала его». Танцы: «часа два потрутся в фокстротах». Тут же Маяковский на основании «массы (!) людей», слоняющихся без дела по улицам Нью-Йорка, развенчивает «прославленную» литературой «организованность, методичность, быстроту и хладнокровие» американцев. Основание достаточное, конечно... Большинство американцев, вообще, «тщедушные и хилые люди», среди которых сам Маяковский рисуется себе «голиафом». 100% американцев, Джонов, настоящих деловых янки «нету» в Нью-Йорке; они «зажирели», «спят в своей квартирной норке, просыпаясь изредка от собственных икот».

Я, поэт, и то американистей
Самого что ни на есть американца...

Охотно верим...

«Как ест рабочий? Плохо есть рабочий. Многих не видел, но те, кого видел...» и т. д. А, может быть, и не так плохо ест — ведь это «кумачево-халтурное» обстоятельство вовсе не смягчает всей тяжести капиталистического гнета в Америке! С таким же успехом, сидя в Москве или пропутешествовав в Пушкино по Ярославской дороге, можно было бы умозаключить: «Как ест рабочий в Германии? Плохо ест рабочий в Германии. А как во Франции?..» и т. д. И это, вероятно, и будет считаться правдой, достаточно «общей»: «я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее». Но не слишком ли много «общего»?

Вот он отмечает «одну странную черту американской техники («не моя специальность»): снаружи, внешне она производит недоделанное, временное впечатление» (!). Но, правда, как же ему, лефовцу, не отдать дани восторга индустриализации и техническому прогрессу!.. И вот «Бруклинский мост» ему изволил крайне понравиться: «на хорошее и мне не жалко слов», милостиво бросает он свою похвалу буржуазной Америке. «Это вещь!» Здесь «борьба за конструкции вместо стилей». И тут же сейчас о Бруклинском мосте:

Я вижу — здесь стоял Маяковский,
Стоял и стихи слагал по слогам.

Вот истинный герой путешествия, вот кого всегда и во всем «открывает поэт». А Америка — она что?

И наконец резюме: даже «жалкие лачуги» на обратном пути к Парижу («вершок земли») кажутся ему «невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни»...

Вот и «Мое открытие Америки». «Цель моих очерков, — говорит автор, — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки»...

«Скажите, так это вы были Брамбеус? — Как же, я им всем поправляю статьи»...

VI.

Но Маяковский — поэт, как никак. Чужие страны могли бы обогатить его рядом поэтических импрессий. Действительно, в вышедшем сравнительно недавно V томе его «Собрания сочинений» находим цикл путевых откликов в стихотворной форме, дополняющих его прозаические заметки, — так сказать, поэтическое «открытие» Америки.

К этим откликам мы не будем здесь подходить с запросами формально-эстетическими («рифмованная лапша» и пр.). Леф, ведь, провозглашает ликвидацию художества! Вот пейзаж, увиденный в «Тропиках»:

Из всей бузы и вара (?)
встает растенье — кактус
трубой от самовара...

Пальмы — «силуэты-веники встают рисунком тошненьким».

Нас здесь сейчас интересует одна тематика Маяковского, выступающего и в этих своих стихах преимущественно, как «газетчик».

Оказывается, так «надоевший», как мы знаем, в прозе Атлантический океан, — здесь, в стихах, «по шири, по крови, по духу моей революции старший брат». Во-первых, почему «моей»? Мы пахали?.. И затем какая такая «кровь» в океане водится, — белая, водянистая? На океане поэт занимается тем же, чем и на родине: «мелкой философией на глубоких местах» и при этом завидно острит: «превращусь не в Толстого, так в толстого — ем, пишу, от жары балда». О чем же он «над морем философствует»? О том, что «у Стеклова вода не сходила с пера», что «эти волны Коломба лапили»... Вообще чувствует себя немного Колумбом. Колумб и Маяковский (поэма о «Христофоре Колумбе») — «брат Пушкин»...

А вот Испания: «Кастаньеты гонят сон. Визги, пенье... страсти.

А на что мне это все?
Как собаке — здрасте...»

Еще об Испании — о монахинях: «трезвые, чистые, как раствор борной...» («Однако, брат, у вас здесь чисто. Плюнуть некуда»...)... «Шесть дорожных вынимают евангелишек... Бормочут, стервозы, дуры господни»...

Вообще, великолепное презрение не оставляет нашего героя и в Нью-Иорке.

Концепция мистера Форда для него это «высохший зад». «Только и всего». Правда, опять индустриализация и техника поражают лефовца: количество экспрессов, небоскребы «невозможной длины», лифты — «все равно ничего не поймешь»! Оказывается, в столице Штатов «есть что поглядеть московской братве»: это электричество.

Ну, я доложу вам — пламечко!
Налево посмотришь — мамочка мать!
Направо — мать моя мамочка!

И от этого «пламечка» поэт приходит в раж.

Я в восторге от Нью-Иорка города...

Слава богу! А мы беспокоились за Америку...

Но тут же себя одергивает, не желая, видимо, забыть едкой характеристики Сельвинского:

Но кепченку не сдерну с виска.
У советских собственная гордость:
На буржуев смотрим свысока.

И тут оказывается, что нашему «барабану с горошком» и в «восторг» от Нью-Иорка приходить особый нечего: беря «небоскреб в разрезе», он находит внутри «совсем дооктябрьский Елец аль Конотоп», т. е. житейские драмы, адюльтерные сцены и пр., что, очевидно, Маяковский и не подозревал найти в Америке. «Я стремился за 7 000 верст вперед, а приехал на 7 лет назад». И вообще, если говорить на-чистоту, — Нью-Иорк этот самый — чем тут гордиться американцу? Одно надувательство:

...Втер очки Нью-Иорком...
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши. Только и всего.

Вот он где — щедринский «мальчик без штанов» со своим «высокоумием, положительно, ничем не оправдываемым». «А вы делаете вид, как будто все это вам не в диковинку! Берегитесь, русский мальчик!» А мальчику что? Грызет, мол, подсолнухи и сплевывает: мы — знай наших, «на буржуев смотрим свысока»...

Может показаться на миг, что «мальчик» в своей наплевательской философии противопоставляет внешним «благам цивилизации» свою «душу», т. е. социальные идеалы:

Нами через пропасть прямо
Перекинут мост длиною — вó сто лет.

Но «мелкобуржуазные» сомнения немецкого «мальчика в штанах» тотчас же овладевают им:

Что такое мост? Приспособленье для простуд.
Тоже... без домов не проживете очень
На одном таком возвышенном мосту.

Вообще же свои «радикальные» настроения Маяковский старается проявить где можно. Но беда в том, что читатель относится к этим его 100% настроениям так же недоверчиво, как и Сельвинский: «халтура». Здесь не

только довольно удачный и острый газетный фельетон, комбинирующий темы костела и разврата (о «Богомольном») или о религиозном ханжестве мексиканских монахинь. Здесь и свиной король Свифт, заразивший сифилисом негритянку — «колониальная политика»! Буржуазное общество поэт рисует вот каким плакатным лубком: «катаясь пузом от танцев до пьянки, в уюте читален, кино и клозетов, катаются донны, синьоры и янки»... Он приглашает Коминтерн подумать о «новом агитвинте» и перевести «рисовый гнев» индейцев на «классовый», — как будто Коминтерн без Маяковского не знает, что ему делать.

Правда, он признает (немного домашней философии!), что «тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему (!), просто глуп», но «ясность» сугубая отличает все его вирши, в которых он хочет показать свой радикализм.

Пролетарии приходят к коммунизму низом—
Низом шахт, серпов и вил, —
Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм,
Потому что нет мне без него любви.

Но в эту фразеологию, громыхающую, как пустая сорокаведерная бочка по булыжникам, — лишенную подлинных поэтических эмоций, подлинного душевного жара, — читатель не верит, как не верит и тогда, когда озорник и футурист, считающий «ясность» мысли «просто глупостью», называет себя «советским заводом, вырабатывающим счастье» и когда он просит подлежащие административные инстанции:

Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...

Какой же это «штык», с позволения сказать, и какие же это «небеса поэзии» и поэтическое «перо»? Просто швабра какая-то...

Чтобы яснее была моя мысль, я приведу здесь прекрасную известную отповедь Белинского всем этим фразеологам, старающимся приспособить «волшебное словцо» — «направление»: «Не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а, во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пищущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уж, пожалуй, и сознательной мыслью, — что для него, этого направления, так же надобно родиться, как и для самого искусства». И дальше: «Идея, вычитанная или услышанная... но не проведенная через собственную натуру, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и во всякой литературной деятельности». Есть просто «халтура» или «барабан с горошком».

В том же томе стихов Маяковский, чувствуя себя «американистей всякого американца» на стихотворном производстве («заводом»), поучает, «как делать стихи» («лапшу рубленную»), «нарочно заостряя мысль, чтобы резче показать, что сущность современной работы над литературою не в оценке с точки зрения вкуса, а в правильном подходе к изучению самого производственного процесса». «С моей точки зрения лучшим поэтическим

произведением будет то, которое написано по социальному заказу, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, сработанное на сроке, оборудованное по НОТу и доставленное в редакцию на аэроплане».

Но не всякий, повторяющий «верую», войдет в царствие небесное... Вспомним снова Белинского. Впрочем, вернемся к Америке, чтобы подвести итоги ее новому «открытию». К чему свелось это «открытие»? К одному пошлому вздору. Это «открытие» — и прозаическое, и поэтическое — ничего не прибавило к тому, что мы знали раньше и об Америке, и об новом ее Колумбе — Маяковском.

Конечно, хотелось бы, чтобы современный путешественник из страны Советов зрячими глазами увидел и социальный, и бытовой уклад так называемого «Нового света», — увидел по-новому и вовсе не потому, что этого требует политграмота или редактор журнала, а потому, что эти зрячие глаза — новая природа русского человека, социальное бытие его, сына революционной эпохи, — и потому, что иначе он видеть не может. Не ослепляясь внешним блеском всяких «пламечков», т. е. электрических лампочек, но и не затушевывая всей сложности и новизны этого чуждого мира... А тут что?..

Вот он едет в Мадрид, дон-Диего наш: «вернусь оттуда испанцем».

Приехал,
ясно —
в кафе
попер.
Про
го
ло
да
ешь
ся
странствуя.

«За каждым столиком торреадор. Речь, конечно, испанская». Наш герой, естественно, уткнулся в тарелку, а сзади шопот: «Дон-Педро, ша! Это же Ма-я-ков-ский! — Да, ну? — Ей богу!». Схватив шляпу, поэт убегает от своей всемирной популярности. «Куда там! И слева, и справа толпы испанцев бегут, крича: — Дон-Маяковскому слава!» Просьба от автора: «Если какие испанские черти скажут, что я — африканский леф, будьте любезны — не верьте!».

Это, правда, пародия (Ал. Архангельский «Пародии», 1927), но весьма талантливая, не уступающая оригиналу, и это могло бы быть и оригиналом. Сам Маяковский и «открытие» им новых стран, — или, вернее, себя во всех странах мира, — схвачены удивительно остро.

А на что мне это все?
Как собаке — здрасте!..

Это уж подлинный Маяковский.

Но стоило ли для этого ездить за океан?

только довольно удачный и острый газетный фельетон, комбинирующи темы костела и разврата (о «Богомольном») или о религиозном ханжестı мексиканских монахинь. Здесь и свиной король Свифт, заразивший сифı лисом негритянку — «колониальная политика»! Буржуазное общество поз рисует вот каким плакатным лубком: «катаясь пузом от танцев до пьянк в уюте читален, кино и клозетов, катаются донны, синьоры и янки»... С приглашает Коминтерн подумать о «новом агитвинте» и перевести «рис‹ вый гнев» индейцев на «классовый», — как будто Коминтерн без Маяко ского не знает, что ему делать.

Правда, он признает (немного домашней философии!), что «тот, к: постоянно ясен, тот, по-моему (!), просто глуп», но «ясность» сугубая о личает все его вирши, в которых он хочет показать свой радикализм.

Пролетарии приходят к коммунизму низом—
Низом шахт, серпов и вил, —
Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм,
Потому что нет мне без него любви.

Но в эту фразеологию, громыхающую, как пустая сорокаведерн: бочка по булыжникам, — лишенную подлинных поэтических эмоций, по линного душевного жара, — читатель не верит, как не верит и тогда, ког озорник и футурист, считающий «ясность» мысли «просто глупостью называет себя «советским заводом, вырабатывающим счастье» и когда ‹ просит подлежащие административные инстанции:

Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...

Какой же это «штык», с позволения сказать, и какие же это «небе поэзии» и поэтическое «перо»? Просто швабра какая-то...

Чтобы яснее была моя мысль, я приведу здесь прекрасную известн) отповедь Белинского всем этим фразеологам, старающимся приспособи «волшебное словцо» — «направление»: «Не понимают, что в сфере иску ства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а, в вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде все в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстин том, а потом уж, пожалуй, и сознательной мыслью, — что для него, это направления, так же надобно родиться, как и для самого искусства». И дал ше: «Идея, вычитанная или услышанная... но не проведенная через собстве ную натуру, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и во вс кой литературной деятельности». Есть просто «халтура» или «барабан горошком».

В том же томе стихов Маяковский, чувствуя себя «американист всякого американца» на стихотворном производстве («заводом»), поучає «как делать стихи» («лапшу рубленную»), «нарочно заостряя мысль, что резче показать, что сущность современной работы над литературою не оценке с точки зрения вкуса, а в правильном подходе к изучению само производственного процесса». «С моей точки зрения лучшим поэтическ

произведением будет то, которое написано по социальному заказу, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, сработанное на сроке, оборудованное по НОТу и доставленное в редакцию на аэроплане».

Но не всякий, повторяющий «верую», войдет в царствие небесное... Вспомним снова Белинского. Впрочем, вернемся к Америке, чтобы подвести итоги ее новому «открытию». К чему свелось это «открытие»? К одному пошлому вздору. Это «открытие» — и прозаическое, и поэтическое — ничего не прибавило к тому, что мы знали раньше и об Америке, и об новом ее Колумбе — Маяковском.

Конечно, хотелось бы, чтобы современный путешественник из страны Советов зрячими глазами увидел и социальный, и бытовой уклад так называемого «Нового света», — увидел по-новому и вовсе не потому, что этого требует политграмота или редактор журнала, а потому, что эти зрячие глаза — новая природа русского человека, социальное бытие его, сына революционной эпохи, — и потому, что иначе он видеть не может. Не ослепляясь внешним блеском всяких «пламечков», т. е. электрических лампочек, но и не затушевывая всей сложности и новизны этого чуждого мира... А тут что?..

Вот он едет в Мадрид, дон-Диего наш: «вернусь оттуда испанцем».

Приехал,
ясно —
в кафе
попер.
Про
го
ло
да
ешь
ся
странствуя.

«За каждым столиком торреадор. Речь, конечно, испанская». Наш герой, естественно, уткнулся в тарелку, а сзади шопот: «Дон-Педро, ша! Это же Ма-я-ков-ский! — Да, ну? — Ей богу!». Схватив шляпу, поэт убегает от своей всемирной популярности. «Куда там! И слева, и справа толпы испанцев бегут, крича: — Дон-Маяковскому слава!» Просьба от автора: «Если какие испанские черти скажут, что я — африканский леф, будьте любезны — не верьте!».

Это, правда, пародия (Ал. Архангельский «Пародии», 1927), но весьма талантливая, не уступающая оригиналу, и это могло бы быть и оригиналом. Сам Маяковский и «открытие» им новых стран, — или, вернее, себя во всех странах мира, — схвачены удивительно остро.

А на что мне это все?
Как собаке — здрасте!..

Это уж подлинный Маяковский.

Но стоило ли для этого ездить за океан?

VII.

Другая путешественница — Вера Инбер — открывает тоже «Америку» — только в Париже («Америка в Париже», 1928 г.). Но здесь уже нет никакой «наплевательской» точки зрения; наоборот, даже, может быть, излишнее увлечение всем виденным и воспринятым.

Как человек от своей тени, так и писатель никак не может уйти от себя, — да этого совсем и не требуется: печать лица должна лежать на всем, что он пишет, — ибо это ведь конкретное, индивидуальное творчество, создание литературных ценностей и литературного человека по образу своему и подобию. Но всюду искать и находить только себя, не проводить мир через призму своей творческой личности, а сводить весь мир, весь «универсум» к себе, к своей «хате», всю сложность социальной современности сводить к индивидуальной лирике, вневременной и внепространственной, но эгоцентрической — это удел дарований, которые остаются в узком поле обывательских интересов, которые, даже при подлинном таланте, не могут ударить по струнам, зазвенеть силой бурной, загореться и других зажечь. Писатель, который хочет волновать и мучить, как «своенравный чародей», должен быть общественным писателем, должен иметь громкий голос. А у В. Инбер «негромкий голос»... И она не поет им, а щебечет — этакое милое щебетанье...

Один из критиков В. Инбер (К. Зелинский — «На литературном посту» № 11—12, 1928 г.) недавно охарактеризовал эту писательницу, как «европеянку». Это было бы верно, если бы характерной чертой европейца (какого? мещанина? интеллигента? пролетария?) было то «нейтральное» отношение к теме, та «эстетическая нейтральность», вообще эстетское безразличие к миру общественному, черты которых он правильно отметил в нашей писательнице. Да, В. Инбер присуща культурническая «улыбчивая» ирония «западной традиции», экономная «хозяйственность в слове», но критику тут же приходится признать, что многое во вкусах В. Инбер кажется «мещанством»; правда, это «мещанство» он называет «западным», но так ли оно далеко ушло от нашего российского? В «новых условиях» российской жизни, в которых резко доминируют моменты социальные, писательница «постаралась устроиться чисто и оседло», но — уточняет он — «не ее задача перекраивать мир». И вот почему совершенно правильно ощущение критика, что В. Инбер «не укладывается в наше представление о серьезной «большой литературе»: «она не решает мировых вопросов, она даже не решает социальных вопросов». Конечно, это так: писатель крупный, писатель «серьезный», писатель, который делает «большую литературу», не может не быть насквозь социальным: социальность — нерв его искусства, так как функция литературная — полноценное художество, «социологический эквивалент» которого и есть полноценная современность. Таков не только Толстой, но и Пушкин. Но берите меня таким, каким я есть, каким я родился, каким я мог сделаться! — таково право писателя требовать от критика. «Я пью из «маленького» стакана, но собственного»...

И В. Инбер, действительно, пьет из своей собственной чашечки. Ее тематика, манера изложения, ее поэтическое credo «экономны», миниатюрны. У нее свои собственные, хоть и «бренные» слова, у нее свои, очень уютные, «милые» (это слово подходит к ним) и теплые стихи, с этой ее безобидно-лукавой «улыбчивой» [1]) и культурной иронией; она вся в миниатюре, в работе тонкой над «маленьким» — и это ей больше всего удается, здесь она талантлива и интересна. Это «маленькое» — домашний очаг, — домашнее «хозяйство» ее поэзии, в котором она, действительно, «экономная хозяйка слова»; она не любит машин, «индустриальности» всякой, которая лишает это жилье человеческое уюта, тепла и патриархальности, а жилье кажется ей крепким надежным убежищем от всех бурь жизни. Ей близки интересы матери, женщины; она умеет разбираться в фасонах платьев, мехе для шубки... Космос, мировая симфония сводятся тут к кухне и в образе этих кухонных, домашних, спальных предметов мнится ей вся вселенная. Критика давно уже отметила это в ней. Метеоры для нее — только «солнечные огурцы и дыни». В Большой Медведице, «серебряной кастрюле, варится млечный шоколад», «благоухает он тепло и сладко».

И в голубом переднике луна
Его сверлит алмазною лопаткой,
Чтобы сварился он до дна.

Это не столько поэтические образы, сколько аллегорические. Аллегория домашнего уюта. У подушки она подсмотрит поздно ночью «маленькие ушки», которые предназначены «слушать сны»... Она любит «добрые овощи», лук «благоуханней ананаса», «морковь пятипалую». У чайника она отмечает «круглый животик» среди кастрюль и ложек «и прочих кухонных фигур». У нее есть и другие — и очень интересные — стихи,— другого масштаба, где ее муза старается подняться до героических высот, но это в общем не ее стиль. В самых, казалось бы, революционных темах ее звучит часто еле уловимая, незримая, но верная струя эстетизма... Другое дело — веснушки детские, тихая, простая и незаметная преданность домашней собаки («Сетер Джэк»), — вот здесь ее подлинное лицо.

Есть в этом стиле грациозность, но и кокетство женское и немного претенциозности, жеманства, — вот от тех еще времен, когда в «семнадцать лет» ее «душа» ощущала себя «маркизой» — непременно маркизой века пудры и менуэтов...

Нет настоящей хорошей — и такой широкой — простоты... Ах, простота, простота — что может действовать сильнее в искусстве!

VIII.

И за всем тем В. Инбер всегда интересно читать, ибо она, как я уже сказал, талантлива. В ней есть эти приятные неожиданности, которые

[1]) Оказывается, за один год с В. Инбер — если верить ей («Чит. и пис.» № 7) — произошла перемена, подобная «перелому»: представьте, «хочется писать большие вещи с меньшим количеством улыбок и где нежность бы распределялась более скупо»...

только от таланта, новые интонации, «свое» слово, словечко, маленькое, но свое. И на книге ее о путешествии на Запад лежит печать тех же специфических особенностей ее дарования, — та же узость тематики и «нейтральность эстетическая», нейтральность к одним темам, к одному «предметному ряду» — и заинтересованность другим «рядом», другими вещами. О, да, она вовсе не так нейтральна, как это кажется К. Зелинскому. Она, может быть, не выражает своих восторгов бурно-пламенно, как Маяковский, но восторги свои — в стиле пастельных красок — у нее несомненно имеются.

Книга В. Инбер о Париже (а мимоходом о Берлине и Брюсселе) читается легко и с приятностью, скажу больше, даже с интересом; эти легкие путевые наброски написаны тонко и увлекательно, и хотя это только собрание пустячков, безделушек, cartes postales, мозаичных штрихов и черточек, но нет в них той высокомерности и выпирающей самовлюбленности, которая так раздражает в Маяковском — писателе широких мазков и экспрессии. Но что попадает прежде всего в поле ее наблюдений, ее впечатлений?

Никаких «открытий» особых мы здесь не находим. В Берлине ее интересует блестящий асфальт мостовой, величественный «дядя на перекрестке» — шуцман, огни реклам, иллюминации освещения (опять «пламечко»). В Брюсселе — собственная лекция, которую ей пришлось читать о России и связанные с этим волнения; и еще «музей Конго» с кокосовыми орехами и другими достопримечательностями — а о самом главном, что связано с этим Конго — колониальной политике, которую не замедлил бы пригвоздить Маяковский — об этом так, мимоходом и весьма бледно. Не ее «специальность»...

В Париже поэтесса предпочитает не изучение города и все то, что делают иностранцы с Бедекером в руках, с непременной настойчивостью «все» увидеть, что «нужно». Она заглянет в катакомбы по-туристски, и, конечно, кабачки всякие, а потом просто пойдет бродить по улицам и останавливаться у витрин — любопытная женщина из страны Советов... Она описывает парижскую улицу, жареные каштаны, фрукты на прилавках — матовую грушу, «желтую, полированную, как череп модного мыслителя», темный банан, похожий на «плечо женщины». Как домашняя хозяйка, она не может пройти мимо мясной — и очень красочно и выпукло описывает «упругие бычьи легкие, печень цвета раздавленной вишни, якорную цепь кишек». В окне, добрая хозяйка, она заметит нержавеющие ножи, кастрюли, в которых варятся овощи без воды; задержится перед детскими лакомствами в витрине кондитерской.

Ее не интересует политическая жизнь Франции, а вот — «как распределяется день» жизненный Парижа, и она дает интересный в этом смысле очерк своего полубогемного отеля. Она описывает «дом и его внутренность»: парижские манекены, прачек и художников, танцы парижские. Она любит изящно описывать места, где «легкость жизни», — кошачью выставку, с ангорской глухой кошкой, стоящей 15 000 франков, и опять парижские на

ряды и немного ночного Парижа, кино, кабачек с «программой», кафе «Жокей», «Ротонду» — милое чтение для читательниц «Женского журнала»...

Если в бурные революционные дни она пела: «Уж своею Францию не зову в тоске», то, конечно, «тоска» эта была искренняя, неподдельная, но в остальном было и увлечение фразеологическое, поза «радикализма». Вот она сейчас ходит, ищет «дыхание старого Парижа», ей нужна его «немного насмешливая нежность» — совсем тепличная эстетика. И, расставаясь с Парижем, этим «милым мне городом», «видя уплывающие вместе с перроном дружеские лица, я внезапно упала духом и затосковала. Я тосковала так сильно, что это было даже неприлично в спокойном европейском экспрессе»... И тоска — лукаво-эстетская.

Она искренна — и это большое достоинство книги. Так и хочется пожалеть этого тоскующего по «милому Парижу» ребенка-женщину, кокетливо-избалованную: сидеть бы ей в табачном тумане изящных кафе, кутаться в меха, прятать в большую муфту свой зябкий носик, тянуть коктейль и глядеть на фокстротирующие пары...

«Милый» Париж! Какое неподходящее и чисто-«женское» слово для великого старого прекрасного города, города идей и революций, где пядь каждая земли полита кровью, дышит историей, где название каждой улицы рождает столько ассоциаций... Современный Париж — город тяжелых социальных противоречий, борьбы ожесточенной, «чрево Парижа»... Тонкой лирикоэстетской грустью («нейтральность»), иронией, в которой с трудом, при добром желании, уловишь социальный оттенок,— подернуты сценки этой парижской жизни, попавшие в поле впечатлений В. Инбер: семья инвалидов, прачки парижские; девочка Дениз — преждевременная хозяйка магазина; кто-то голодный, укравший с лотка индейку и бросившийся в Сену; лошадь с грустными глазами. И эта, знакомая уже нам, глухая ангорская кошка, стоящая состояние по бюджету любого из парижских бедняков, — для писательницы образ не социальный, а только бытовой. Быт, а не социология. Вот и богачей она различает по «женским» бытовым признакам: это — «те, которые носят хорошие меха: норку или крота»...

Такова плоскость интересов нашей путешественницы. Когда же, считая необходимым отдать долг современности, а также идеологическим требованиям наших издательств, она старается говорить о «серьезных» предметах», «предметах большой литературы», которые так занимали Гл. Успенского, Щедрина в этом самом Париже, — и пишет нечто совсем поверхностное о парижской школе или о современной архитектуре, или о колониях и каучуке, книге Лефевра, приводит даже таблицы о работе католического духовенства в Конго, — то это становится уже и скучным, и мало оригинальным, а потому никому и не нужным — и опять вспоминаются слова Белинского о пристегнутом «направлении»...

Но почему же «Америка в Париже»? Конечно, немного — крошечку этакую! — современной философии необходимо, чтобы сдобрить старую, в сущности, картину, привидевшуюся «русскому досужему человеку» в Париже, — и вот оттуда, от этой философии и название книги. Какую же

«Америку» открыла В. Инбер? — Америку в Париже? Не ту ли, какую открывал с Эйфелевой башни лейкинский Николай Иванович в своих cartes postales: «Вся Европа как на ладони. Сейчас мы видели даже Америку в бинокль. Страшно, но очень чудесно».

Видите ли, В. Инбер — как пишет критик-конструктивист — «услышала прекрасную музыку человеческого конструктивизма, победы человека над природой». Мы уже знаем, что она искала «дыханья старого Парижа». Но машины, индустриализм, «американизм» грозят совсем уничтожить это «дыханье». Ей с грустью кажется, что Франция перенимает американские методы работы, что «Франция постепенно теряет округлость и приобретает прямоугольность» [1]... Особых веских доказательств не приводится в подтверждение этой мысли; здесь один «импрессионизм», философия — может быть, и имеющая основания за собой, — но в данном изложении совсем куцая, «дамская» и ее поэтому по-боку, эту ново-открытую «Америку». Чтобы подсмотреть даже острому взору художника глубокие изменения в хозяйственном строе страны, в укладе и психике ее населения, нужно, конечно, пристально вглядеться в ее политику, экономику, иметь соответствующий багаж для этого — багаж знаний и идей, — и, конечно, долго жить в стране — долго и продуктивно, а не «налететь» с корреспондентским билетом в кармане.

IX.

Вот другой автор — Еф. Зозуля — тот буквально «слетал» в Европу — то, чего, конечно, не снилось ни Успенскому, ни Щедрину — по аэропланному маршруту: Москва — Берлин (как у Маяковского «Москва — Кенигсберг (воздух)»). По всем данным этот способ путешествия он сохранил и на всем остальном пути от Берлина; его пробег «из Москвы на Корсику» (1928 г.) проделан с потрясающей, поистине аэропланно-американской быстротой и необычайной легкостью пера и наблюдений. Так и мелькают поля Германии, Польши, Парижа, Корсики. «Вот Корсика, и уже мчусь обратно»... Но почему надо так «мчаться»? Когда же готовиться к творчеству? Записки этого «мчания» носят даже и внешний типичный характер: они не разделены на обычные и удобные для остановок читательского внимания главы и главки. Книга должна, очевидно, читаться — как и путешествовал ее автор — одним залпом, без передышки...

На все это путешествие понадобилось очень немного страничек, из которых надо из'ять порядочную дозу, падающую на приложенный в конце — в качестве бесплатного приложения — сатирический гротеск «Золото» — повесть об уборных из золота, в которой ничего «золотого» или даже просто хорошего нет. Действительно, «галопом по Европам». «Но вот опять

[1] В талантливой и интересной книжке Ром. Гуля «Жизнь на фукса», вышедшей еще в прошлом году, автор, живший долго в Европе и вжившийся в нее, отмечает — как одну из черт «американизации» Германии — «прямоугольность архитектуры»... Остается решить: кто кого перегонит и кто более «американистый»: Берлин Ром. Гуля или более поздний Париж Веры Инбер?

континент. Опять поезда, отели, улицы, люди, магазины, бесконечное движение и мелькание, я несусь почти через всю Европу»...

Мчатся тучи, вьются тучи...
Мутно небо, ночь мутна.

Так и впечатления — определенно мутны и поверхностны. Словно знатный иностранец, видавший виды, он на бедную, попавшуюся ему под ноги, «провинциальную» Варшаву уж и взглянуть не хочет: «жалкие магазинчики», «плохо, бедно одетые прохожие», «облупившиеся дома»... Грязновато, серо, неуютно. «Быт допотопный»..«Провинция. Скучно». Когда это он все успел заметить? Но вот другой современный путешественник (Ник. Асеев — «Звезда» 1928 г.) в той же самой Варшаве успел заметить «совсем наоборот», как говорится в анекдоте: «Варшава во что бы то ни стало хочет быть Европой. Вечером освещение работает во-всю (опять это самое «пламечко»! — *Д. Т.).* Кафе — до самого захудалого — полны нарядно одетых людей. На тротуарах франтовские пальто, монокли и меха франтов и модниц; на мостовых бесконечные вереницы авто и выездов в лакированной сбруе»... «холеная, чищенная и лощеная панская Польша»... «На улице все должно быть модным и шикарным. Запах духов, мерцающие глаза, вечный вечерний городской праздник»... Словом, Варшава — «труля-ля». Правда, Асеев был меньше суток в Польше, — не больше Зозули,— и за всем этим блеском он почувствовал нужду, стремление «не отстать от западных соседей, соблюсти фасон» («из Польши вытянуты все соки»). Нас здесь занимает, однако, другой вопрос: кому же верить? Зозуле или Асееву? И у обоих пометка — 1928 год. «Ну, вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить»... Впрочем, Гоголь всегда выручит: вспомнил — есть две Варшавы, как два Юрия Милославских...

Поругать, конечно, не вредно, но нужно с оглядкой.

«Кто же из русских писателей не ругал Польши? Это путевая обрядность: из окна вагона, вроде нескольких восторженных слов по поводу Кельнского собора», — так пишет Ил. Эренбург в своих превосходных заметках «О Польше» — образце путевых заметок для современных писателей. И Эренбург совсем не похвалил современной Польши — да и «что можно хвалить в сегодняшней Польше, кроме краковских древностей и десяти сортов водок» (вот бы где раздолье лейкинским героям!) — но Эренбургу веришь: это серьезно и это не с птичьего «дуазо».

«Политическое невежество населения поразительное», — с этого же «дуазо» увидал наш автор в Корсике, но зато «политическая сознательность немцев чрезвычайно велика». В Германии еще имеются: возрождение нации (молодые лакеи в ресторанах!), мужская прическа одна только осталась от «реваншистских настроений»; «войск не видно»; отряд красных фронтовиков оставляет неизгладимое впечатление. Еще: «никак не представлял себе, что столько нищеты может быть в этой чистоплотнейшей, ярко начищенной, изумительной, если смотреть поверхностно, стране».

А зачем смотреть «поверхностно»? Куда спешить? Зачем же тогда писать о том, чего не видишь поглубже?

Разделавшись впопыхах с Германией, летим в Париж — «милый» инберовский Париж. «Даже при поверхностном знакомстве»... Опять поверхностное! Когда же будет настоящее? Очень приятно, конечно, что и здесь нет того «наплевательского» заносчивого отношения к Европе «мальчика без штанов», с которым мы уже знакомы; даже наоборот: «Что-то хрупкое, чуть-чуть тронутое тленом, что-то изящное-усталое чувствуется во всем облике» Парижа, что-то «старомодное» — словом, специальность В. Инбер. Резюме: Париж «очарователен» (совсем капризная барышня!), «что там хорошего, трудно сказать»! А жаль... тем более, что сама по себе, вне контекста, фраза звучит очень двусмысленно. Вообще у автора часто не хватает слов для выражения своего восторга. Ведь вот другие находят:

Я в восторге от Нью-Иорка города...

«Нет силы описать впечатлений от Парижа», — наивно отмечает наш автор. Вот выставка: «нет слов описать богатства выставки». О Чаплине: «об этом человеке я не могу писать спокойно»... А жаль: при некотором спокойствии хорошо бы узнать русскому читателю поподробнее об этом интереснейшем представителе современного кино-искусства.

Кстати: почему, говоря о французских «прекрасных литературных фразах», автор бросает впопыхах, что от них «сошел с ума Мопассан»? И вовсе не от них — это мы знаем хорошо, отчего он сошел с ума; и не фраза ли литературная и здесь у Зозули — только русская?

Что еще о Париже? «Сокровищница женских обнаженностей и с'естных припасов» (Щедрин)? «Всех стран лоретки» (он же)? «Тру-ля-ля»? Ну, конечно. Что же заметить «русскому досужему человеку» при поверхностном знакомстве в «очаровательном» и «милом» Париже? Обозрения, кафе, замечательный публичный дом Шабоннэ, в котором даже показывается по особому заказу изготовленное, особо сконструированное «удобное» (для этих самых «тру-ля-ля») кресло английского короля Эдуарда, известного любителя этих самых дел... Стоило ли для всего этого «летать» из Москвы? «мчаться», «нестись» почти через всю Европу?..

X.

И хотя налицо тут разные превосходные степени — и «чрезвычайные», и «изумительные», и «поразительные», но «живой», подлинной, настоящей Европы все нет: или она «во мгле» сплошной (как у Маяковского Америка), или в блеске сплошного «очарования». Как я уже давеча отметил, это совсем тот метод, каким постигают нас и нашу страну современные европейские «гулящие люди», приезжающие в страну Советов и потом праздноболтающие о ней всякий вздор, — похвалят нас или обругают, все едино: ни тепло нам, ни холодно, а только глупо. Если в этом наши писатели хотят сравниться с Европой, об'европеиться, так сказать, — то далеко мы не уйдем...

Конечно, Париж и «мил», и «очарователен», и Нью-Иорк вовсе не только «сотня этажищек», городящихся в небо... Верим охотно первому, не верим второму, — но ведь тем, кто не знает ни того, ни другого, одних восклицательных знаков мало. И опять-таки — каков смысл этих путешествий за границу? Книга Эль Дженнингса «О. Генри на дне» так нам вскроет ужасы капиталистически-тюремного режима заокеанской республики, как ни один фразеологический «штык» Маяковского. А о Париже по-настоящему мы узнаем превосходно по французским писателям, которые плоть от плоти страны и народа, — по какому-нибудь «Парижу в огнях» Мак-Орлана, по Ж. Жироду, по Пьеру Ампу...

В путешествиях наших писателей за границу нас интересует именно то, что можно увидеть «со стороны» и что именно со стороны «видней»: ведь мы приходим туда со своим каким-то новым, чуждым Европе миром, мы, люди иного климата, иных традиций, иной свежести. Как у Дж. Конрада Россия «на взгляд Европы» — одна, так и Европа «на взгляд» современного россиянина — другая. Нынешний мир этого россиянина — сына бурной эпохи — мир по преимуществу социальный: его крылья опалены еще искрами недавних пожаров, душа еще в дыму снарядов. Попадая в иной мир Запада, живущего после войны тоже по-новому, — в мир враждебных отношений, враждебного жизненного уклада — неужели наш писатель, если только он от плоти нашей! — не может почувствовать напора внешних стихий, окружающих его с утонченной «очаровательностью» и головокружительной силой? — ибо сила и высота европейской культуры и технических достижений, — всего того, чем так соблазнял «мальчик в штанах» нашего бесштанника, — действительно, велика! И неужели он не может противопоставить этой силе того, что противопоставил еще Щедрин: иной «души», иного знака развития, иных социальных идеалов? Но у наших писателей — этих героев «дуазо» — голова, действительно, кружится на высотах... Отсюда и все качества...

Если нет достаточно прочной социальной зарядки и глубины, то мы могли бы требовать элементарного — просто писательской добросовестности. Если не знаешь чего, или имеешь только приблизительное, «поверхностное» знание — то не пиши об этом. Вот В. Лидин приводит («Чит. и пис.» № 17) примеры этой недобросовестности, когда с «завидной легкостью» писатель берется писать даже не путевые заметки, а «повесть из европейской жизни, которую он не знает». «С Европой вообще расправляются готовно и весело, разделываясь по пути и с географией, и с элементарной грамотностью».

Свидетельство о бедности гражданской или о бедности литературной — вот что в сущности, в той или иной комбинации, представляют все эти путешествия «наших за границей». А мы, глупые россияне, провинциалы неисправимые, — хоть там и барахтающиеся в разных «социальных вопросах», — призваны развесить уши и слушать, затаив дыхание, праздную болтовню...

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПИСАТЕЛИ И КНИГИ.

И. Касаткин. Кузькина мать. — **Н. Златовратский.** Устои. — **Н. Жуков.** Неладное. — **В. Ряховский.** Глухари. — **М. Ройзман.** Минус шесть.

Если присмотреться повнимательнее к книжкому рынку, сразу бросается в глаза основной факт: художественную литературу издают не только Гиз и Зиф, но и все партиздательства, несколько десятков частных и кооперативных издательств. Всего было издано в 1927 г. свыше 3 000 названий. Соотношение между русской художественной литературой и иностранной за последний год резко изменилось. Русская художественная литература начинает вытеснять иностранную. Но основное, конечно, не количественный рост. Основное — завоевание читателя, в первую очередь рабочего читателя. Проблема «писатель и читатель» — сейчас является основной.

За последние два года общение писателя с читателем принимает разнообразные формы. Дело не в официальных диспутах. Растут и делаются многогранными «смычки» зрителя и писателя. Широкое развитие получили «вечера рабочей критики». Только по одному Ленинграду за 1927 г. было проведено 34 вечера непосредственно на фабриках и заводах, с количеством читателей около 15 000. «Отчитывались» Серафимович, Гладков, Н. Карпов, В. Шишков, Лавренев, Сейфуллина, Н. Н. Никитин, Грабарь и др. Было подано около 600 записок, выступало 300 человек. Рабочая масса проявляет необычайную активность, спрос на художественную литературу равен 70% общего спроса книг. Как удовлетворяют издательства этот спрос? Массовой художественной книжки — нет. Цена книги необычайно высока. По сведениям Книжной палаты за 1927 г. — средняя цена художественной книжки равна 75 коп. при объеме в 6 печатных листов. Художественная книжка идет только в библиотеки, индивидуальный читатель не покупает книги. Средний тираж художественной книги за 1927 г. — около 4 000 экз. Средняя продажная цена книги одного из самых крупных художественных издательств в первый квартал 1928 г. — 1 р. 68 к., во второй квартал — 2 р. 08 к. Ориентация на библиотеку толкает издательства на издания «собраний сочинений» малоценных авторов, куда включаются, как принудительный ассортимент, наиболее слабые произведения. Внешнее оформление книги улучшилось, но книги издаются необычайно дорого (Замойский «Лебеда» (крестьянская книжка) — около 2 р., Панферов «Бруски» —3 р. 30 к., Федин «Братья» — 3 р., Буданцев «Саранча» —2 р. 25 к. и т. д.).

У наших издательств недостаточно внимания к читателям. Они «канонизируют» писателя, выдают ему аттестаты и звания «академиков». Выходят бесконечные «собрания сочинений». Но даже и те писатели, которые завоевали право на внимание читателя, издаются некритически, без надлежащего выбора и подбора. Пример — издание собраний сочинений И. М. Касаткина. Касаткин — «знаньевец» не потому, что печатался в сборниках «Знания» — из этих сборников в собрание сочинений во II том вошел лишь один рассказ, — а по методу, материалу и форме подачи. Темная деревня, стонущие и стенающие крестьяне, «гуманизм», распад старой жизни и бессилие создать новую — вот темы II и III томов собрания сочинений.

Проверку жизни и эти темы — а главное, подача материала: эпическое повествование о фактах — не всегда выдер-

живают до конца, некоторые рассказы напоминают агитку, некоторые рассказы просто не дойдут до читателя. Возьмем примеры из III тома (о II томе был отзыв в VI кн. «Красной нови»).

В книгу «Кузькина мать» (И. Касаткин. «Кузькина мать». Собрание сочинений, т. III, изд. Зиф, стр. 176) вошел ряд произведений неравноценных по художественной и социальной значимости. Вошла большая статья о художественной литературе («Литературные мысли»), включена и художественная публицистика («Коммуна Парижа»). В книгу включен ряд высоко-художественных вещей («Люли-Люли», «Кузькина мать», «Галчата»). Это рассказы о детях. С неизбывным лиризмом, с глубокою любовью — описывает писатель новое подрастающее поколение. В этих рассказах лучшее, что было в народнических рассказах (но пропущенное сквозь призму художника-коммуниста, без ненужного сантиментализма), о суровой правде жизни. Но наравне с этими шедеврами — шлак, газетный фельетон (напр., «Чудо») о радио в деревне. Эта тема «обыграна» рядом писателей, — сейчас уже нельзя так подавать эту тему. Вызывает недоумение включение в книгу рассказов статьи о художественной литературе. Статья написана в 1923 году, она, конечно, не нужна для сегодняшнего дня, она характерна для Касаткина, для его взглядов на художественное произведение, но вряд ли она может помочь разобраться в литературе вчерашнего и сегодняшнего дня. Статья о Парижской Коммуне напоена дурным лиризмом, в ней много переносов из Арну и Лиссагарэ (например, первая глава — целиком). Нам кажется, что издательство «Земля и фабрика» недостаточно критически подошло к изданию собрания сочинений Касаткина. В книгах много «принудительного ассортимента». Нужен ли он для «собрания сочинений» — не знаю, но для читателя определенно не нужен. Необходимо поставить перед издательствами вопрос прямо и четко. Либо издательства будут издавать собрания сочинений с «принудительным ассортиментом» известных, малоизвестных и совсем неизвестных авторов — тогда читатель будет обходиться без этих книг, либо издательства будут издавать избранные произведения для библиотек и индивидуального читателя.

В поисках бесплатных переизданий издательства реставрируют «живые трупы». Одним из таких переизданий является выпуск «Устоев» Златовратского (Н. Златовратский. «Устои». История одной деревни. Зиф. Стр. 575). Златовратский принадлежит к наиболее маниловски настроенным народникам. Все его произведения — идиллии из крестьянской жизни. У него нет «плохих» крестьян, нет кулака, он не чувствует «чумазого», грозные шаги которого смущали и волновали Успенского. Златовратский верит в силу крестьянской общины, молитвенно верит, что крестьянское море всех и вся поглотит. «В свете только две правоты и есть... крестьянин при хлебе и царь при мире... Сила в ней, в этой правоте, большая, и никакой неправде против нее не выстоять... не выстояла против нее и барская неправота» (стр. 321).

Кулаки почти не фигурируют в произведениях Златовратского, и любимый герой Златовратского старик Мин говорит о кулаках: «Кулакам и мироедам не жить... А не жить им потому, что у них сытости нет... Коли сытости нет — шабаш, пропало... А у них, милые, даже ни чуточки ее нет. У барина хоть малость да было, а у кулака нет, у него одна злоба, жадность. Правоты в своем положении не видит... Вот где их гибель, милые, ожидает» (стр. 331). Эта сантиментальная розовая водица веры без края — делала Златовратского и в свое время «белой вороной» — среди народничества 80-х годов... Плеханов зло и язвительно издевался над беспредметной верой Златовратского в незыблемости «устоев».

«Устои», напечатанные в 1878—1883 годах в «Отечественных записках», — самое завершенное произведение Златовратского: здесь наиболее полно развернуто его политическое и философское «кредо».

Крестьянину незачем бороться с кулаком, ибо за крестьянина правда: «Посмотри на него, он весь наружу, точно стеклянный. Поговоришь с ним — словно сходишь в божью церковь» (стр. 337). Это о крестьянине. — Кулак погибнет перед лицом этой всепобеждающей правоты русского крестьянина.

Основы крестьянской жизни («Устои») выдержат все сотрясения, все сольется в крестьянском море.

«Устои» — документ «розовой мечтательной юности» русского народничества.

Нужно ли сейчас издавать, эту книгу в свет? Книга художественно беспомощна, мозаична, растянута (длинные диалоги, «сны», «дневники» — все эти приемы показывают неуменье Златовратского развернуть сюжет).

Культурно-историческое значение книга имеет. Ею, может быть, будут пользоваться для работы. Отдельные отрывки для иллюстрации взглядов народничества на крестьянство пригодятся и школе. Но это значение книги сведено издательством до нуля, книга не комментирована, нет даже предисловия.

Нельзя пройти мимо книжки Н. Жукова (Н. Жуков. «Неладное». Московское т-во писателей), ибо она сигнализирует о необходимости знания писателем своего «рабочего» материала.

Книга Жукова — сборник рассказов о деревне. Главные темы о советской деревне. Темы сгущенно-мрачные, а когда автор пытается показать новое («На побывку», «Неладное»), он срывается или в анекдот, или в агитку.

Здесь то отражение деревни, которое, как художественное произведение, было приемлемо в первые годы собирания материала, но не нужно после Панферова, Замойского и Чумандрина. Бедность сюжета, тематики и выдумки автор пытается маскировать надуманным, «вывихнутым», полным провинциализмов, пахнущим дурной литературщиной стилем.

Примеры: «Кирпичи ругнулись раз, другой, съездили под девятое, заегозились. На печи зашептало, заохало. Свесилась пучком голова старухи...» и т. д. (стр. 10). «За столом три торговки. Одна, как стрючок гороховый, согнулась, сморщилась. Глаза, что шарики на тарелке — бегают. Другие две — под мост годятся на быки... Мурлетки — хоть в футбол играй» (стр. 51). «У торговца слюни вытянулись, как вожжи ременные. Конец на бороде, другой на стакане» (стр. 52). «Тонули, выплывали слова, скакали по свиреной волне и улетели, прыгнув в дверь» (стр. 58). Еще стр. 60, 62, 67, 72, 75 и т. д. Словарь деревенской жизни!

Мы не знаем, — может быть, где-нибудь и говорят на таком языке. Но к чему эта порча языка и крепкие словца: «мурлетки», «паршивый чорт», «стерва дохлая», «не напехтярит воротяжки», «повырызгай», «дела фартовые», «ах ты, курва», «машина пучебельная» и т. д.?

Социальное значение книжки невелико. Это случаи и эпизоды. Без обобщения, без перспективы. Художественное значение книжки — еще меньше. Исковерканный язык, нарочитая искусственность стиля, иногда блатный жаргон.

Как преломляется современность у некоторых писателей, возможно вполне искренно желающих отобразить ее, проследим по роману В. Ряховского «Глухари» (Василий Ряховский. «Глухари». Роман. Изд. Зиф. Стр. 356).

Глухари — это интеллигенты в революции. Автор так характеризует «глухарей» — устами коммуниста Комлева: «Вы интеллигент. И никакой партбилет не сделает вас иным. Нам нужна закалка. Закал-ка! Т. е. твердая уверенность, что человек в партии ради дела, ради окончательной победы рабочего класса. А не ради удовлетворения своих стремлений. Вот тем-то и вредна интеллигенция... Это глухари — знаете, небось, — когда они поют, наслаждаются своей песней, они не слышат ничего вокруг, и тут их бьют» (стр. 301).

Из этой основной установки вытекает вся философия романа. Роман захватывает жизнь новой интеллигенции: вузовцев, рабфаковцев, и все смазано черным цветом.

«Стажеров революции очень много, и, я уверен, большинство из них пришло на пожарище делить остатки» (стр. 251).

Этих коммунистов и комсомольцев, рвущих на части Советскую Россию, карьеристов, эгоистов, развратников — увидел Ряховский. В романе нет почти ни одного коммуниста, который бы не вожделел сытой жизни, красивой женщины, теплого местечка. А «положительный» герой Петр Комлев видит выход в «махаевщине», ибо это ему принадлежит реплика о «глухарях».

А рабочие, пролетариат? «Рабочих я узнал впервые. Для меня раскрылся

совершенно новый мир, в котором просаленные люди находятся в полном подчинении у станков, около них сосредоточен весь круг их помыслов, мертвой машиной регулируется темп их жизни» (стр. 249).

Все герои Ряховского — «лишние люди», не могущие приспособиться к новой жизни, не чувствующие ее, не видящие. Не видит этой новой жизни и автор, не дал ее в романе.

Но что совершенно непереносимо в романе — это жалкое повторение приемов каллиниковских «Мощей».

«Только теперь уловил Ефим нежную линию шеи, уходящую в складки платья на груди, замыкая теплую лужицу-душку, где горячим губам слышно биение крови. Слова скакали, рвались:

— Марья Михайловна... красивая вы...

— Правда?

И открыла запах платья на груди, притянула голову и билась под поцелуями, сжимала упрямую голову, не пускала дальше.

— Довольно же... отстань, Ефим, послушай... Ай, какой ты глупый, боже мой» (стр. 123).

Яркая сцена полового акта (стр. 183). Сексуальная напряженность (стр. 202). Изнасилование комсомолки (стр. 272).

Отсюда понятна философия комсомолки Шуры: — «Знаешь, почему в половой сфере так много уродства, особенно у женщины? Потому, что все упирается в пресловутую женскую честь... Выход. Я бы избавила женщину от этого пригибающего гнета. Надо в детстве лишать девочек признаков этой чистоты, тогда мы с мужчинами будем равны» (стр. 276).

Книга определенно антихудожественная, она социально беспомощная и, если к ней отнестись «всерьез», вредная. Это какая-то смесь из Арцыбашева, Анатолия Каменского и... Льва Гумилевского.

Приведем еще один вариант «раскрытия» нэпа и нэпманов.

М. Ройзман. «Минус шесть». Роман. Моск. т-во писателей. Это история современного нэпмана. Вчерашний купец, оглушенный военным коммунизмом, сегодня родившийся к новой жизни, окрепший, но пощипанный ГПУ. Нэпман — еврей Фишбейн — герой романа. Вокруг него провинциальное жадное еврейство, «эмигрировавшее» в Москву. Б о л ь ш о е з н а н и е б ы т а, своеобразный фольклор. У ж а с е н я з ы к р о м а н а. Не только герои романа (можно говорить о типах), но и сам автор пишет ужасным м е с т е ч к о в ы м я з ы к о м, варварски коверкая русскую речь; пытаясь быть лиричным — шаблонен и штампован.

К теме о нэпмане будет возвращаться современная литература. Возможно два подхода: один — Ройзмана и Берзина в недавно вышедшем романе «Форд» (Гиз)— нэпман растет, вывертывается, он пользуется несовершенствами госаппарата, он еще не побежден. Помятый — вновь возрождается. Эта социальная установка вредна и не соответствует действительности. Если прибавить к этому, что общий фон безотраден (советская страна дается — как романтическая декламация, коммунист Рабинович — по - эренбурговски — неземным, геометричным), то будет ясно, что такая трактовка неприемлема. Еще один довод против романа. По Ройзману — за редким исключением (Лавров) — вся т о р г о в л я в р у к а х е в р е е в. Субъективно автор хотел обелить советскую власть — именно потому, что она за евреев, но о б ъ е к т и в н о р о м а н м о ж е т с ы г р а т ь н а р у к у а н т и с е м и т а м. Социалистические рассуждения автора невежественны.

Семен Розенталь.

Н. Крашенинников. Ц е л о м у д р и е. Роман. Изд. «Земля и фабрика». 486 стр.

Своим романом, посвященным вопросу правильного полового просвещения детей, Н. Крашенинников, повидимому, стремится возбудить интерес и внимание к интимной жизни ребенка, пробудить стремление помочь в его часто еще глубоко скрытых от взрослого душевных трагедиях, побудить к тщательному изучению его интересов, его восприятий.

Герой романа Павел Ленев, — переживания которого (пока в возрасте 9—15 лет) даны нам автором, — дитя уже чуж-

дого нам времени, чуждой нам социальной среды. Но это время,—повидимому, 90-е годы,—и эта среда — помещичье-дворянская—нам, старшему поколению, еще хорошо памятны по нашему собственному детству, отрочеству и юности, следующему поколению — по рассказам его родителей. Всем нам легко ориентироваться в том, что из трагедии Павла вызвано социальными причинами, что — биологическими. И в этом необходимо разобраться, чтобы правильно оценить данный автором био-социальный тип и чтобы суметь делать правильные выводы для общего социального, а в частности и полового воспитания нашего подрастающего советского поколения.

Фабула романа вкратце такова: Павел— сын писателя и, повидимому, социального утописта, отдавшего свое имение крестьянам. Отец умер, когда Павлику было 9 лет, оставив жену и сына почти что в нищете. Мальчик, до сих пор знавший жизнь только в своей тесной городской квартирке, тесном садике и на городском бульваре, переезжает с матерью в деревню, в имение зажиточных, но достаточно некультурных родственников. Болезненно-чуткий, изнеженный ласками больной и, видно, недалекой матери, мальчик, одиноко бродящий по имению, как нарочно то-и-дело набредает на сцены и разговоры полового содержания. На тревожные свои мысли и вопросы по этому поводу он находит ответы лишь у цинично откровенной деревенской девчонки 13 лет, развращенной в свою очередь баричем-кадетом своего возраста. Через год он попадает к другим, более культурным, родственникам в губернский город, где гимназистки и институтки всех возрастов как будто только и ждали его, чтобы заниматься развращением его, хорошенького мальчика, своими разговорами, намеками, письмами, тисканьем и поцелуями. Наконец, уже через год, он попадает в гимназический пансион, где завершается его половое просвещение и воспитание товарищами, где взрослые все так же преступно-беспомощно игнорируют половую жизнь и вопросы ребенка, как делали это мать и родственники.

Во всем романе ради цельности темы и образа юного героя имеется чрезвычайно много натяжек, которые отметил в своем предисловии к роману и профессор Залкинд. Начать с того, что 9-летний, чрезвычайно даровитый, начитанный, чуткий и наблюдательный Павлик с переездом в деревню как будто только что родился на свет. Ведь и из городской квартиры, в садике, на улице и на бульваре он мог наблюдать ту интимную жизнь ворон и голубей, кошек и собак, которая так поражает его воображение в деревне. И при существующем складе его ума он мог вычитать кое-что на эту тему и из классической литературы для взрослых, с которой он, повидимому, знаком. Объяснить ли этот резкий перелом от абсолютного неведения к чрезвычайно болезненно-острой любознательности резким скачком из так называемого нейтрального возраста к первому школьному возрасту с его повышенной психофизической активностью? Но абсолютная нейтральность в половом отношении дошкольного и даже младенческого возраста стала несомненным мифом с тех пор, как соответствующие наблюдения производятся уже не над одиночками и не невежественными матерями и няньками, а серьезными врачами и биологически грамотными педагогами в массовом масштабе дошкольных учреждений. Каждый взрослый из тех, кто отчетливо помнит свое раннее детство, вероятно, откопает хоть пару воспоминаний с определенно сексуальным оттенком. Конечно, эти ощущения малозаметны для ребенка, скорее даже подсознательны, в здоровой среде, — нормальной семье или детучреждении, — где ребенок постоянно занят делом и игрой, полон самых разнообразных детских интересов. Но ведь Павлик с болезненно-углубленным складом своего характера и в дошкольном возрасте, повидимому, рос одиночкой, окруженным только родителями, прислугой и книгами.

Совершенно непонятно также, как для Павлика, постоянно обнимающегося и целующегося с матерью, а также с тетками и кузинами, до 12 лет часто засыпающего в постели матери, крепко с нею обнявшись, — как для него вдруг при виде купающейся девочки становится откровением, что девочки иначе устроены, чем мальчики, что, например,

и груди у них совсем другие. Явная натяжка.

Третья натяжка — это абсолютное отсутствие нормальных детских и в особенности мальчишеских интересов у Павлика и после переезда в деревню. При той полной свободе, которой он пользуется, при его физическом здоровьи, его мускулистости, о которой не раз упоминается, совершенно непонятно, как может мальчик, а потом и отрок, жить только книгами, цветами и мечтами, как ему не захочется хотя бы только побегать или подраться со сверстниками. Учится ведь он первый год в простой деревенской школе!

Да и в дальнейшем, — в городской приготовительной школе и в гимназии, — неужели так-таки не нашлось ни одного мальчика, с которым его связывали бы интересы общей игры, общей работы, общей борьбы и взаимопомощи против педагогов! Зачем автору надо было нам дать какого-то исключительно чуткого, нервно утонченного ребенка? Чтобы острее фиксировать внимание читателя на этом остром вопросе? Работа его значительно выиграла бы в своем практическом значении для советских родителей и педагогов, если бы героем его являлся нормальный ребенок хотя бы той же помещичье-дворянской среды, биологически более близкий нашей рабоче-крестьянской детворе, чем гипертрофированно-чуткий и чувствительный Павел Ленев.

Автор «Целомудрия» видит основную проблему правильного полового воспитания в заблаговременном тактичном и научно-правильном половом просвещении. Автор предисловия тов. Залкинд прав, когда в этом видит лишь небольшую часть большой общей проблемы правильного социального воспитания, когда основное в правильном половом воспитании он видит «в умелом переключении назревающей детской половой активности на пути творчества, здоровой деятельности и хорошо построенного детского товарищества». Однако такую постановку вопроса признает даже любой из буржуазных авторов статей и книг по половому вопросу. Вопрос же, в котором больше всего расхождений и среди буржуазных и среди наших ученых, врачей и воспитателей, это именно вопрос о половом просвещении. И в этом отношении книга Крашенинникова является нужным призывом к максимально внимательной и добросовестной дискуссии на эту тему.

А. Радченко.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография